Игорь
Золотусский

ОТ ГРИБОЕДОВА ДО СОЛЖЕНИЦЫНА

Россия
и интеллигенция



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2006

Часть I

ОТ ГРИБОЕДОВА ДО СОЛЖЕНИЦЫНА



Часть II

АКВАРЕЛЬ С МАКАМИ



Часть III

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: СМЕНА ВЕХ

УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)
З-81

*Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«КУЛЬТУРА РОССИИ»*

ISBN 5-235-02937-2

Памяти сына Серёжи

ОТ АВТОРА

В этой книге собраны эссе 2000–2005 годов. Они писались по случаю или по призыву памяти. Писателей из второй части «Акварель с маками» уже нет. Но их след остался в моей душе. Свидетельства памяти иногда дороже свидетельств документа. Да и сама история составляется не из цифр и фактов. Её показания одушевляют мысль и чувство автора.

Я сознаю, что мои заметки субъективны. Что они — мнение одного человека. Хорошо было бы выслушать всех. Но это невозможно. Так давайте выслушаем многих. И постараемся понять каждого.

Впрочем, выслушать и понять — мало. Надо идти на сближение.

Беда не в разногласиях, которые нас разделяют, а в глухоте друг к другу. В отчуждении и нетерпимости.

Мы учились и постоянно учимся побеждать других, но редко одерживаем победы над собой.

Заражающие примеры побед над собой даёт русская литература и её творцы.

Прошлое протягивает нам руку, так протянем ему навстречу свою.

Июль 2005

Часть I

ОТ ГРИБОЕДОВА ДО СОЛЖЕНИЦЫНА

ПРОСТИ, ОТЕЧЕСТВО!

Чацкий и остальные

Пушкин предсказал, что половина стихов из «Горя от ума» войдёт в пословицы. Так и случилось. Не менее полусотни «острот» или «сатирических замечаний», как назвал их поэт, прочно закрепилось в русском языке.

Нет смысла цитировать комедию: они известны всем. И хотя Грибоедов считал, что в пьесе «25 глупцов на одного здравомыслящего человека», ни о ком из персонажей «Горя» нельзя сказать с определённостью, что он глуп. По-своему умны и Софья, и Фамусов, и Скалозуб, и Молчалин, и служанка Софьи Лиза. Крылатые выражения, ставшие достоянием нашего словаря, принадлежат и им.

О чьём же горе идёт речь и чей ум — виновник горя?

Грибоедов писал: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и *высшего значения*, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его». Впрочем, — добавлял он, — «...в превосходном стихотворении *многое должно угадывать*; не вполне выраженные мысли или чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине её, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним *намёком*, — но его поняли, всё уже внятно, и ясно, и сильно» (здесь и далее курсив мой. — *И. З.*).

Постараемся угадать, какой это намёк. Начнём с того, что комедия сначала называлась не «Горе от ума», а «Горе Уму». Существует автограф первой её страницы, где ру-

кой Грибоедова «Горе Уму» исправлено на «Горе / отъ Ума». При этом, не зачеркивая прежнего названия, Грибоедов в слове «Уму» подчищает хвост буквы «у», переделывая «у» в «а».

Два названия, соединяясь, не стирают друг друга.

Можно поспорить, какое из них точнее определяет замысел автора. Первое ставит вопрос об Уме (притом с большой буквы), о природе Ума и *его* горе, второе выводит на традиционное прочтение комедии. Здесь горе от ума — горе умного, которого не поняли глупцы. А, стало быть, правота на стороне умного. Если же вернуться к начальному заглавию, то правота Чацкого ставится под сомнение. Ибо носитель и идеолог ума с большой буквы в пьесе он.

Принимая объяснение традиционное, мы спрашиваем себя: не слишком ли оно просто для «сценической поэмы» и, тем более, её «высшего значения»?

Принято считать за аксиому то, что в «терзаниях» Чацкого (в его горе) виноват «свет». «Свет» объявил его сумасшедшим, «свет» и изгнал из Москвы.

Но пристальное чтение комедии убеждает, что вину, по крайней мере, надо поделить поровну. А то и львиную её долю отдать Чацкому. Потому что «горе от ума» — это горе, которое несёт ему его собственный ум.

Каков же этот Ум?

Во-первых, он горд тем, что выше всех достоинств в человеке. «Что, я Молчалина глупее?» — спрашивает Чацкий, не понимая, как можно любить неумного Молчалина и не любить его, умного Чацкого. «А чем не муж! — говорит он о своём сопернике. — Ума в нём только мало».

Да и остальные герои комедии, по его мнению, толпа «нескладных умников, лукавых простяков». В отзывах Чацкого о гостях и обитателях дома Фамусова слышится превосходство, а то и презренье. Скалозуб для него — «Хрипун, удавленник, фагот, / Созвездие манёвров и мазурки», Молчалин — «жалчайшее созданье». Не жалует он и Фамусова, и «зловещую старуху» Хлёстову. Под град насмешек попадают Софья, «отечества отцы», Москва и Россия.

«Что нового покажет мне Москва? — спрашивает Чац-

кий. — Вчера был бал, а завтра будет два», «Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы?» Про отстроившуюся после пожара 1812 года столицу он говорит: «Дома новы, но предрассудки стары». Итог его отношения к ней: «В Москву я больше не ездок».

Впрочем, Москвой дело не ограничивается. Жало его критики достаёт и Россию: «И вот та родина... Нет, в нынешний приезд я вижу, что она мне скоро надоест».

Приговор произнесён, и, наконец, можно удалиться.

То, что Чацкий не остаётся в Москве, свидетельствует, что характеристики, которые он раздаёт, — раздраженье личной обиды, они — плод «ума холодных наблюдений», но не «сердца горестных замет».

Софья, которую Грибоедов всё время называет София (что значит мудрость), даёт ему дельный совет: «А над собой гроза куда не бесполезна». Но быть грозой над собою Чацкий не способен. Он грозен, когда речь заходит о других.

Находясь в Москве «проездом, случаем», прибыв «из чужа, издалёка», он, едва переступив порог родного для него дома (где рос и воспитывался вместе с Софьей), обрушивает громы и на его обитателей и гостей.

Фамусов прав, отвечая ему: «Вот рыскают по свету, бьют баклуши, / Воротятся, от них порядка жди».

Чацкий в «Горе от ума» — «приезжий», чужой. Он чужой для Москвы, и Москва для него чужая. Ибо «своё» щадят, за «своё» болеют, «своё» не изничтожают.

Чацкий болеет только за себя. Оттого он и жалуется; жалуется Софье: «Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, / Вёрст больше седьмисот пронёсся, — ветер, буря; / И растерялся весь, *и падал сколько раз* — / И вот за подвиги награда!» Жалуется на то, что его «гонят», «клянут», жалуется на судьбу: «Ах! как игру судьбы постичь? *Людей с душой гонительница*, бич!»

«Люди с душой» — это, конечно, о себе.

Виноваты в его беде все, даже судьба. Но в таком случае он ропщет не на людей, а на Бога.

Есть ум ума, говорил Лев Толстой, и есть ум сердца. В том, у кого ум ума, нет жалости к ближнему. Этот ум хо-

лоден и горд. Ум сердца мягче, участливей и в конечном счёте нужнее жизни, нежели его высокомерный собрат.

Софья, которая сочувствует Чацкому, точно определяет ущербность его ума: «Вот об себе задумал он высоко — / Охота странствовать напала на него, / *Ах! если любит кто кого, / Зачем ума искать и ездить так далёко?*»

Для Софьи ум без любви — не ум. Он разрушителен (ибо жалит, казнит, насмехается) и бесплоден. Сравнивая Чацкого с Молчалиным, она говорит о Молчалине: «Конечно, нет в нём этого ума, / Что *гений для иных, а для иных чума*, / Который скор, блестящ и скоро опротивит, / Который свет ругает наповал, / Чтоб свет об нём хоть что-нибудь сказал; / *Да эдакий ли ум семейство осчастливит?*»

Резонный вопрос, обостряющий *диспут об уме*, который развёртывается в комедии Грибоедова. Горе уму вознесшемуся, говорит автор, горе уму, лишённому сostраданья. Такой ум несёт горе и его обладателю. «Ум, каков Чацкий, не есть завидный ни для себя, ни для других», — писал Петр Вяземский.

И, наконец, этот ум слеп. Он видит лишь то, что желает видеть. Чацкому недосуг задуматься, что Скалозуб воевал с Наполеоном (причём в пехоте), имеет боевой орден, что Молчалин из бедной семьи, из Твери, откуда его вытащил Фамусов и вытащил за усердие в службе. Разве Молчалин не должен быть благодарен тому за это? Разве не *обречён* исполнять наказ отца о том, что надо угождать каждому — до «собаки дворника, чтоб ласкова была»?

Это участь маленького человека, и он в ней не виноват.

Одна мелочь: Молчалин, который объясняется в любви Лизе (причём отнюдь не лукаво), называет её «Мой ангельчик», и точно так же называет свою жену Нину в последнем письме к ней Грибоедов. Что это — пустое совпадение или отзвук нежности, которой автор лишил своего «ничтожного» героя?

Для таких, как Молчалин, «умеренность и аккуратность» — способ спасения, но не рассчитанная подлость, а «не сметь своё суждение иметь» — защита от сильных, наказ судьбы.

Входя в глубину текста, мы начинаем понимать, что

Молчалин и Скалозуб не мальчики для битья, а оппозиция уму Чацкого. У него ум праздности, ум эгоизма, у них — *ум выживанья*. Этот ум — удел не отдельных «гениев», а ум большинства. Так что же с ним делать, с этим большинством? Поставить его под стрелы сатиры, перед лицом которой бледнеют все оправданья, или понять тех, кому он дан от нужды?

Скалозуб, в отличие от Чацкого, может признать правоту своего антипода. «Мне нравится... — говорит он Чацкому, — искусно как коснулись вы предубеждения Москвы к... гвардии, к гвардейским, к гвардионцам; их золоту, шитью дивятся будто солнцам!» Человек, в окопах выслуживший свой чин, он не поклонник тех, кто блещет своими мундирами при дворе.

Что же касается его реплики, навсегда заклеймившей Скалозуба как апологета муштры: «Я князь-Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам», то стоит вспомнить, *кому* он это говорит. Он говорит это Репетилову и адресует свой афоризм его друзьям — безбожникам и крикунам.

Для него фельдфебель надёжнее Вольтера, поскольку Вольтер *расшатывает,* а фельдфебель *бережёт*.

Ум Чацкого не для счастья, поскольку «в том и счастие, — и тут я цитирую Грибоедова, — чтоб сердце не оставалось пусто». Только раз Чацкий признается — и то под давлением Софьи, — что у него «ум с сердцем не в ладу». Но не будет в этом признанье ни горечи, ни самоосужденья.

Как классический «вольтерьянец», он недоволен всем и вся, но *весьма доволен собой*.

В гневе на то, что судьба свела его с посредственностями, Чацкий требует «образцов». «А судьи кто? — вопрошает он. — За древностию лет / К *свободной жизни* их вражда непримирима, / Сужденья черпают из забытых газет / Времён *Очаковских и покоренья Крыма*; / Всегда готовые к журьбе, / Поют всё песнь одну и ту же, / Не замечая об себе: / *Что старее, то хуже*. Где, укажите нам, отечества отцы, / Которых мы должны принять за образцы?»

«Времён Очаковских и покоренья Крыма», конечно, старина, но старина героическая, славная победами, а не

позором. И про них не скажешь: «что старее, то хуже». Чацкий пребывает в своей стране «на безлюдьи». Но так ли уж безлюдно было время, в которое происходит действие «Горя от ума»?

Слова Скалозуба о том, что пожар Москвы способствовал её украшенью, позволяют установить, что события пьесы могут быть отнесены к промежутку между годами полного восстановления Москвы после пожара и 1824 годом, когда Грибоедов поставил в комедии точку.

Что это были за годы?

Ещё не померк отблеск Александрова царствования, ещё здравствовали солдаты и полководцы, победившие Наполеона. Ещё были живы Николай Раевский, Алексей Ермолов (служа под его началом, Грибоедов и писал свою комедию), Александр Остерман-Толстой, Михаил Милорадович (которого убьют на Сенатской площади 14 декабря 1825 года), Павел Чичагов, Денис Давыдов, Пётр Витгенштейн.

Так, значит, было кому поклониться, кого «принять за образцы»?

Чацкий видит вокруг одних «стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором». Протагонист свободы, он свободен и от благодарной памяти. Та Россия, как он считает, «под личиною усердия царю», «брала лбом» — «стучала» им «об пол, не жалея».

«Вот то-то, все вы гордецы!» — возражает Чацкому Фамусов.

И попадает в точку.

«Гордость ума» — вот «болезнь» Чацкого. И — болезнь века, «болезнь», как сказал в своём отзыве о комедии Грибоедова Гоголь, «от дурно понятого просвещения».

К чему звал молодые умы Вольтер? К осмеянию того, что освещено традицией. К нападкам на Бога, на историю, на «предрассудки», без уважения к которым невозможны никакие преобразования. Ум вольтерьянца не в силах, — прав был Гоголь, — «дать в себе образец обществу».

Разбирая комедию Александра Шаховского «Шестьдесят лет антракта», где изображён Вольтер, Грибоедов так отозвался о герое пьесы: «Три поколения сменились пе-

ред глазами знаменитого человека; в виду их всю жизнь провёл в борьбе с суеверием, богословским, политическим, школьным и светским, наконец, ратовал с обманом в разных его видах. И не обманчива ли самая та цель, для которой подвизался? Какое благо? — колебание умов ни в чём не твердых?..» (письмо к С. Бегичеву, 1824, июль).

Так думал автор «Горя от ума» накануне 14 декабря 1825 года.

Уже тогда он выбрал службу отечеству, которую не мог выбрать Чацкий.

Старуха Хлёстова, осмеянная Чацким, попрекая его — «над старостью смеяться грех», — почти тут же попрекает и себя: «А Чацкого мне жаль. / По-христиански так, он жалости достоин...»

Христианское чувство выше гордости, выше обиды, выше «сатиры». И именно им завершается «Горе от ума». Это победа сердца над умом.

Таков итог диспута об уме. Таково последнее слово Грибоедова. Когда он закончил комедию, ему было двадцать девять лет. Он уже отгулял молодость, побыл в гусарах, стрелялся на дуэли.

Известны его гусарские проделки: появление на балу верхом на лошади, исполнение камаринской на органе в Брест-Литовске. Он — герой-любовник, поклонник молодых актрис, соперник генерал-губернатора Петербурга Милорадовича, как и он, волочащегося за знаменитой Телешевой.

Грибоедов знал уже не одну любовь, побывал под пулями на Кавказе.

На вопрос Чацкого: «Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?» — Фамусов отвечает: «Сказал бы я во-первых: *не блажи*, / Именьем, брат, не управляй оплошно, / А, главное, поди-тка послужи».

По Далю, «не блажи», с одной стороны, «не дурачься», с другой — «не сходи с ума». «Не сходи с ума» — то есть примись за труд, сделай что-то доброе. Такое толкование слов Фамусова объясняет грядущее «сумасшествие» Чацкого. Это не помешательство, а болезнь разрыва между словом и делом.

Многие ставили на одну доску Чацкого и автора «Горя от ума». Николай Надеждин называл его «органом собственных мыслей» Грибоедова, Ксенофонт Полевой писал, что «поэт невольно, не думая, изобразил в нём самого себя». «Чацкий не идеал, — продолжал он, — а человек, каким, может быть, чувствовал себя Грибоедов». Почти то же говорил и Белинский: Чацкий — «выражение мыслей и чувств автора».

Но где же сходство?

В то время когда Чацкий устроил «гоненье на Москву», Грибоедов, получив должность секретаря. русской миссии в Персии, отправился к месту службы. На его плечи легло спасение русских пленных, которых он должен был вывезти из Тавриза.

Чацкий — резонер, Грибоедов — государственный человек. Чацкому, который «служить бы рад, прислуживаться тошно» (имел с министрами связь, потом — разрыв), нет дела до блага отечества, для Грибоедова «прислужиться» России — честь и долг. Чацкий не знает, что такое долг, Грибоедов знает, что такое долг и жертва.

Признаваясь другу, что дипломатия — не его поприще, что «любовь и поприще» его — «поэзия», он, тем не менее, остаётся там, куда поставила его царская воля.

Герцен писал, что Чацкий — «декабрист», идущий «прямой дорогой на каторгу». Но декабристы не покидали своей родины. Правда, именьями своими они тоже не собирались управлять. Молва приписывает Грибоедову слова о заговоре 14 декабря: «Сто прапорщиков хотят изменить весь государственный *быт* России».

Грибоедов не говорит «изменить строй» или «режим». Он говорит о «государственном быте», что гораздо долговечнее «строя» или «режима». «Весь быт» — это то, что складывалось веками, выстроено историей. И что уходит в глубину традиции.

Наконец, *быт* — это то, что должно *быть*, а не подвергаться разрушению.

Едкие намёки на несостоятельность этой идеи появляются, когда на сцене возникает Репетилов. Что означает эта фамилия? Репетилов — *репетиция* переворота, о кото-

ром грезят на «тайных собраниях» члены «секретнейшего союза». Или, как называет их Репетилов, «сок умной молодёжи».

И вновь слово «ум» полемически воскресает в грибоедовской пьесе. Отвечая на агрессивные искания ума разрушительного, он даёт высказаться Фамусову. А тот, рассуждая о критике правительства и возможных потрясениях, призванных обновить Россию, говорит: «Знать, время не приспело».

В том, что это *ответ Грибоедова*, нет сомнения. Он почти буквально воспроизведён в бумагах следственного комитета, допрашивавшего автора «Горя от ума», когда тот, после ареста в крепости Грозной, в феврале 1826 года был доставлен в Петербург.

На гауптвахте Главного штаба

Вот выдержки из «Дела», заведённого на арестанта:

«*Грибоедов. Коллежский асессор, служащий по дипломатической части при Главноуправляющем в Грузии. На 24 листах.*

№ 1

Трубецкой (во 2-м показании): Слышал от *Рылеева*, что он принял *Грибоедова* в члены Тайного общества.

№ 224. **Коллежский асессор Грибоедов**: Я Тайному обществу не принадлежал и не подозревал о его существовании. По возвращении моём из Персии в Петербург в 1825 году я познакомился посредством литературы с Бестужевым, Рылеевым... и по Грузии был связан с Кюхельбекером. От всех сих лиц ничего не слыхал, могущего мне дать малейшую мысль о Тайном обществе. В разговорах их видел часто смелые суждения насчёт правительства, в коих сам брал участие: осуждал, что казалось вредным, и желал лучшего. Более никаких действий моих не было...

Корнет князь Оболенский: Так как я коротко знаю г-на Грибоедова, то об нём честь имею донести совершенно положительно, что он ни к какому не принадлежал обществу.

Подпоручик Рылеев: С Грибоедовым я имел несколько

общих разговоров о положении России и делал ему намёки на существование Общества, имеющего целью переменить образ правления в России и ввести конституционную монархию, но как он *полагал Россию к тому ещё не готовою* и к тому ж неохотно входил в суждение о сём предмете, я оставил его.

Полковник князь Трубецкой: Слышал от поручика Бестужева, который, кажется, с Артамоном Муравьёвым имел намерение открыть Грибоедову существование их общества и принять его, но отложили оное, потому что *не нашли в нём того образа мыслей, которого ждали*.

Штабс-капитан Бестужев: С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России... В члены же его не принимал я, во-первых, потому что он меня *старее и умнее*, а, во-вторых, потому что жалел подвергнуть опасности такой талант.

Полковник Пестель: О принадлежности коллежского асессора Грибоедова к Тайному обществу не слыхал я и никогда ни от кого и сам *вовсе его не знаю*».

Оскорблённый арестом, Грибоедов пишет письмо царю.

«Всемилостивейший Государь!

По неосновательному подозрению, силою величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника *мною любимого*, из крепости Грозной... чрез три *тысячи* вёрст в самую суровую стужу *притащен* сюда на перекладных... Я не знаю за собой никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда я тщательно скрывал моё имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг до моей матери, которая *могла бы* от того *ума лишиться*...

Благоволите даровать мне свободу... или послать меня пред Тайный Комитет лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их *во лжи и клевете*».

Любимый начальник Грибоедова, упоминаемый в письме, Алексей Петрович Ермолов (все в России знали, что царь его терпеть не может), выражения «притащен», «ума лишиться» и слова в адрес Тайного Комитета «ложь и клевета» — вызов вершителю его судьбы, но Грибоедов этого вызова не страшится.

Письмо не было передано адресату. Ибо, прочти он его, дерзость автора «Горя» повергла бы Николая в необратимый гнев. На «Деле» Грибоедова он наложил резолюцию: «Выпустить с очистительным аттестатом». Рукою начальника Главного штаба барона Дибича добавлено: «Высочайше повелено произвесть в следующий чин и выдать не в зачёт годовое жалованье».

Письмо царю было написано 15 февраля 1826 года, ответ — «очистительный аттестат» — пришёл через три с половиной месяца.

Что определило решение царя? Ведь «продекабристская» пьеса Грибоедова гуляла в списках по всей России. Не ошибёмся, сказав, что с нею был знаком и двор. А раз так, то двор (и, считай, царь) не мог не прочесть в ней диалог Чацкого с Репетиловым. В ответ на приглашение Репетилова ехать с ним на «тайное собранье» Чацкий зло обрывает его: «Вот меры чрезвычайны, / Чтоб взашеи прогнать и вас, и ваши тайны».

«Взашеи прогнать и вас, и ваши тайны» — рискну предположить, что эта фраза, как и то, что в качестве члена «секретнейшего союза» выведен Репетилов, и выдали Грибоедову «очистительный аттестат».

Грибоедов вновь на Востоке, где идёт война с Персией. Эта война, продолжавшаяся с 1826 по 1828 год, заканчивается — при его непосредственном участии — в пользу России. Грибоедов становится Полномочным министром России в Тегеране.

А ведь в 1825 году в письме к другу он писал: «Ещё игра судьбы нестерпимая: весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде».

Сразу вспоминаются последние слова Чацкого: «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, / Где оскорблённому есть чувству уголок!..»

Мечта об уголке! Кажется, она вновь сближает автора и героя. Но мечта мечте — рознь. Чацкий бежит, Грибоедов остаётся. Первый скачет в Баден-Баден или Карлсбад, Грибоедов — к театру военных действий.

Достоевский писал о Чацком: «“Пойду искать по свету”... Ведь у него только и свету, что в окошке у москов-

ского хорошего круга, не к народу же он пойдёт. А так как московские его отвергли, то, значит, “свет” означает здесь Европу. *За границу хочет бежать*».

«Предчувствую, что живой из Персии не возвращусь»

Не пройдёт и двух лет с того дня, когда оправданный Грибоедов покинул Петербург, как он вновь в столице. В его портфеле — добытый и его трудами Туркманчайский мирный договор. По этому договору к России отходят Эриванское и Нахичеванское ханства, она получает огромную денежную контрибуцию, право держать на Каспийском море военный флот, а в её пределы должны возвратиться десятки тысяч её подданных, пленённых Персией.

В честь Грибоедова гремят пушки. Император принимает его в Тронном зале Зимнего дворца. Грибоедова награждают орденом Святой Анны, он получает 4 тысячи червонцев, чин статского советника и просит царя о смягчении участи декабристов.

Помимо дипломатических побед он успевает: основать газету «Тифлисские ведомости», публичную библиотеку в Тифлисе, составить «Записку об учреждении Российской Закавказской компании», отправить письмо И. Ф. Паскевичу с просьбой о декабристе Александре Одоевском.

Вот отрывок из этого письма: «Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского. Вспомните, на какую высокую степень поставил вас Господь Бог... Тот самый, для которого избавление одного несчастного от гибели гораздо важнее грома побед, штурмов и всей нашей человеческой тревоги... Сделайте это добро единственное, и оно вам зачтётся у Бога неизгладимыми чертами небесной Его милости и покрова».

Проект Грибоедова об учреждении Российской Закавказской компании, который, кстати, ущемлял интересы Англии и принадлежащей ей Ост-Индской компании, будет частично осуществлён: учреждена «Торговая компания» — «Закавказское торговое дело», «Общество поощрения сельской и мануфактурной промышленности и торговли».

По возвращении в Персию Грибоедов первым делом принимается за переселение в Россию сорока тысяч человек, попавших в плен к персам. «Пленные, — пишет он, — меня здесь с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвращаться».

Вопросы о пленных, о выплате контрибуции, в решении которых русский посол был строг, стали причиной роста недовольства как при шахском дворе, так и среди народа.

Грибоедов укрывает в здании русской миссии казначея шаха и главного евнуха гарема Мирзу-Якуба Маркаряна. Даёт приют двум женщинам-христианкам, бежавшим из гарема родственника шаха.

Шах боится разоблачения его интимной жизни, более чем кому-либо известной Мирзе-Якубу. Муштеид (глава местного духовенства) Мирза-Месих благословляет толпу на «джихад» против русского посла.

Грибоедов отвечает посланцам шаха: если Мирза-Якуб сам захочет покинуть посольство, он отпустит его. Если нет, то он останется под покровительством русского императора.

Мирза-Якуб остаётся. Женщин Грибоедов отпускает. Но толпу уже не остановить.

Незадолго до этого Грибоедов писал: «Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется».

Разъярённые люди врываются в посольство. Грибоедов встречает их в парадном мундире посла со всеми знаками отличия и наградами и с саблей в руках. В это время камень, брошенный в отверстие разобранной крыши, поражает русского посла. Он падает. И здесь совершается расправа.

Тело Грибоедова тащат по улицам Тегерана, крича, чтоб толпа, кланяясь, по-европейски отдавала ему «почести». В конце концов изувеченный труп зарывают в землю. Позже его опознают только по мизинцу, простреленному на дуэли.

Всё это случилось в январе 1829 года. И лишь летом того же года происходит встреча Пушкина, направляющегося в Арзрум, и мёртвого Грибоедова, которого везли из Тегерана в Тифлис.

* * *

Вот и финал. Вот и разветвление дорог — дороги автора и его героя. Чацкий *в карете* бежит из России, Грибоедов *в крестьянской арбе,* между мешков с соломой, в дощатом гробу возвращается из заграницы *домой.*

На могиле Грибоедова на горе Мтацминда в Тбилиси стоит надгробный камень. На нём слова: «*Ум и дела* твои бессмертны в памяти русской...»

Дела — вот перед чем меркнет словесный бунт Чацкого.

В стихотворении «Прости, Отечество!» Грибоедов писал:

Не наслажденье жизни цель,
Не утешенье наша жизнь.
О! не обманывайся, сердце.
О! призраки, не увлекайте!..

Сердце не обмануло сь, призраки не увлекли.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОПРИЩЕ

165 лет назад в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного журнала «Современник», издаваемого Александром Пушкиным.

Как ни мало обращали тогда внимания на оригинальную русскую прозу и поэзию, появление нового издания было замечено в обеих столицах. Петербург и Москва откликнулись на него печатными отзывами. Отзывы были кисло-сладкие, а порой и желчно-едкие. Конкуренты Пушкина поторопились объявить, что затея поэта не удалась. Особенно настаивали на этом Булгарин и Сенковский, сами издатели: один — «Северной пчелы» и «Сына Отечества», другой — «Библиотеки для чтения».

Чтобы понять, что означало появление журнала Пушкина, надо хотя бы в общих чертах представить, чем удовлетворялся литературный рынок. По преимуществу это был товар если и не лежалый, то, по крайней мере, напоминающий то, что сейчас называют *second hand* — ношеный, с чужого плеча. Русские авторы неистово подражали «неистовой» французской словесности. Их заказчиком и потребителем был так называемый средний или, как теперь говорят, массовый читатель, абсолютная копия нынешнего подписчика тонких и толстых журналов.

Он так же любил приключения, скандалы, описания убийств и зверств, «клубничку» и, конечно, романы, где герои, родившиеся в безвестности, достигают материальных высот. Всё это недурно оплачивалось и легко чита-

лось, а главное, не требовало траты ума и напряжения чувств. Издания, обслуживавшие такого читателя, имели большой тираж. «Северная пчела» и «Библиотека для чтения» выходили тиражом в пять тысяч экземпляров. Их выписывали в столицах, ими зачитывались в провинции. Среди их клиентуры большую часть составляли обедневшие помещики, мелкое чиновничество и третье сословие.

Проза, поэзия, библиография, «новости» подчинялись запросам публики, всегда находившей в этих изданиях то, что ей хотелось найти: забавную беллетристику (в «Библиотеке» даже с оттенком порно), криминал, щекочущую воображение «Смесь» (с сообщениями о фантастических аномалиях в природе), а также картинки мод, статистику, цены на балыки, икру, заморские вина, «наблюдения погоды».

Нельзя сказать, что в той же «Библиотеке» (где печатался, кстати, и Пушкин) не появлялось серьезных статей, скажем, по агрономии или германской философии, но над всем неизменно парило *легкомыслие,* освобождавшее издателя от каких-либо обязательств перед читателем, исключая обязательства помочь убить время.

Если Булгарин и Сенковский давали ему суррогат литературы, то Пушкин делал ставку на образцы, на совершенство отделки и высокую мысль. Эта цель определяла и выбор авторов. Всё лучшее в русской литературе было призвано им в свои ряды. Что же касается «направления», то им был сам Пушкин. Князь Владимир Одоевский, тоже вошедший в круг «Современника», на вопрос о программе журнала ответил: «Имя Пушкина так известно у нас, что в самом имени его заключается программа». Какая прекрасная памятка для редакторов нынешних «толстяков», плывущих без руля и ветрил в неизвестность! На их мостике нет капитанов, а одни вчерашние матросы.

«Современник» Пушкина — это Пушкин последних лет его жизни, Пушкин, пересмотревший взгляды своей молодости и вплотную подошедший ко времени итогов, к часу «икс», когда и прошедшее и настоящее соединяются в одно целое и душа свободна в полете над этим целым.

Он пришёл к идее издания журнала не сразу, и она оформилась в его сознании как последняя попытка — по-

следняя попытка выйти на гражданское поприще. И хотя Пушкин ещё недавно заявил, что не желает иметь ни с властью, ни с народом ничего общего, то есть не служить им, не давать им отчета, он решил попробовать повлиять как на народ, так и на власть.

Ему претило засилье сервильной беллетристики, ему претил сам дух «нравственно-сатирических» романов, которые пёк в своей пекарне разворотливый Булгарин. Эстетическое чувство Пушкина было задето тем, что их читают не только в России, но и издают за границей, составляя по ним мнение о русской литературе. Но имелась и ещё одна, личная причина, заставившая его пуститься в бурное море журналистики. В печати открыто писали *о конце* Пушкина.

В 1835 году молодой критик Белинский объявил в «Телескопе», что автор «Онегина» *оставил свое место* (передав его Гоголю), а через год в «Молве» произнес роковое слово *закат*. Речь шла о «закате таланта».

Мог ли Пушкин не ответить на этот вызов времени? Он ответил на него изданием «Современника». Из трехсот страниц, составлявших его первую книжку, сто девятнадцать принадлежали перу Пушкина, а восемьдесят две — перу Гоголя. История литературы не знает столь тесного соседства двух гениев под одной обложкой.

Пушкин печатал здесь «Пир Петра Первого», «Скупого рыцаря», «Из А. Шенье», «Путешествие в Арзрум», статьи и рецензии, Гоголь — «Коляску», «Утро делового человека», восемь рецензий и основополагающую статью «О движении журнальной литературы в 1834—1835 гг.».

Последняя чуть не поссорила Пушкина со всей остальной периодикой. Гоголь отнесся к делу обозрения журналов, как шинкователь к рубке капусты. Он посёк их в мелкую стружку, а про некоторые изволил заметить, что их место в мусорной корзине.

Пушкин вынужден был оправдываться за эту дерзость и разъяснять в следующем номере, что точка зрения автора (статья не была подписана именем Гоголя) не совпадает с точкой зрения издателя. Пушкин как издатель не мог начинать журнальную жизнь с конфронтации *со всеми*.

Но это не означало, что он отказывается от поднятой им высоко планки вкуса. Кроме себя и Гоголя он напечатал в первом номере П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, А. И. Тургенева. В его издательском портфеле лежали стихи Ф. Тютчева, А. Кольцова, Е. Баратынского, Н. Языкова, проза Н. М. Карамзина, В. Одоевского, Н. Дуровой, Д. Давыдова.

Но не только с помощью авторитетов собирался он изгонять торговцев из храма. Его программа, свободная от верноподданности, ставила «Современник» на особое место в журнальной литературе. Это был не просто либеральный журнал: пошлость литературная и пошлость политическая равно были чужды Пушкину.

1836 год стал годом десятилетия со дня коронации императора Николая и казни пятерых декабристов. Дата эта взывала к рассмотрению мотивов восстания 14 декабря 1825 года, а также его последствий для власти и для общества.

А так как в России любой вопрос, чего бы он ни касался, — литературы, философии или практической жизни, есть вопрос о власти (всё, исключительно всё зависит от неё), то Пушкин не мог обойти его. Номер открывался стихотворением «Пир Петра Первого». По какому случаю пирует Петр? Он «с подданным мирится», «виноватому вину отпуская, веселится». Николай в ознаменование «юбилея» со дня расправы с мятежниками уменьшил кое-кому из них сроки пребывания на каторге. Но это были ничтожные послабления. Пушкин ждал от царя большей милости и большего благородства. Он намекал на то же и в помешенном вслед за «Пиром Петра» очерке об императрице Марии (матери Николая), являющей пример христианского великодушия.

Политическая программа Пушкина была ясна: мир в обществе и ни в коем случае никакого форсирования истории. Как писал он ещё в 1826 году в записке «О народном воспитании», не «тайные общества», не «заговоры», не «замыслы более или менее кровавые и дерзкие» нужны России, а «долговременное приготовление», то есть путь просвещения.

По-человечески сочувствовавший декабристам, почитавший их мужество, Пушкин не соглашался с ними в главном: в определении метода обновления общества. «Не од-

но влияние чужеземного идеологизма, — писал он, — пагубно для нашего отечества; воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла». Задолго до «западников» и «славянофилов» он ставил вопрос о том, каким путем должна пойти Россия, и отвечал на него ссылкой на записку Карамзина «О древней и новой России», которую намеревался напечатать в своем журнале.

В записке историк предупреждал Александра I об опасности повторения ошибки Петра — переиначивания обычаев и государственных установлений России по западному образцу.

О том же говорили и публицистика Вяземского в «Современнике», статьи князя Козловского и «Хроника русского», присланная А. И. Тургеневым из Парижа.

Задолго до Герцена, до его «Писем с того берега», Пушкин подверг критике идеологию радикализма. Он отверг путь переворотов и восстаний, противопоставив им трудную работу просвещения. Не безумная мечтательность (основа всякого революционаризма), не «упорство в тайном недоброжелательстве», а «соединение с правительством» в труде просвещения и воспитания — вот открытая дорога для каждого русского.

«Недостаток просвещенности и нравственности», «пагубная роскошь полупознаний» толкают молодые умы (а их-то и хотел защитить от крайностей Пушкин) на искание эффектных и быстрых решений. Но гораздо выше многолетний «*подвиг улучшения*».

За всем этим стоял Пушкин — автор «Странника», «Отцов-пустынников...», «Полководца», «Мирской власти», стихотворений «Из Пиндемонти» и «Напрасно я бегу к Сионским высотам...». Свой подвиг улучшения он совершал, издавая «Современник». Издание его было подчинено одной задаче — «одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия».

За первым номером вышел второй и третий, готовился и четвертый (причём со стихами Пушкина, Тютчева, пушкинской «Капитанской дочкой», его публицистикой и блестящими статьями Вяземского), но тираж журнала падал и, начав с двух тысяч четырёхсот экземпляров, дошёл до шести-

сот. Пушкин нервничал, не мог понять охлаждения публики, а оно объяснялось просто, и его объяснил тот же Вяземский в статье о Наполеоне (№ 2): «Нет великого человека в глазах камердинера, нет эпических событий и лиц для журналистов, биографов, лазутчиков в стане живых и мёртвых».

Далее Вяземский писал: «Великие люди допотопные не знали ни камердинеров, ни журналистов. Их мы видим через увеличительное стекло преданий. Нынешние действующие лица рассматриваются в микроскоп».

Очевидно, Пушкин принадлежал к тем великим людям, которых надо рассматривать в увеличительное стекло. Только на крупном плане видны подробности. А из них и ткётся великое — художественная красота или масштаб мысли. Очевидно, и журнал Пушкина следовало рассматривать так же. Нужна была культура чтения, к сожалению, тогда в России являвшаяся достоянием единиц. Но верх взяло тяготение массы. Там, где распоряжается выгода и славно убитое время, высокое ценится не очень высоко. Там торговец побеждает поэта, а ремесленник торжествует над мастером. Публика хотела не Пушкина, а игривые повести Брамбеуса.

И она их получила. Как получает и сейчас. Несмотря на то, что уровень образованности в XXI веке возрос, читатель в массе остаётся тем же.

Правда, ни один из современных журналов не предлагает ему ни «Коляски», ни «Носа», ни стихов Тютчева, ни «Капитанской дочки». Да и случись вдруг, что они опубликуют что-то подобное, толпа этого не заметит. Она предпочтёт им «печной горшок».

Накануне дуэли с Дантесом Пушкин проиграл дуэль с читателем. Он проиграл состязание с массовым вкусом и диктатом денег. Желая поправить своё финансовое положение распродажей журнала, он и его не поправил.

Истинный читатель так же одинок, как и пишущий для него поэт. Их диалог происходит в тишине и является делом их двоих. И результата этого собеседования *tet a tet* предстоит ждать долго.

2001

ПУШКИН В «ВЫБРАННЫХ МЕСТАХ ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»

Имя Пушкина упоминается в «Выбранных местах» не менее семидесяти раз. И не только в главах, где Гоголь касается лирической поэзии и литературы. Пушкин — спутник мысли автора, образец эстетический, образец «честности званья» писателя. Он и единомышленник, и оппонент, спор с которым выводит Гоголя на новый виток русской культуры.

Знаменательная деталь: книга Гоголя выходит в свет через десять лет после смерти Пушкина. Как раз этот срок отделяет дату рождения Гоголя от даты рождения Пушкина. К 1847 году Гоголю тридцать восемь, он на два года старше окончившего свою жизнь в тридцать шесть Пушкина. Но «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь задумал тогда, когда его годы сравнялись с возрастом, в котором погиб Пушкин.

И в этой книге он не тот, каким его знал Пушкин. Это не автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Ревизора», ещё творящий в стихии веселья, а человек, осознавший высшую цель творчества. Перемена в Гоголе началась ещё при Пушкине, «но этого, — как пишет он, — я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину».

Гоголь называет своё новое состояние неким «душевным обстоятельством». Если прежде он не задумывался о назначении своего смеха, то теперь без понимания того, зачем этот смех, не мыслит себе писания «Мёртвых душ». «Мёртвые души» почти что завещаны ему Пушкиным и

завещаны, как сатирический вояж по России. Но, как скажет Гоголь позднее, «сатирою ничего не возьмёшь». Сатира истребляет, а «мы призваны в мир не затем, чтоб истреблять и разрушать».

В годы писания поэмы на первое место выходят «душа и дело жизни», то есть война с дьяволом и победа над греховностью. И прежде всего победа над собственной греховностью, без чего немыслимо исцеление Павла Ивановича Чичикова. Если для Пушкина поэзия самодостаточна и не нуждается в оправдании, то для Гоголя её оправданием должна стать жизнь поэта.

Не могу писать «мимо себя» — скажет он в одном из писем. Только личное совершенство творца способно придать совершенство его творению. Перед «Мёртвыми душами» ставится задача: направить читателя к «храмине идеала». Для осуществления этой цели Гоголь готов бросить все силы своей духовной природы.

После последнего свидания с Пушкиным в 1836 году он, живя в Риме, переделывает «Портрет», пишет новую редакцию «Тараса Бульбы», «Театральный разъезд», «Шинель» и, наконец, завершает первый том «Мёртвых душ». Какая эпоха в его биографии! И эпоха, прожитая *без Пушкина*.

Первый том вышел в 1842 году, давно затеялся и второй, стали вырисовываться очертания третьего. Но в 1845 году второй том отправляется в печь. Проходит время, и Гоголь приступает к его реконструкции. Он всегда поступал так, когда был недоволен написанным. И всегда добивался того, что новая редакция превышала по достоинствам уничтоженную. Но так было *до* 1845 года, теперь работа по совершенствованию остановилась. Гоголь принялся чистить пёрышки, чистить себя. Отсюда — появление его исповедальной книги.

Гоголь приступает к ней, считая, что его личное покаяние позволит спасти «Мёртвые души», что с него и начнётся их преображение. В «Выбранных местах» он фактически выстраивает душевную и теоретическую подоснову движения его поэмы по направлению к оздоровляющей русскую жизнь евангельской истине.

При этом он мешает исповедь с проповедью, воспоминания о России со взглядом на неё «из прекрасного далека».

Продиктовано появление «Выбранных мест» и ещё одним обстоятельством: литературным одиночеством Гоголя и, если сказать сильнее, литературным сиротством, пришедшим с гибелью Пушкина. Ноша ответственности за русскую литературу, а может, и за всю русскую жизнь, которую нёс Пушкин, легла, как Гоголь почувствовал, на его плечи. Поэтому он берётся разом решить все «проклятые вопросы», мучающие русское общество. Отсюда размах его книги, простор её духовного поля и неизбежное обращение *за поддержкой* к Пушкину.

Чтобы понять, какую цену платит Гоголь за отсутствие Пушкина, следует обратиться к гоголевской пушкиниане, имеющей начало в 1830—1831 годах. Первая его статья о Пушкине называлась «Борис Годунов. Поэма Пушкина». «Великий! — обращался почти юноша Гоголь к Пушкину, — когда развёртываю *дивное* творение твоё, когда вечный стих твой гремит и стремит ко мне *молнию*... и душа *дрожит в ужасе*, вызвавши Бога из своего *беспредельного лона*...» (курсив мой. — *И. З.*).

В каждой строке — форсаж, восторг, натяжки в языке, натяжки в чувствах.

«...Если бы небо, лучи, море, огни, *пожирающие* внутренность земли, — продолжает Гоголь, — ... бесконечный воздух, объемлющий *миры, ангелы, пылающие планеты* превратились в слова и буквы, — и тогда бы я не выразил... и десятой доли дивных явлений, совершающихся в лоне *невидимого меня*» (курсив мой. — *И. З.*).

В конце ликующий автор срывается на крик: «Будто прикованный, уничтожив окружающее... *пожираю* я твои *страницы*, дивный поэт! ...Но когда передо мной медленно передвигается минувшее... чего бы не дал тогда, чтобы только *прочесть в другом повторение всего себя?* <...> Возьмите, возьмите от меня *всё*... и *ниспошлите мне это понимающее меня существо!*» (курсив мой. — *И. З.*).

Вспоминается любимое словцо Хлестакова: *всё*. Он *всё* написал, *всех* поразил, он всех готов любить. Он — *всё* в Петербурге, *всё* в уездном городке, *всё* в литературе, *всё* в

журналистике. Как ни смешон этот ровесник автора статьи о «Годунове» (21 год), но и он мечтает о «понимающем его существе». Этого в «Ревизоре» тогда, в 1836 году, никто не заметил, но связь между Гоголем и Хлестаковым глубинней, чем мы думаем.

Как Хлестаков, Гоголь хвастал перед родными, что он «с Пушкиным на дружеской ноге». Но то был кураж, поэтическое враньё, а под ним таилось другое: именно Пушкин был в те годы зеркалом его, невидимой другими стороны души. И, конечно, понимающим его существом. Несмотря на обычные для молодости преувеличения в статье о «Годунове», Гоголь точно определял в ней место Пушкина в своей жизни. То, что он нашёл в Пушкине, он стал искать потом во *всей* России, в каждом её грамотном человеке, в каждом читателе — от мелкого чиновника до царя. *Все* они должны были *понять* его *до конца*.

В 1832 году он пишет статью «Несколько слов о Пушкине». Пушкин здесь «явление русского духа», «в нём, как в лексиконе, заключилось всё богатство русского языка». Впрочем, тут намечается и разграничение сфер, одна из которых более принадлежит Пушкину, другая — Гоголю: «Чем предмет обыкновеннее, — ***тем выше нужно быть поэту***, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, ***совершенная истина***» (курсив мой. — *И. З.*). Ясно, что извлечение необыкновенное из обыкновенного — прерогатива не Пушкина, а Гоголя.

Итак, в статье о «Годунове» — восторг, в статье «Несколько слов о Пушкине» — восторг и анализ.

Далее в отношение к Пушкину вмешивается юмор. В письмах, в «Арабесках» (1835) и «Ревизоре» (1836) Гоголь позволяет себе подтрунивать над Пушкиным и его привычками. И смех его мешается с укоризной. В 1836-м он покидает Россию, не простившись с Пушкиным. И как Гоголь объяснит в письме из Женевы Жуковскому, «впрочем, он (Пушкин. — *И. З.*) сам в этом виноват».

Тут обиды личные: шутка ли сказать, из двадцати шести рецензий, представленных Гоголем для первой книжки «Современника», издаваемого Пушкиным, в печать пошло

только восемь. Остальные восемнадцать снял издатель. Снял он и подпись Гоголя под статьёй «О движении журнальной литературы в 1834—1835 годах», выбросив из неё и отзыв автора о Белинском.

Впрочем, всё это внешнее. Гоголь входил в ту пору своей жизни, когда он невольно обособлялся, отходил от Пушкина. Ещё во время писания «Ревизора» он стал задумываться *о пользе* своих, как он их называл, «побасенок». Мысль о самодостаточности таланта, о том, что поэт «сам свой высший суд», его не удовлетворяла.

Пушкину в ту пору было не до Гоголя. Смерть матери, история с Дантесом, хлопоты по журналу и не прошедшее мимо его глаза падение интереса к нему публики — вот что занимало его в те месяцы. Пушкин не успел заметить, как с территории, отведённой Гоголю критикой и им, Пушкиным, тот вступил на иное поле — во владения религиозной мысли. Гоголь, как бы вне взора Пушкина, вырастал в «иного гения», для которого литература означала служенье Богу.

Трудно представить, что Пушкин мог бы выпустить книгу, подобную «Выбранным местам». Трудно представить, что он открыл бы её собственным духовным завещанием. Пушкин был строг в отношении соблюдения «приличия» в литературе.

Понятие «приличия» не раз повторяется в его заметках и статьях. Что оно означает? 1. Невмешательство *слишком личного* в произведения поэта. 2. Невмешательство читателя в это *слишком личное*. По Пушкину, поэт и его жизнь сами по себе, а читатель — сам по себе. Вход в покои поэта или в его мастерскую воспрещён.

Гоголь в «Выбранных местах» оспорил этот завет Пушкина.

В «Завещании», открывающем книгу, он заявил: «*Прочь* пустое *приличие!*» (курсив мой. — *И. З.*). А в главе «Исторический живописец Иванов» напомнил, что не оговорился, повторив: поэт призван «пренебречь пустыми приличиями».

В ответе на критику «Выбранных мест», в «Авторской исповеди», он скажет: «*...здесь слетели все условия и прили-*

чия, и *всё*, что таит внутри человек, вступило наружу; с той ещё разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого всё, что ни есть в душе, просится на свет...» (курсив мой. — *И. З.*).

И вновь Гоголь так часто повторяет слово «*всё*». Оно — залог бесконечного проникновения в душу. Той неизмеримой дали, которая открывается в человеке, в тайне его ума и сердца. Разрывая круг «приличия», Гоголь не теряет, а приобретает. Он создаёт прецедент сверхоткровения и сверхвоздействия на читателя.

В «Авторской исповеди» он пишет об этом с иронией. Но ирония не отменяет того, что Гоголь *иначе не может*. Слишком мощен исповедальный порыв, слишком искренен. И не в стенах церкви совершается откровение, не перед одним лицом, а на глазах *всей* России. Публичность этого поступка шокирует, но и потрясает чистотой сердца.

Не раз цитируя в «Выбранных местах» строки Пушкина: «Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв», он этими звуками ограничиться не хочет.

Гоголь нарушает правило, установленное в поэзии Пушкиным, но его ослушанье открывает литературе путь к Достоевскому и Толстому.

Пушкин по-прежнему безусловный поэтический авторитет, но его в «Выбранных местах» теснит образ Христа. В книге Гоголя три героя: Христос (если к нему вообще можно применить такое определение), Пушкин и сам автор.

Когда надо опереться на незыблемое мнение в вопросах поэзии, личного достоинства и исторической прозорливости, Гоголь вызывает дух Пушкина. Пушкин является и когда речь заходит об отношениях поэта и власти. Но в нравственной сфере у Гоголя есть высший пример. Нельзя ставить рядом смертного человека (будь это даже Пушкин) и Христа, но автор этого и не делает.

В его глазах Христос — *Спаситель,* тогда как Пушкин — *мастер.* Пушкин — «наиумнейший человек своего времени», «великий человек», но и ему лишь дано искать дорогу к Христу. И не случайно «Выбранные места» завершаются апофеозом «Светлого воскресенья». Так называется их заключительная глава. Всё в книге Гоголя устремляет-

ся к этому финалу: размышления о государстве, о долге помещика и священника, губернатора и царя, поэта и женщины. Всё сходится на празднике восстания из мёртвых. Здесь — жемчужное зерно идеи Гоголя и здесь — редкое исключенье — не поминается Пушкин.

Более того, в главе «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность» (она предшествует «Светлому воскресенью») Гоголь с твёрдостью произнесёт: «*...нельзя повторять Пушкина*. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: *другие уже времена пришли*. Теперь уже ничем не возьмёшь — ни своеобразием ума своего, ни гордостью движений своих, — *христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт*. Другие дела наступают для поэзии». Она должна «вызывать на другую, высшую битву человека, на *битву* уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но *за* нашу *душу*...» (курсив мой. — *И. З.*).

И здесь же говорится о «заколдованном круге», который очертил для поэзии Пушкин.

Гоголь охотнее обращается к позднему Пушкину. Ранний Пушкин, по его мнению, не помышлял о «высшей битве», поздний вышел ей навстречу. О том говорит стихотворение «Странник» (1835), где «звуками почти апокалипсическими изображён побег из города, обречённость гибели и часть его собственного душевного состояния». «Много готовилось добра в этом человеке», — пишет Гоголь о Пушкине, который, как и герой «Странника», узрел «спасенья верный путь и тесные врата».

Эти слова — парафраз 13-го и 14-го стиха из главы 7-й Евангелия от Матфея. Они полностью отвечают духу и букве книги Гоголя.

«Выбранные места» и вправду зародились в «другие времена». Романтизм из страны поэзии перенесся на социальные утопии, на революционные прожекты. Молодая Россия стала бредить социализмом, этим антагонистом Провидения. Одним словом, как сказано Гоголем, разразились «страшные болезни ума».

Благодаря влиянию точных наук ум взял решительный перевес над сердцем, а значит, и над поэзией. Резко пошла

в рост «гордость ума». «Никогда ещё не возрастала она до такой силы... — говорится в главе «Светлое воскресенье». — Всё вынесет человек века... Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня... Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой... И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума... Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума...»

Книга Гоголя явилась накануне европейских революций, а одну из них — волнения в Неаполе в январе 1848 года — он застал перед отъездом на родину.

Призрак революции, бродивший по Европе, материализовался. Если 14 декабря 1825 года не повлекло за собой революционной горячки в России, то вблизи её границ эта горячка сделалась неизлечимой.

Отныне свобода — и прежде всего свобода прав, — сделалась кумиром западного общества. Гоголь, повторяя высказанные ранее слова В. А. Жуковского: «Что есть свобода? Способность произносить слово “нет” мысленно или вслух», в «Выбранных местах» присоединялся к ним. «Свобода не в том, — писал он, — чтобы говорить произволу своих желаний: **да**, но в том, чтобы уметь сказать им: **нет**».

И в этом суждении он вновь приблизился к Пушкину, который в записке «О народном воспитании», поданной царю в 1826 году, заметил, имея в виду 14 декабря: «...недостаток просвещения и нравственности вовлёк... молодых людей в преступные заблуждения», «надлежит защитить новое, возрастающее поколение» от увлечения примером «заговорщиков... скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия».

Попытка силой изменить ход истории отнесена Пушкиным к разряду безумств. Та же мысль высказана им и в статье о Радищеве (1836). Он называет Радищева «истинным представителем полупросвещения» и, вспоминая «Путешествие из Петербурга в Москву», продолжает: «Все

прочли его книгу и забыли... несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчивые и напыщенные выражения и незаконно тиснуты в станках тайной типографии с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностию и благоволением; ибо *нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви*» (курсив мой. — *И. З.*).

Для Гоголя в 1847 году вопрос о выборе пути (и для себя и для России) — вопрос вопросов. С кем он? С радикалами (Герцен, петрашевцы, а в Европе социалисты и коммунисты) или с Пушкиным? Не с тем Пушкиным, который в оде «Вольность» (1817) приветствовал расправу над царской семьёй, а с Пушкиным, написавшим «С Гомером долго ты беседовал один...» (1832), «Пир Петра Первого» (1835) и «Странника» (все они цитируются в «Выбранных местах»).

Именно этот Пушкин сродни Гоголю образца 1847 года, объявившему в своей книге, что «смирение — первое знамя христианина». В рассуждениях о поэте и власти Гоголь, как и Пушкин, на стороне поэта и на стороне власти. Пушкин, «чувствуя своё личное преимущество, как человек, над многими из венценосцев», умел высоко ставить их поступки, «умягчающие закон». Сравнивая самодержца с дирижёром, без которого расстроится согласие в оркестре, он говорил, что «один его взгляд достаточен, чтобы умягчить... шершавый звук».

Умягчение власти, ограничивающее её произвол, — вот какова, по Пушкину (и по Гоголю), задача поэта.

«Как умно определял Пушкин, — рассказывает Гоголь, — значение полномощного монарха и как он вообще был умён во всём. Что и говорил *в последнее время своей жизни!* “Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жёсткое и небратское. <...> нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти. Государство без полномощного монар-

ха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные штаты. А что такое Соединенные штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит"» (курсив мой. — *И. З.*).

Пассаж о Соединенных штатах находит подтверждение в статье Пушкина «Джон Теннер», напечатанной в третьей книжке «Современника» за 1836 год. Здесь о Северо-Американских Соединенных штатах сказано следующее: «Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (*comfort*)».

Комфорт, блага цивилизации (которые зримо противостоят в книге Гоголя культуре) — не способны заменить человеку Бога, а стало быть, доброты, любви и прощения. Пушкин стоял на той же позиции, но, в отличие от автора «Выбранных мест», был прям в своих сомнениях на этот счёт.

«Напрасно я бегу к Сионским высотам, — признавался он, — грех алчный гонится за мною по пятам».

Что же касается власти, то оба поэта не расходились в отношении к ней. Но не было в этом отношении ни лести, ни подыскивания. Гоголь пишет: «Не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом», «то была святыня его высокого чувства», а не лесть. И оттого многие в России могут сказать: «Если Пушкин так думал, то это уж, верно, сущая истина».

Позже Белинский в «Письме к Гоголю» обвинит Пушкина и Гоголя в небескорыстной лояльности по отношению к царю. Гоголь, по его мнению, воздаёт хвалу государю, надеясь получить место учителя при сыне наследника престола, а Пушкин, отдав себя «в услужение православию, самодержавию и народности», «написав два-три верноподданнических стихотворения и надев камер-юнкерскую ливрею», «лишается народной любви».

Стоит ли защищать Пушкина и Гоголя от Белинского? Есть одно письмо Гоголя на имя царя, где он просит о денежном вспомоществовании. Это, действительно, слёзная просьба, в которой проситель не щадит высоких эпитетов,

обращённых в адрес императора Николая. Но он, как и Пушкин, несомненно сознаёт своё «личное преимущество над некоторыми из венценосцев» и в «Выбранных местах» даёт монарху советы, которые тому не смели давать и министры. «Там только исцелится вполне народ, — пишет Гоголь, — где постигнет монарх высшее значенье своё — быть образом Того на земле, Который сам есть любовь». При наилучшем отношении к себе Николай вряд ли бы мог сказать, что он воплощенье образа Божия на земле.

Какая уж тут лесть!

«Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке, — пишет в завершение главы «О лиризме наших поэтов» Гоголь. — Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? ...во всех других землях писатель находится в каком-то неуважении от общества относительно своего личного характера. У нас напротив... Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живёт уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее...»

Контрастность оценок Гоголем Пушкина-поэта и Пушкина-человека не мешает признать, что Пушкин был вождём в глазах «умственного поколения». Уроки Пушкина стали для него поэтической и духовною школой. Что преподал этому поколению Пушкин? 1. Урок благородства. 2. Урок «полноты» взгляда на предмет. 3. Урок предпочтения свободы внутренней (или «тайной») свободе внешней. 4. Урок опоры на просвещение — в противовес насилию. 5. Урок государственности мышления. 6. Урок плодоносного консерватизма (опора на «предание»). 7. Урок критического отношения к европейскому «свету» («с помощью европейского света рассмотреть поглубже... себя, а не копировать Европу»).

Воспользовалось ли оно его уроками?

Гоголь готовил к печати «Выбранные места», когда раскол в русском образованном обществе стал историческим фактом. Если при Пушкине оно было относительно цельно и лишь события 14 декабря 1825 года обнаружили имеющиеся в нём противоречия, то в 1847 году дворян-

ская интеллигенция разошлась на полюса. Появились партии, исповедующие враждебные друг другу взгляды, началась идейная война.

Конечно, различие взглядов существовало и при Пушкине. Одни склонялись к тому, что лишь силой оружия можно заставить власть взять пример с Европы. Так, по крайней мере, считали участники восстания на Сенатской площади. Европейская модель, по их мнению, не имела альтернативы. Но пока они воевали, брали Париж, а затем соединялись в тайные общества, подросшая молодёжь вошла в жизнь с иными намерениями. Путь России представлялся ей не как повторение пути Запада, а как выбор, согласующийся с историей отечества.

Весь цвет русской литературы, и тому подтверждение не одна книга Гоголя, принял её сторону.

Если радикалы стали готовить заговоры, то их оппоненты, не надеющиеся, «чтоб вечный полюс растопить» (слова Тютчева из стихотворения «14-е декабря 1825»), выбрали подвиг мирного служенья России.

В конце жизни это сделал и Пушкин. Что же говорить о Гоголе?

В «Выбранных местах» он кается в том, что насмешкою над русским человеком порождал нигилизм и безверие, а стало быть, и опасные мечтания. Страшась разрушительных крайностей, Гоголь стремится внести в русскую жизнь, поражённою распрей, утешающий голос.

Называя сторонников насилия «огорчёнными людьми» (см. второй том «Мёртвых душ»), он старается смягчить отношение к ним, но пафос «Выбранных мест» — это пафос полноты взгляда на предмет, пафос отрицания односторонности и фанатизма.

14 декабря застало Гоголя на Украине. Но восстание Черниговского полка произошло вблизи его родных мест. И так же, как война 1812 года, обошедшая имение Гоголей стороной, трубным гласом отозвалась в его прозе, так и события в Петербурге не могли не стать вехой в его сознании. Одни при нём вышли на Сенатскую площадь, другие пошли в архивы, в библиотеки, в художество и в дипломатию, предпочтя поэзии бунта поэзию самопозна-

ния. Первые впоследствии трансформировались в западников, вторые — в славянофилов.

Гоголь предчувствовал, какие беды ожидают Россию, если она выберет путь потрясений. Его книга полна боли за такое будущее. И оно сбылось. Именно западники, образно говоря, начинили бомбу, которая 1 марта 1881 года взорвалась на набережной Екатерининского канала и унесла жизнь Александра II. Славянофилы стали помощниками царя в подготовке крестьянской реформы. Первые никого не освободили, вторые способствовали освобождению миллионов кормильцев России.

Гоголь в главе «Споры» отдаёт должное и «западным», и «восточным» (не в политическом, а в культурном плане), а себя всё же относит к «неутральным» (так у Гоголя. — *И. З.*). Писатель не может состоять ни в какой партии, как и сама истина. «Староверы» и «нововеры» видят один и тот же предмет с разных сторон. Чтоб составить *полное* (Гоголь часто повторяет это слово) представление о предмете, надо принять в расчёт суждения *всех*. При этом (в главе «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности») он ссылается на Пушкина, «который заключал в себе все разнородные верования и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа», а «в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения исповедал выше всего высоту христианскую».

Гоголь, как и Пушкин, сторонник разумной середины, хотя симпатии его склоняются к «восточным». «Восточные», как сказал бы Пушкин, преисполнены «уважением к преданию». Так же, как Пушкин, они почитают прошлое, почитают родной язык и, несмотря на излишества в виде национального чванства (о котором сурово отзывается Гоголь), остаются христианами.

И здесь их союзник и союзник Гоголя поздний Пушкин.

«Некоторые стали печатно объявлять, — пишет Гоголь, — что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских... По их поняти-

ям, следовало бы всё высшее в христианстве облекать в рифмы... Пушкин слишком разумно поступал, что, не дерзая переносить в стихи того, чем ещё не проникалась вся насквозь его душа, предпочитал лучше остаться *нечувствительною ступенью к высшему* для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, нежели оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами».

Это место в книге Гоголя Лев Толстой отчеркнул карандашом. Выбор, сделанный в конце жизни Пушкиным и принятый по наследству Гоголем, родственно отозвался в творце «Воскресения».

Пушкин так видел финал своей жизни: поэзия, семья, религия, смерть. Он же честно признался, что грех мешает ему достичь Сионских высот. **Тема греха**, может быть, центральная в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Грех поэта, создающего «идеалы безобразия», — в заразительности талантливо изображённого зла (главный мотив обновлённого «Портрета»), грех человека (считай, грех Гоголя) — в потакании таланту, которого захватывает отрицательная сила зла.

Пушкин, рассказывает Гоголь, смеялся, когда он читал ему первые главы «Мёртвых душ», а затем делался всё сумрачней и сумрачней и, наконец, «произнёс голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!”». Пушкин не знал, куда выведет Гоголя сюжет поэмы, но его возглас говорит о том, что не столько мастерство автора, сколько его жалость к героям и его страстное желание отвести их от греха проникли в его душу.

Пушкин в то время уже просил Бога: «...дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья».

О том же, можно сказать, просит на каждой странице своей книги Гоголь: «...я не люблю моих мерзостей... я не люблю низостей моих, которые отдаляют меня от добра». Он мучается оттого, что находит в себе «тьму и *пугающее отсутствие света*». «Бог дал мне многостороннюю природу, — признаётся он. — Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего, несколько хороших свойств; но луч-

шее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было *желанье быть лучшим*» (курсив мой. — *И. З.*).

У Пушкина религия отделена от поэзии. Поэт может вдохновляться ею, но поэзия — дело светское. Гоголь, напротив, желает «внести Христа во все дела и во все действия жизни», в том числе и в литературу. Он и управление государством предлагает строить на основе Евангелия.

И здесь выступает отразившееся в «Выбранных местах» новое качество русской литературы. Качество, как бы преодолевающее опыт Пушкина. «Скорбью ангела загорится наша поэзия», — пишет он. В главе «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность» его максима обозначена даже в заглавии. Слово «наконец» сигнализирует о решительности Гоголя, об окончательности определения существа русской поэзии. С Гоголем она вступает на путь христианизации литературы.

Но, как ни чистит он себя, старая болезнь — гордыня — остаётся с ним.

Будь иначе, разве сказал бы он так о Пушкине: «Произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил сам в себе поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт». Совершенно ясно, что речь тут идёт о двух поэтах — Пушкине и Гоголе. Гоголь судит Пушкина как «равный ему поэт».

Он справедливо считает, что русская литература ушла дальше Пушкина. Что Пушкин, как родимый дом, остаётся за холмами. «О Русская земля! Ты за шеломянем еси!» Эти горькие строки из «Слова о полку Игореве» он мог бы повторить, метафорически прощаясь с Пушкиным.

И вновь как равный он говорит: Пушкин «был дан миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и не больше», Пушкин не дал направленья умственному миру, не сказал ничего нужного своему веку, не подействовал ни спасительно, ни разрушительно, «не произвёл влияния личностью собственного характера», «влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожное», влияние сильное он оказал лишь на поэтов.

Все эти «не» образованы из вопросов, которые Гоголь ставит перед читателем и на которые отвечает отрицатель-

но. Упрощённо это выглядит так: «Оказал ли?» — «Нет, не оказал».

Гоголь отводит Пушкину первенство в «необыкновенной художественной обработке, но отказывает в идейном влиянии на общество. Здесь он смотрит на Пушкина как человек, видящий в этом влиянии распространение христианской истины. Это и есть цель, которую в «другое время» ставит перед собой «другой поэт», то есть он, Гоголь.

Его *окончательный* вывод: «Всё ещё находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; ещё никто не может вырваться из этого *заколдованного*, им очерченного *круга*» (курсив мой. — *И. З.*).

В «Выбранных местах» Гоголь совершает разрыв этого круга, показывая *пример*, которым воспользуются потом «другие» (уже по отношению к нему) поэты. И заплатит он за это дорогую цену: его освищут, ему не поверят, его оболгут. Но такова, видимо, судьба всех, кто круто берёт в сторону от пробитой колеи.

«Зависеть от царя, зависеть от народа — / Не всё ли нам равно? — спрашивал Пушкин. — Бог с ними. Никому / Отчёта не давать, себе лишь самому / Служить и угождать...» Поскольку стихотворение, откуда взяты эти строки, написано в июле 1836 года, — такова его последняя воля.

Вот в чём, по мнению Пушкина, существо русской поэзии и её особенность.

Гоголь же только и делает, что *отчитывается*. Он даёт отчёт царю, народу, братьям-писателям. Он жаждет оправдаться перед *всем* русским миром. Какая тяжкая ноша! Но поэт, в котором Россия после 29 января 1837 года увидела *преемника* Пушкина, не мог не принять её на свои плечи.

2004

ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ

В одной из глав второго тома «Мёртвых душ» есть следующее описание «тайного общества»: «Какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута, и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека. Общество было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная, пожертвования собирались с великодушных членов неимоверные. Куда это всё пошло — знал только один верховный распорядитель».

Членом этого общества состоял одно время герой второго тома Тентетников. Туда «затянули его два приятеля, принадлежащие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией».

Не рискнем утверждать, что Гоголь изобразил здесь кружок Петрашевского, но некоторые совпадения в составе участников и в программе «общества» и кружка налицо. Петрашевского посещали несколько офицеров конной гвардии, были среди его единомышленников и сту-

денты. Цель «общества» — «доставить счастье всему человечеству» — цель учения Фурье. А именно этим учением был «опьянен» руководитель кружка Петрашевский, а одно время и Федор Михайлович Достоевский.

Так что когда Гоголь пишет о «формальных пьяницах», он имеет в виду опьянение идеей: в данном случае идеей социализма, в том виде, как её представлял Фурье и его русские апологеты в Санкт-Петербурге.

Нельзя не учесть и того, что второй том «Мёртвых душ» создавался как раз в конце сороковых — начале пятидесятых годов, когда арест петрашевцев, а затем и суд над ними (1849) сделались предметом разговоров в обеих столицах.

Гоголь тогда жил в Москве и был оповещён об этих событиях А. О. Смирновой. Вряд ли от него утаили и то, что главным пунктом обвинения против Достоевского стал факт чтения им в кружке Петрашевского письма Белинского к нему, Гоголю.

Может, поэтому в конце 1849 года (когда и состоялся суд) он так переживает свое косвенное «участие» в этом деле. Его письма полны беспокойства по поводу увлечения молодежью социалистическими прожектами. «Много смущения в головах, — пишет он, — и время не такое: авось, *отрезвятся* сколько-нибудь опьяневшие головы». «Это мутное время... не успевши отрезвиться, общество ещё находится в чаду». 14 декабря, через день после вынесения петрашевцам приговора, он отсылает письмо В. А. Жуковскому: «Время ещё содомное. Люди, доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели. Чувство художественности почти умерло».

Отметим, что характеристика «филантропического общества» во втором томе «Мёртвых душ» совпадает с гоголевской оценкой современного состояния умов. Всюду идет речь об «опьянении» и необходимости «отрезвления».

С одной стороны, это, конечно, реакция Гоголя на то, что происходит в Европе (революции 1848—1849 годов), с другой — прямой отклик на события в России. О том свидетельствует его ответ Белинскому, который не был отослан адресату, а остался в бумагах Гоголя.

К этому факту мы ещё вернемся, а сейчас два замечания. Замечание первое. «Завязались дела с полицией», — пишет Гоголь о «филантропическом обществе». Точно такие же дела завязались и у кружка Петрашевского. Полиции стало известно, что петрашевцы планируют завести собственную типографию, дабы печатать в ней запрещённую литературу.

Этот план и ускорил намерение властей произвести аресты.

Замечание второе. Комическая интонация Гоголя в описании сходок «огорченных людей» почти полностью совпадает с интонацией Достоевского, который в «Объяснении», представленном военно-судной комиссии, так характеризует русских фурьеристов: «Что же касается до нас, до России, до Петербурга, то здесь стоит сделать двадцать шагов по улице, чтобы убедиться, что фурьеризм на нашей почве может только существовать в неразрезанных листах книги, или в мягкой, незлобивой и мечтательной душе, но не иначе, как в форме идиллии или подобно поэме в двадцати четырех песнях в стихах». Вывод Достоевского: «Если фурьерист и нанесет кому вред, так только разве себе. Ибо ***высочайший комизм*** для меня — это ненужная никому деятельность» (курсив мой. — *И. З.*).

Делая поправку на то, что это писалось под арестом, нельзя не уловить здесь факта «протрезвления» Достоевского.

И вновь о письме Белинского. Достоевский в «Объяснении» говорит, что читал не письмо, а «переписку». Что это значит? Что вместе с посланием критика у него в руках был и ответ на него Гоголя? Или слово «переписка» есть намёк на то, что речь идёт не об ответе, посланном Белинскому по почте, а об отрывках из книги Гоголя «Выбранные места из **переписки** с друзьями»?

Гоголь отправил Белинскому два письма: первое от 20 июня 1847 года было ***ответом*** на статью критика о «Выбранных местах», появившуюся в журнале «Современник». В нём он писал, что Белинский не понял его, что статья в «Современнике» — плод раздражения и «личного озлобления». Второе письмо от 10 августа того же года стало ответом на письмо-манифест, отправленное из

Зальцбрунна. В нём Гоголь решительно уклонялся от полемики, замечая лишь, что сам он, может быть, «слишком усредоточился» в своей книге, тогда как Белинский «слишком разбросался». «И вы, и я перешли в излишество, — добавлял он. — Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы?»

Уклончивость первого письма Гоголя и произвела взрыв в Белинском. Это придало его ответу страстность, которая не могла не увлечь молодую душу. Тем более, как говорят поздние высказывания Достоевского о книге Гоголя, вызвавшей этот диалог, тон и смысл письма Белинского были не чужды его отношению к «Выбранным местам из переписки с друзьями». Позже Достоевский не раз возвратится к этой книге, то пародируя, то прямо оспаривая её, то называя Гоголя «не вынесшим своего величия человеком».

Он не знал — и не мог знать, — что существует ещё один ответ Гоголя Белинскому. И в этом ответе — в тезисных определениях — угадана вся будущая идейная эволюция Достоевского.

Вот основные положения этого письма: над нами есть Святые силы, мы должны отвергнуть желчь и ненависть, «что до политических событий, само собою умирилось бы общество, если б примиренье было в духе тех, кто имеет влияние на общество», «из Евангелия исходит истина», «броженье внутри не исправить никаким конституциям. Общество образуется само собою, общество слагается из единиц. Надобно, чтоб каждая единица исполнила должность свою. Нужно вспомнить человеку, что он не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придёт в порядок и земное гражданство».

Возражая Белинскому, воздающему хвалу «европейской цивилизации», Гоголь пишет: «Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют. Тут и **фаланстерьен** (фаланстеры Фурье! — *И. З.*), и **красный**, и всякий, и все готовы друг друга съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что даже трепещет в

Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно никто покуда не видел, и ежели пытались её хватать руками, она рассыпается, и прогресс, он тоже был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, он и рассыпался».

Далее следует ответ на суждения Белинского о Церкви: «Вы отделяете Церковь и её пастырей от Христианства, ту самую Церковь, тех самых пастырей, которые мученическою своею смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и, наконец, утомили самих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал Христа. Кто же, по-вашему, ближе и лучше может теперь истолковать Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние. Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом».

В своем ответе Гоголь вплотную подходит к тем вопросам, которые станут разрабатываться в публицистике и в романах Достоевского. Если соединить не отосланное Гоголем письмо Белинскому с мыслями «Выбранных мест из переписки с друзьями», то воссоздастся картина полной «передачи дел» от Гоголя Достоевскому.

Достоевский начинает с подражания Гоголю и одновременно с иронического самоопределения по отношению к нему. Для Девушкина, героя его первой повести «Бедные люди», списанной, кажется, с гоголевской «Шинели», история об Акакии Акакиевиче — «пашквиль» на человека. Сам стиль Гоголя подвергается здесь жестокому осмеянию. Бездарный литератор Ратазяев, к которому Девушкин ходит слушать его сочинения, изъясняется тем же слогом, что и автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В творениях Ратазяева просматривается пародия сразу на

трех авторов — на Гоголя, Булгарина и Сенковского. То, что Достоевский ставит их на одну доску, говорит о литературном унижении им своего кумира и о желании *преодолеть* его влияние — освободиться от Гоголя смехом.

Достоевский пользуется здесь оружием, с помощью которого сам Гоголь когда-то освобождался от Пушкина. В основе этого освобождения лежит творческий конфликт. Заходя на территорию гения, другой гений на *те же* предметы смотрит иными глазами. В облике мира, который создает Достоевский, видны родимые гоголевские черты (человеческое подполье, грех, поиски Бога, литература как «незримая ступень к христианству»), но они капитально преображены.

Творческий и человеческий контакт Гоголя и Достоевского очевиден. И не только потому, что они хронологически стоят рядом. Гоголь завещает Достоевскому не приемы, не характеры и не критический реализм («все мы вышли из гоголевской “Шинели”»), а «проклятые вопросы» русской жизни, «страхи и ужасы России».

«Фантастический реализм» Достоевского не был бы возможен, если бы Гоголь не перешёл за черту «дневного сознания» (Пушкин), не взглянул бы, как Хома Брут на Вия, в лицо «душевной черноте» человека.

Художественный текст Достоевского перенасыщен цитатами из Гоголя. Они нужны «ученику» для постоянного диалога с «учителем». Этот диалог будет длиться для Достоевского всю жизнь. И в «Братьях Карамазовых» он вновь вернется к образу Руси-тройки, переосмыслив его на свой лад.

Вслед за Башмачкиным из «Шинели» у Достоевского появляется Макар Девушкин. Голядкин из «Двойника» есть развитие раздвоившегося Поприщина. Мотив раздвоения как мотив сумасшествия (сумасшествия для людей, а не для героя) взят Достоевским у Гоголя. «Нам знакомо лишь одно насущное, видимо-текущее, — писал Достоевский, — да и то по наглядке, а концы и начала — это всё пока для человека фантастическое».

Фантастика «концов и начал» — от рая в душе до падения её в бездну греха — является впервые у Гоголя. Фан-

тастичны не сделки Чичикова (в России это почти реальность), а драма «подлеца», пытающегося из «чёрнинького» стать «белиньким», то есть спастись и воскреснуть.

Гоголь выводит великую русскую литературу на путь религиозного идеала, Достоевский следует за ним. Но он и идет дальше. Если Гоголь лишь касается борьбы дьявола и Бога в душе человека, то Достоевский погружается в этот сюжет с головой.

Чувство греховности, мучительное чувство «раздора мечты и существенности» не дают гоголевским героям жить. Но там, где они, не выдержав ужаса раздвоения, гибнут, для героя Достоевского и начинается жизнь.

«Страшна душевная чернота!» — восклицает Гоголь. Но столь же сильное потрясение испытывает он и в момент приближения к Богу: «И душа дрожит в ужасе, вызвавши Бога из беспредельного лона». Достоевский превозмогает почти детский испуг Гоголя. Он в состоянии дерзить Богу, оспаривать Его правоту. Провокаторский смех Достоевского достигает и неба.

В лице Гоголя и Достоевского встречаются две эпохи — эпоха романтическая, эпоха поэзии, осознающей мир через чувство и страсть, и эпоха сомнения, эпоха расщепления и проверки «святых чувств». Гоголевская поэтическая стихия ещё не знает разлагающего влияния научного знания, высокомерия ума, дающего неограниченные права *страстям идей*.

Об опасности «страстей ума» Гоголь предупреждал в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847). Воздействие этой книги на Достоевского до сих пор не оценено. Меж тем именно в ней содержатся зачатки идеологических сюжетов автора «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Темы гоголевских статей развертываются в романы. «Страсти ума», равно как и «гордость ума» (цитата из «Выбранных мест»), предстают в лице героев-идей в «Преступлении и наказании», в «Идиоте», в «Подростке».

Гоголь вступает в противоборство с утопическими прожектами современных ему социалистов, переориентируя интерес художника со «среды» на личность, лишь в возрождении «единицы» (как он называет отдельного чело-

века) видя возрождение общества. Он подвергает критике теории социального реформаторства, посредством которых, как считают материалисты, можно построить Царство Божие на земле. И он, наконец, предвидит последствия насильственного изменения истории. Окончательный его вывод сформулирован в одном из набросков ко второму тому «Мёртвых душ»: «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии».

Достоевский созывает консилиум, где подвергает этот идеал проверке со стороны резонов положительного знания. Это резоны науки, логики и неистребимого здравого смысла. Божественная истина, по Достоевскому, дважды два — пять, истина материализма: дважды два — четыре. Он настаивает на том, на чём поскользнулся в глазах общественности в своей книге Гоголь: на «безумии» в постижении истины.

В религиозном чувстве Гоголя временами берет верх страх, Достоевский творит за границей страха. Поэтому он неуклонно проводит любимый образ и любимую идею через контрольно-пропускной пункт подпольного и открытого неверия. Подлинность христианского вероучения можно, кажется, установить, лишь пройдя по кругам умственного ада. Добиваясь этой стопроцентной подлинности, Достоевский идёт на крайности, на которые никогда бы не посмел решиться Гоголь: его герои богохульствуют, передразнивают и оспаривают Евангелие, а автор демонстрирует захватывающую *поэзию нигилизма*, соседствующую со сладострастием сомнения и анализа.

И в этом пункте расходятся смех Гоголя и смех Достоевского. Если Гоголь возвышенно относится к «высокому», то у Достоевского «высокое и прекрасное» (его ироническое определение идеала) способно предстать и в смешном виде (князь Мышкин). Если смех Гоголя не посягает на Божественную истину, то смех Достоевского ставит её лицом к лицу с цинизмом безыдеального. И часто этот цинизм предъявляет ей неотвратимые аргументы.

Провоцирующая функция смеха доведена Достоевским до совершенства в «Идиоте» (Лебедев), в «Преступлении и наказании» и, конечно, в «Записках из подполья».

Наглость смеха, отчаяние смеха, взрыв страдания в смехе, бессилие гордости, осмеивающей себя, разоблачительное сопровождение при лгущих словах и маскировке правды, не желающей быть простодушной, — всё это смех у Достоевского.

Смех Раскольникова, смех Свидригайлова, смех «антигероя» в «Записках из подполья» — далёк от простодушного веселья Хлестакова, от беззлобных шуток Чичикова и даже от горького, оплакивающего смеха «Шинели». Тут видны дьявольские улыбки, страшные намеки, страшные искушения. Для Достоевского смех — одна из отрицательных форм постижения идеала. Искажения идеала, отступления от идеала, пародия на идеал, наконец, уродство идеала — всё равно указывают на идеал.

Смех Гоголя не проходит по списку провокации и глумления. Герои Достоевского глумятся над верою. Они обращаются с нею, как много знающие реалисты — с неисправимой идеальностью. Гоголь говорит о природе своего смеха: я — комик. В нём слышатся отзвуки полноты жизни, её избыточности. Смех Достоевского как инструмент разоблачения несет в себе истребительное начало. И, скажем прямо, он зол, очень зол. Хотя, кажется, уповает на идеал.

И ещё одна на этот раз уже несомненная близость. Герои Гоголя и Достоевского, как правило, переживают два состояния — «падения» и «восстания». Поднимается из глубокой ямы Раскольников, должен подняться и Чичиков. Развязывает узел драмы покаяние. Кается во втором томе «Мёртвых душ» Чичиков, кается и Раскольников. Каются Иван и Дмитрий Карамазовы в последнем романе Достоевского. То, что сгорает в огне, сжигающем рукопись второго тома «Мёртвых душ», воскресает, как феникс, на страницах книг Достоевского. И являются в них русский святой (старец Зосима), русский нигилист (Ставрогин), русская идеальная девица (Соня Мармеладова).

«Полюбите нас чёрнинькими, а белинькими всякий полюбит» — эти слова Гоголя можно поставить эпиграфом ко всем творениям Достоевского.

Гоголь жаждет изобразить прекрасного человека, Достоевский продвигается в этой мечте от замысла к реали-

зации. Его искания выводят читателя к таким фигурам, как Мышкин и Алёша Карамазов. И ещё более удивительный факт: из наследия Гоголя рождаются сразу два великих писателя — в 1872 году и в одном журнале «Русский вестник» публикуются «Бесы» Достоевского и «Соборяне» Лескова. В первом всё святое, кажется, втоптано в грязь, во втором оно с любовью (и нежным юмором) возведено в перл, представлено как *прекрасная реальность*.

И Гоголь, и Достоевский испытывают влияние идей просветительства и немецкого романтизма. Воспитываясь отчасти на них, они затем отвергают как рационализм просветителей, так и далекий от христианского идеала германский иррационализм. Они смягчают их дыханием личного чувства к Христу.

Достоевский не только использует намеченную Гоголем идеологическую тематику. Он, следуя опыту «Выбранных мест из переписки с друзьями», создаёт «Дневник писателя», где выходит на прямой диалог с читателем.

Конечно, Достоевский не столь откровенен в «Дневнике», как Гоголь в «Выбранных местах». И это касается прежде всего меры критического отношения автора к себе. Гоголь не знает пощады, когда говорит о Гоголе, Достоевский предпочитает о Достоевском молчать.

Истинность религиозности одного подтверждается практикой (неприкрытая исповедь), другой предоставляет право на саморазоблачение своим персонажам, перекладывая на их плечи то, что его предшественник бесстрашно берёт на себя.

Гоголя и Достоевского роднит *максимализм*, желание решить *все* вопросы русской и мировой жизни. «Мёртвые души» так и остались бы романом-сатирою, романом-зеркалом русских нравов первой половины XIX века, если б Гоголь не посягнул в них на задачу *спасения* человека. Построение «Мёртвых душ», как сочинения в трёх частях, соответствующих «аду», «чистилищу» и «раю», отозвалось в «Братьях Карамазовых», где «идеальный» Алёша «соблазнится» (соблазнится социалистической идеей, как и молодой Достоевский) и отправится (как и должен был гоголевский Тентетников) за свои убеждения в Сибирь. Окончательное

воскрешение Алёши (как и воскрешение Чичикова) должно было случиться в последней, третьей части романа.

Гоголь считается мастером комедии социальных положений, но его тема, как её определил ещё в 1835 году Белинский, — «комедия жизни». Кто в этом мире смеётся над человеком? Кто приговаривает его к смерти? Есть ли это только, как сказал Достоевский, «комедия со стороны природы» или таков приговор Бога? Ответ на этот вопрос — задача всей жизни Достоевского. Оттого-то он и бросает вызов Богу, как это делают его нигилисты от Ипполита в «Идиоте» до Ивана Карамазова.

Отсюда магический смысл ключевого для Достоевского слова «проба». Оно фигурирует во всех его философских спорах, в спорах смертного существа с существом высшим, как бы «на пробу» вытолкнувшим его в мир. Над нами ставится опыт, говорит Достоевский, но попробуем и мы испытать Того, Кто этот опыт ставит.

Достоевский стоит на краю эпохи Большого Скепсиса и всё уменьшающихся надежд.

Как бы мы по-разному ни видели их, Гоголь и Достоевский стоят рядом. Их прозрения оправдались, их пророчества сбылись. Мировые катастрофы XX столетия, и в особенности русская катастрофа, показали, что интуиция авторов «Выбранных мест из переписки с друзьями» и «Легенды о великом инквизиторе» их не обманула. «Ночная эпоха истории» (выражение Н. Бердяева) не заставила себя ждать.

Просвещение без «просветления» (Гоголь), попытки построить рай на земле *без Христа* обернулись трагедией, перед которой меркнут прежние трагедии человечества. Обезбоживание человека (и целых народов) поставило под сомнение их будущее.

Лучшие писатели XX века не дали себя обмануть свободой для дьявола. Ибо есть свобода для дьявола и свобода для Христа. В первом случае человек говорит своему произволу «да», во втором — «нет». Кажется, мир уже сказал своему произволу «да». Он создал социальную конструкцию, где Богу, по существу, нет места, зато есть место торжеству «гордости ума» над правотой сердца.

2009

СТРУНА В ТУМАНЕ
(*Ещё раз о Гоголе и Достоевском*)

Один заставлял нас громко смеяться, но в осадок смеха выпадали слёзы. Другой более склонялся к сарказму, к анализу боли сознания, к «хождениям души по мытарствам».

Судьба распорядилась так, что в истории литературы (и русской истории вообще) они стоят рядом, и строптивый наследник, «принимая дела» у своего предшественника, желает освободиться от связывающих их уз. Но, как это и бывает между «отцами» и «детьми», не может их порвать.

Ничто великое не уходит в прошлое, а продолжается *в ином* великом. Но их встреча — всегда драма, конфликт, полемика.

Первая трагическая страница в судьбе Достоевского связана с Гоголем. Вспомним, что гласил приговор военно-судной комиссии по делу петрашевцев:

«Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте сего года из Москвы от дворянина Плещеева... копию с преступного письма литератора Белинского, — читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского. А потому военный суд приговорил его за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского... лишить на основании Свода военных постановлений... чинов и всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Что писал Белинский Гоголю? Он стыдил его и обличал. Стыдил за желание угодить правительству, обличал за оправдание крепостного права: «Нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель».

Достоевский в то время разделял этот взгляд Белинского. Иначе он не читал бы в кружке Петрашевского с пафосом его письма к Гоголю.

Спустя десять лет в повести «Село Степанчиково и его обитатели», являющейся пародией на «Выбранные места из переписки с друзьями», он выведет тип русского Тартюфа Фомы Опискина. И этот персонаж в своих фарисейских речах станет на каждом шагу цитировать эту книгу.

В завещании, предпосланном «Выбранным местам», Гоголь писал: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе...»

А вот текст Достоевского:

«— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигнете мне монумент! А больше ничего не надо, не надо, не надо!»

И не знал автор этой карикатуры, что в ответе Белинскому Гоголь уже упредил его. Он заявил здесь почти все будущие идеи и темы Достоевского. Он предрёк появление «Бесов», «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых». О чём эти романы? О том, что истина с Христом, а не с социализмом.

«Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, кто нажил состояние?»

Можно подумать, что это цитата из «Бесов». Но, как я уже писал, это пассаж из ответа Гоголя Белинскому.

Поворот молодого Достоевского к позднему Гоголю

был уже близок, но ему предстояло пройти через смертный приговор, отмену казни и четыре года каторги.

Поразительно, что герой второго тома «Мёртвых душ» Тентетников, по молодости оказавшийся в некоем тайном обществе, как и сам Достоевский (и его герой Алёша Карамазов), должен был за свои убеждения попасть в Сибирь.

Гоголь задолго до Достоевского осознал опасность увлечения молодёжи социалистическими идеями и в «Выбранных местах», а затем в споре с Белинским резко высказался на этот счёт.

И именно эта книга, как и возникшая вокруг неё переписка стали роковыми в судьбе Достоевского.

Но начало его спора с Гоголем находилось не здесь.

Гоголь — кумир Достоевского с детских лет. Его книги и его портрет сопровождают Достоевского всюду. В тот вечер, когда он передаёт Некрасову рукопись «Бедных людей», — то «пошёл к одному товарищу куда-то далеко», «мы всю ночь проговорили с ним о “Мёртвых душах” и читали их, в который раз — не помню. Тогда это бывало между молодёжью: сойдутся двое или трое: “А не почитать ли нам, господа, Гоголя?” — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь».

Читать-то читали, но в «Бедных людях» Макар Девушкин навещает живущего по соседству литератора Ратазяева и слушает в его исполнении сочинение, почерк которого нельзя не узнать:

«Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич человек крутого характера, но зато редких добродетелей; напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит редьку с медом. Вот когда ещё была с ним знакома Пелагея Игнатьевна... а вы знаете Пелагею Игнатьевну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку».

По поводу этого пассажа Макар Девушкин замечает: «Оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей».

В этом кратком комментарии — упрёк молодого «социалиста» Достоевского политически нейтральному Гоголю.

В «Записках из подполья» Достоевский рассказывает об одном из мечтаний своего героя, который представляет, как он отомстит и насолит своим обидчикам, превратившись из коллежского асессора в Наполеона. Тут пародия на гоголевского «испанского короля». В воображаемом торжестве «подпольного» прощупываются все сюжеты «Записок сумасшедшего»: и «фантастическая любовь», и преображение в особу царской крови, и отмщение тем, кто его унижал.

И вместе с тем тут не одна повесть Гоголя, но и «Выбранные места из переписки с друзьями», «Игроки» и «Рим».

Как Наполеон, «подпольный» разбивает ретроградов под Аустерлицем (кстати, брат Наполеона Жозеф с 1808 по 1813 год был королём Испании), а затем действие переносится в милую Гоголю Италию. Ещё до этого герой Достоевского является «на белом коне» и «в лавровом венке» и «поет итальянские арии». А в Риме в честь своих побед дает «бал для всей Италии на вилле Боргезе» — в непосредственной близости от места, где снимал свою первую квартиру Гоголь. Пародийный текст Достоевского прозрачно включает в себя гоголевские словечки и метафоры, без усилия отсылающие нас к первоисточнику.

Зло осмеян сам идеал автора «Выбранных мест», идеал «прекрасного и высокого». Достоевский с меткостью замечает, как этот идеал повисает у его предшественника в воздухе и не в состоянии приложиться «ни к чему человеческому на деле». А оттого ищет убежища в «совсем готовых» формах, «сильно украденных у поэтов и романистов».

И чем сильнее его «подпольный» раскаляется, тем бесспорней делается факт, что автор «Записок из подполья» пишет карикатуру на Гоголя, в частности на открывающую его «Выбранные места» главу «Завещание».

Читаем в «Записках из подполья»:

«Я... над всем торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать мои совершенства, а я их всех прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером (ходили слухи, что Гоголь своей книгой хочет прислужиться двору. — *И. З.*), получаю несмет-

ные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий (Гоголь отдал часть гонорара за «Мёртвые души» бедным студентам. — *И. З.*) и тут же исповедуюсь перед всем народом в моих позорах (у Гоголя: «...не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи...». — *И. З.*), которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе много "прекрасного и высокого", "чего-то манфредовского"».

Одно это «чего-то манфредовского» наводит на источник, откуда герой Достоевского черпает свои желчь и яд. Собачкин в гоголевском «Отрывке» хвастает, что у него иной раз появляется «даже что-то значительное в лице». «Жаль только, что зубы скверные, — добавляет он, — а то бы вовсе был похож на Багратиона». Хлестаков уверен, что в его глазах «есть что-то такое, что внушает робость». А про «гусара» Глова Утешительный в «Игроках» говорит: «Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-Тольевское что-то видно».

«Все плачут и целуют меня, — продолжает "подпольный", — а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи». Ни дать ни взять Гоголь, который в «Выбранных местах» писал о пользе бедности и о том, что у него ничего нет, кроме походного чемодана.

В предисловии к своей книге, которая стала мишенью для злейшей пародии в «Селе Степанчикове и его обитателях», Гоголь не раз просит прошения у читателя, в свою очередь прощая тех, кто его обидел. И вдруг в его ищущую милости интонацию врывается звук, очень сходный с музыкальным мотивом «Записок из подполья». Он пишет: «...никто в такую минуту (то есть в минуту его покаяния. — *И. З.*) не посмеет не простить своего брата... ***не должен посметь не простить меня***» (курсив мой. — *И. З.*).

Гордыня, и ещё раз гордыня (основная черта героя Достоевского) слышится в этой проскрипции.

Слова «Я завешаю» и «Я возвещаю» соединяются на страницах «Завещания», давая подпольному человеку повод для самоиронии. Достоевский мастерски использует этот стилистический просчёт для компрометации «высокого и пре-

красного». Тем более что автор «Выбранных мест» заканчивает главу «Завещание» прозаическим, даже не пожеланием, а указанием: «Завещание моё немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях...» Это и есть: «Я торжествую, все во прахе», что Достоевский вкладывает в уста своего Наполеона — Манфреда.

Если ещё вспомнить, что главным антагонистом «антигероя» Достоевского является офицер по фамилии Зверков, то невольно приходит на ум, что фамилия эта взята неспроста. В доме Зверкова, на углу Столярного переулка и набережной Екатерининского канала, жил в 1829—1831 годах и Гоголь, там же квартирует приятель сумасшедшего Поприщина, который «играет на трубе».

Заметим, что помимо иных сближений у героев «Записок сумасшедшего» и «Записок из подполья» есть одно капитальное сходство — оба они писатели. Об этом свидетельствуют как их «Записки», так и повесть «подпольного», которая была отвергнута журналом «Отечественные записки». Именно в этом журнале, порвав с «Современником», стал печататься молодой Достоевский.

Что означают все эти совпадения, намеки, обмолвки и прицельный огонь автора «Записок из подполья» по автору «Записок сумасшедшего»?

Кровную зависимость Достоевского от Гоголя. Начав свою первую печатную вещь с пародии на «Шинель», а также на стиль Гоголя в целом, Достоевский публикует «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), а через пять лет (год создания «Записок из подполья») вновь использует образы Гоголя и его публицистику для демонстрации: а) своей зависимости от него и б) своей независимости от него. Желание независимости усиливается от чувства, что Гоголь «давит» на него и, конечно, самопробуждением собственного таланта.

Необыкновенен интерес автора «Записок из подполья» к герою «Записок сумасшедшего» как к типу, а также к форме исповеди, к которой прибегает в этой повести Гоголь. У Гоголя «Записки сумасшедшего» стоят особняком. В его сочинениях события излагает сам автор, и право на исповедь имеет только он. У Достоевского фейерверк ис-

поведей, берущих верх над всеми другими формами повествования.

Наконец, сумасшествие титулярного советника Поприщина есть не что иное, как предвестие анализа *болезни сознания* у Достоевского, сказавшего, что «слишком сознавать — это болезнь». Это анализ хаоса сознания, столкновения «противоположных элементов» и «безумия» овладевших человеком идей.

* * *

Успех «Бедных людей» вскружил Достоевскому голову. В. Н. Майков писал: «В ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта. “Не хуже Гоголя”, кричали одни; “лучше Гоголя”, подхватывали другие; “Гоголь убит”, вопили третьи».

Вокруг раздавалось: «Новый Гоголь явился!»

Но «новый Гоголь» вовсе не хотел быть тенью «старого» Гоголя.

Достоевский писал брату Михаилу: «Во мне находят новую, оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь ж берёт прямо целое и оттого не так глубок, как я».

В разговоре с И. С. Тургеневым он высказывается ещё определеннее: мне никто не страшен, дай только время, я всех их в грязь затопчу. Речь шла в том числе и о Гоголе.

Но минет два года, и Достоевский уйдёт на каторгу совсем с другим настроением. Стоя на эшафоте на Семеновском плацу и ещё не зная об отмене смертного приговора, он скажет Спешневу: «Мы будем с Христом». Он уже разошёлся с Белинским, прежде всего в пункте о Христе, которого тот «ругал по-матерну».

* * *

Странные совпадения устраивает иногда судьба. Дом, где 23 апреля 1849 года был арестован Достоевский, стоит в двух шагах от дома Лепена по Малой Морской, где с

1833 по 1836 год жил творец «Ревизора» и где «Ревизор» был написан.

Но не эта аристократическая Адмиралтейская часть станет местом, где завяжутся трагические и трагикомические сюжеты Гоголя и Достоевского. Родина их фантазии — «канава» (так называли тогда Екатерининский канал), Мещанские улицы, Сенная площадь и прилегающие к ним переулки, дворы и толкучие рынки.

В сентябре 1861 года, после возвращения с каторги, Достоевский поселится на Малой Мещанской улице, где, переезжая с квартиры на квартиру, проживёт без малого шесть лет. Этот район знаком ему с 1846 года, когда он снимал квартиру в Большой Мещанской, в доме Кохендорфа, в двух шагах от дома, где в начале 1829 года обитал тогда никому не известный Гоголь.

Он писал здесь «Вечера на хуторе близ Диканьки», но в воображении его уже рисовались типы обитателей петербургских чердаков. Он и поселит их здесь, в петле Мещанских улиц, из которой им уже, кажется, не вырваться, как бы высоко ни взлетала их мечта.

Впрочем, мечта мечте рознь.

Здесь, в «плохоньком трактиришке» студент Раскольников, жаждущий сравняться с Наполеоном, подслушает разговор, который озвучит его тайные помыслы:

«С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, зачем живет, и которая завтра сама же собой умрет... С другой стороны, молодые свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь!.. Убей её и возьми её деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить себя на служение всему человечеству...»

Идея Раскольникова о том, что через убийство можно прийти к счастливому будущему, — это уже *новый вид мечтательности*, даже в безумии никогда не посещавшей героев Гоголя, кстати, таких же бедняков, как и Раскольников. Но их разделяет эпоха. Эпоху романтизма сменяет

эпоха терроризма, когда «романтическая» идея окрашивается кровью.

Известно, как был потрясен Достоевский событием, происшедшим 4 апреля 1866 года. Студент Каракозов стрелял в царя. Когда его схватили, при нем было обнаружено: 1) фунт пороха и пять пуль; 2) стеклянный пузырек с синильной кислотой, порошок в два грана стрихнина и восемь порошков морфия. С помощью этих ядов он должен был или обезобразить себе лицо, чтоб остаться неузнанным, или покончить с собой. По существу, это был первый русский террорист-камикадзе.

Студент-террорист исходил из той же посылки, что и Раскольников. Примечательно, что роман «Преступление и наказание» начал печататься в «Русском вестнике» за три месяца до выстрела Каракозова. Трагические сюжеты литературы вышли за пределы печатного листа и сделались трагической реальностью.

Романтики Гоголя могли мечтать о том, чтобы приобрести новую шинель, сорвать куш в картах, жениться на красавице, они могли грезить даже о королевской мантии, но им и в страшном сне не могли присниться такие сюжеты.

Есть среди них плуты, пройдохи, отчаянные лгуны, даже сумасшедшие, но убийц, раскраивавших черепа старушкам, у Гоголя нет.

Каракозов и Раскольников дети уже другого века — века Достоевского, в котором «гордость ума» смыкается с уголовщиной. Тут не обида Акакия Акакиевича и не детские фантазии Поприщина или Чичикова, тут *«страшная месть» «маленького человека»*.

Только колдун в гоголевской «Страшной мести» способен был зарезать внука, дочь и святого схимника, но он — герой сказки, оборотень, вампир.

У Достоевского это человек улицы, подвала, человек толпы. Эпоха Достоевского — это эпоха кризиса *поэтического* романтизма и перехода его в *материалистический* (или революционный) романтизм.

Зачем наведывается в Столярный переулок гоголевский титулярный советник? Чтоб выкрасть переписку собачек и узнать из неё что-то из жизни обожаемой генеральской

дочки. Никакого разврата воображения, никакой *мысли о топоре*. Только жалкий вопль: почему я не камер-юнкер и не генерал?! Почему я титулярный советник?!

Герой Гоголя и сам бы хотел стать генералом, герой Достоевского желает — ни больше ни меньше — встать над Богом. «Свету ли провалиться, — вопрошает он, — или мне вот чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить».

Существуют миф, легенда, апокриф, приписывающие Достоевскому слова: «Все мы вышли из гоголевской "Шинели"». Он этого не говорил. Он, конечно, вышел из гоголевской «Шинели», но не только и не столько из неё, сколько *из всего* Гоголя, в том числе и из осмеянных им «Выбранных мест». Будущие подпольные теоретики Достоевского угаданы именно в этой книге.

Вот характеристика, данная Гоголем главной болезни, которой больны нигилисты Достоевского:

«Всё вынесет человек века... Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня... Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой... И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всём он усомнится: в сердце человека... в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своём уме... <...> ...нет, не чувственные страсти, но *страсти ума* уже начались... Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, *злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир — дорогой ума*» (курсив мой. — *И. З.*).

Кто истинные герои Достоевского, как не страсти ума, или идеи, обретшие человеческий облик?

Гоголь страшится спуститься на самое дно «душевной черноты». Достоевский это делает. Он сходит со своим фонарем на самое её дно. Его анализ пробивает слои темноты, составляющие фантастический мир подполья. То, с чего начинает Гоголь, Достоевский превращает в науку высвечивания тайн сердца.

Отрываясь от Гоголя, уходя дальше, он не расстается с учителем ни на минуту: его письма, страницы его книг

полны цитатами из «Ревизора» и «Мёртвых душ». Он, наконец, играет в любительских спектаклях по пьесам Гоголя, изображая то почтмейстера Шпекина, то несостоявшегося жениха Подколесина.

Почему он выбирает эти роли?

Потому что они оглушительно смешны, потому что «чистый смех» Гоголя, как выражался Достоевский, здесь представлен в совершенстве. Позже он писал:

«Явилась смеющаяся маска Гоголя, со страшным могуществом смеха — с могуществом, не выражавшимся так сильно ещё никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создавалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает пред нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым он бы не мог смеяться».

Достоевский относил писания Гоголя к *сатире*. Позволим себе не согласиться с ним. Не соглашался с такой трактовкой и сам Гоголь. «Я думал, как дитя, я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь, — признавался он в «Авторской исповеди» (1848). — Я не знал ещё тогда, что моё имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья».

То не провокаторский смех Лебедева из «Идиота» или подстрекающее «хи-хи-хи» Порфирия Петровича, заставившее Раскольникова признаться в убийстве. Смех Гоголя — смех старой эпохи, когда ирония безверия ещё не восторжествовала в России.

Достоевский не дожил до 1 марта 1881 года. В этот день на «канаве», где прогуливался когда-то сентиментальный герой «Белых ночей», была убита не какая-то старушка, а царь Александр II. Романтики-декабристы не решились посягнуть на жизнь венценосца, романтики-материалисты не дрогнули.

Вздрогнула и разорвалась на части, как бомба Гриневицкого, юношеская мечта Достоевского, которую он сам попрал, заплатив за неё каторгой.

Почему-то никто в 2001 году не вспомнил об этой да-

те. Никто не упомянул, что сто двадцать лет назад сбылись худшие пророчества двух гениев. И никто не сказал, что оставшийся целым после взрыва первой бомбы царь не бежал с места события, а вышел из кареты, чтоб помочь раненым, где и был настигнут второй бомбой.

Он, может быть, был последний поэтический романтик на троне, этот царь. С его смертью в России настали кровавые времена. Последовала череда политических убийств на идейной почве, которые приняли масштаб тотального уничтожения народа.

Сравним два памятника — Гоголю и Достоевскому в Москве. Если на лице Гоголя безраздельная печаль, то в фигуре Достоевского — судорога, почти эпилептический приступ. И не одни собственные грехи или собственная вина (а они их чувствовали) исказили их черты, а грехи всех нас.

Сколько было досады у ученика на учителя, сколько язвящих реплик он отпустил по его адресу, говоря, что тот надел «золотой фрак» и «не вынес своего величия», но с годами всё скрепилось нерасторжимой связью.

Отзываясь о повести Тургенева «Призраки», Достоевский писал: «Есть тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время. *Это струна звенит в тумане*. И хорошо делает, что звенит» (курсив мой. — *И. З.*).

Откуда взята эта «струна»? Она звенит в финале «Записок сумасшедшего». Она звенит, как ответ неба на призыв «испанского короля» спасти его. Это музыка любви, чей звук всегда сопутствовал смеху Гоголя.

21 февраля 1852 года в 8 часов утра Гоголь умирает. Его хоронят на кладбище Свято-Данилова монастыря. Достоевский в эти дни в омском остроге.

Так и не встретились они никогда. Так и разошлись, прожив на земле бок о бок тридцать лет и не увидев друг друга в лицо.

Но зато как мощно прогремели их сливающиеся голоса! Их трагические сюжеты выстроились как трагический сюжет России, блуждающей по путям греха.

Пусть она всё ещё не сошла с этих путей. Но струна в тумане звенит и для неё.

2001

ГОГОЛИАНА МАРКА ШАГАЛА

Надо признать, что среди иллюстраторов поэмы Гоголя ещё не нашлось художника, который постиг бы сокровенную идею «Мёртвых душ». Многие подходили к ней, искали близко и около, но смущённые тем, что имеют дело с сатирой, сбивались на карикатуру. В поэме вычитывали одно *отрицание*, а в героях её видели уродов или приговорённых к издёвке тупиц.

Пожалуй, лишь А. Агин, издавший при жизни Гоголя «Сто рисунков к "Мёртвым душам"», сумел очеловечить мир поэмы, представив его не как зловещий вымысел, а как обычную жизнь.

Но «Мёртвые души» — *поэма*, а поэзия в рисунках Агина отсутствовала.

И вот — редкое совпадение. В начале XX века за иллюстрирование поэмы взялся Марк Шагал. Девяносто шесть офортов к «Мёртвым душам» — графическая поэма в поэме, совпадение слова и изображения, которое редко случается в практике иллюстрирования. В отличие от многих своих предшественников, воспроизведших лишь фрагменты поэмы, Шагал не упускает ни одного события, которые совершаются на её страницах. Это почти полный охват текста и, что ещё важнее, охват общей картины России, содержащейся в первоисточнике. Тут поэт сошёлся с поэтом, а там, где сходятся поэты, созвучие неминуемо.

Поэма Гоголя, как и сопутствующие ей рисунки Шага-

ла, есть прежде всего портрет русской провинции. Ведь именно по ней пролегают маршруты Чичикова. Да и город N, стягивающий к себе дороги и деревеньки, помещичьи усадьбы и малолюдное пространство, хоть и находится невдалеке от обеих столиц, тем не менее образец классического захолустья. С какого реального города мог писать его Гоголь? Разве что с Полтавы или Нежина. Там он жил, учился, там пролетела его юность. А для Шагала это Витебск, его родина и постоянный персонаж его живописи. С одной стороны, N — вымышленный город, плод воображения Гоголя и Шагала, с другой — историческая натура. В конце концов эта натура претворилась в *образ мира*, который есть конечная цель как творца «Мёртвых душ», так и их иллюстратора.

У Гоголя — Волга, у Шагала — Западная Двина, витебские сапожники, витебский дом губернатора, витебские деревянные тротуары, питейные заведения, бильярдные и шлагбаумы. А за ними, сразу за заставой, открывается безмерная русская даль.

В этой дали можно развернуться и можно пропасть, как пропадают в «Мёртвых душах» сорвавшийся с колокольни Пробка Степан и попавший по пьяному делу под колёса Пётр Савельев Неуважай-Корыто.

У Шагала они не мертвецы, а крепкие мастеровые, к тому же вовсе не собирающиеся на тот свет. Они, как и в поэме, может быть, цвет русского народа. Их силе и красоте можно только позавидовать. Если в других рисунках Шагал по преимуществу деформирует тела и лица, то здесь он желает соответствовать оригиналу. Глядя на этих молодцов, кажется, что они и по сию пору ходят по русской земле, мастерят кареты и ставят по деревням храмы. Пробка Степан на офорте, посвящённом ему, великан, а его смерть комически перенесена на дальний план: там кто-то (скорее муляж) пикирует с колокольни к земле. Это детская игрушка, а не живой человек.

Жив-здоров и незадачливый его собрат по судьбе Неуважай-Корыто. И пусть по нему проезжает воз с сеном, он, раскинув свои могучие руки во всю ширину дороги, лукаво прищуривается: это не вечный сон, а лукавство

притворившегося артиста: дескать, вы меня хоть и отпели, но я жив!

Да и кудри «покойника» густо вьются, усы и брови черным-черны — да его под венец надо вести, а не класть в гроб. К тому же возле дороги стоит кабак, дверь в нём не прикрыта: заходи, пей, смерть не страшна!

Именно так оживляет этих мужиков в своих мыслях о них Чичиков. Он скупает «мёртвые души»? Нет, он скупает тех, кто живее живых.

Шагал неуклонно следует параллельно не только материалу, но и замыслу поэмы. Чувствуя свою близость к её творцу, он один из офортов посвящает сопоставлению творца и со-творца, то есть себя, и офорт этот так и называется «Гоголь и Шагал». Близость здесь не исключает различия. Недаром поэты сидят друг к другу спиной. Гоголь трёт рукою лоб и с искажённой улыбкой смотрит на лист бумаги, на котором слабо выведено слово «мёртвые». Ему что-то не даётся, он недоволен собой и мучается. Шагал, будучи очень похож на него внешне (тот же нос, те же длинные, правда, завивающиеся, волосы), улыбается. В руках его палитра, он не испытывает мук, а его улыбка оттеняет гоголевскую напряжённость, и всё в этом рисунке говорит о том, что Гоголь в конце пути, тогда как молодой единомышленник и оппонент лишь начинает.

Поэтому, наверное, он беспечен, легок и чуть ли не весел. Весело писать, весело иллюстрировать Гоголя, весело жить. Это последнее обстоятельство весьма важно, так как Шагалу в то время, когда он иллюстрировал «Мёртвые души», было едва за тридцать. Гоголю, писавшему «Мёртвые души», было столько же, но тут он уже близок к уничтожению второго тома «Мёртвых душ».

Шагал любит Гоголя молодого, чей смех ещё простодушен, светел и не несёт педагогической функции. Гоголь, поздний, кающийся и клеймящий себя, строго взыскивающий с читателя и предлагающий ему меры исправления, далёк от жизнерадостного Шагала. Поэтому в его параллельной художественной поэме нет ни одной иллюстрации, посвящённой лирико-философским пассажам

«Мёртвых душ». Он предпочитает конкретность: типажи, картины, событие, пейзаж.

Всякие отвлечённости вроде рассуждений о природе страстей, о старости, о «кривых дорогах», по которым плутает человечество, о «болотных огнях», освещающих эти дороги, остаются за чертой его графической серии. Он даже отказывается от изображения вдохновенного финала поэмы, где скромные лошади Чичикова превращаются в медных коней, разрывающих грудью воздух и впряжённых не в бричку плута, а несущих по небу саму Русь.

Ему гораздо ближе чубарый, гнедой и каурый, которого Селифан окрестил Заседателем. Метаморфоза с экипажем Чичикова, происшедшая в последних абзацах первого тома поэмы, позволяет Гоголю перевести комическую стихию повествования в патетический регистр. Шагал, у которого летают по небу предметы и люди, пребывает во власти комического.

Вернёмся к офорту «Гоголь и Шагал». Над обоими парят в воздухе птицы, облака, трехглавая церковь, тройка лошадей, какие-то безымянные фигуры и мужик с коромыслом через плечо. А ещё выше распростёр крылья и готов спуститься к поэтам не то ангел, не то дама. Похоже, что русский мир пожаловал к ним в гости. Тут и женщина, тут и Бог, тут отчаяние (отчего спускающийся на крыльях персонаж кричит, широко открыв рот?) и удача (полные вёдра на коромысле). Так падает Русь (шифр образа ангела-человека) или получает благословение свыше?

Шифр поэзии — тайна даже для самого поэта, что же говорить о тех, кто пытается его дешифровать? Гоголь и сегодня загадочен, как загадочен и Марк Шагал.

В потаённости их поэтических ходов отчасти и отгадка их близости. Оба видят Россию вблизи (плотно разработанная конкретность) и с высоты свободного полёта. И в поэме, и в офортах Шагала земное беспрепятственно мешается с небесным, обыкновенное с необыкновенным. На столе в доме Собакевича на блюдах лежат целиком зажаренные телята, утки и поросёнок. Примечательно, что гостей пока нет, но всё это *мясо* им придется съесть, как

осушить и графины с вином. Тарелки огромные, ножи и вилки смотрятся как орудия битвы, это алтарь обжорства, а не стол.

Собакевич на другой иллюстрации пожирает этих телят, прикрыв один глаз, как сытый кот. Кстати, о котах. Эти персонажи — верные обитатели всякого дома, они даже символизируют его некую устойчивость, а также уют. Кот сидит под кроватью, когда хозяин почивает, гуляет по гостиной, всегда лукаво поглядывая на человека. Он аккумулирует некую иронию своих четвероногих собратьев по адресу героев Гоголя. Они в его глазах суетливы, смешны и не находят времени для занятия философией, которой предается большую часть суток кот.

Шагал улыбается, и улыбка его мягка, добросердечна и жалостлива. Он внутренне настроен на одно важное признание Гоголя, сделанное им относительно своего таланта. В «Театральном разъезде», в «Авторской исповеди» он, вопреки всеобщим толкам о жестокости его смеха, говорит о себе: «Я комик». Он комик, а не сатирик, не обличитель, не суровый надсмотрщик над человеком.

Шагала и Гоголя роднит великий дар, который дал им Бог, — юмор. Оба они комики и уж никак не ненавистники русской жизни. Если в юморе Гоголя и появляются саркастические ноты, то их тут же смягчает таящаяся за ними боль. Шагал ещё не отягощён этой болью, он с весёлостью пишет о веселящем. Его улыбка игрива, артистична и далека от сарказма. «Сарказм» по-гречески означает «рву мясо», а это прерогатива репрессивного смеха.

Юмор рождается от сочувствия, он не судья человеку, сатира же настаивает на суде и вынесении приговора.

Упреждая своих иллюстраторов, Гоголь создал собственный графический образ «Мёртвых душ». На нарисованной им обложке жизнь изображена как трагический спуск в преисподнюю. Вверху лестницы скачут тройки, стоят строем бутылки и рюмки, расположился (прямо, как у Шагала) на блюде окорок, кто-то тянет руку с тостом, но по мере того, как глаз спускается всё ниже и ниже, меркнет свет и стихает трель сердечного звонка. И на дне, в подземелье хаотически кружатся пустые черепа.

Шагал игнорирует это движение поэмы Гоголя к смерти. Он поэт жизни и пишет жизнь, её полноту, её радости и её кураж. Он берет с обложки, нарисованной автором, лишь верхнюю её часть. А там его, шагаловский мир: угол дома в губернском городе, колодезный журавель, висящий в воздухе сапог (вывеска мастера по починке обуви), церковь, похожая на каланчу, рыба, поданная к столу, бутылки и рюмки, одним словом, то, что веселит сердце и совсем не обращает взор в сторону смерти.

Уже в начальном офорте, где изображён въезд Чичикова в город N, умиротворяющая картина русского захолустья навевает сладкую дрёму. Тройка наполовину скрылась во дворе гостиницы, на воротах сидят, соединившись клювами, петух и курица (они крупнее Чичикова и Селифана вместе взятых), под воротами качается фонарь, а в проём двери под вывеской «Сбитень» смотрит чьё-то лицо. Вдали по склону горы тихо катит телега, сползают вниз дома и церковь, а в небе несут вахту птицы.

Эти птицы — любимые персонажи Шагала. Куда бы он ни обратил взгляд, какую бы сцену из поэмы Гоголя ни иллюстрировал, птицы обязательно здесь. Они далеко в небе и похожи на точки, и они, укрупнясь, летят к земле. Они в доме, на шапке у мужика, рассуждающего о достоинстве чичиковского колеса, в клетке в доме Собакевича, в комнатах и на скотном дворе. Армия птиц, полчища птиц, то распадающиеся на отдельные «галочки», то вновь собирающиеся в стаю.

Птицы эти — примета русского простора, русских неизмеримых пространств, которые без птиц сделались бы необитаемыми, не получили бы выхода, как любил говорить Гоголь, «во все стороны света».

И Шагал запускает их на страницы поэмы, когда ему кажется, что события её буксуют на пятачке комнаты, трактира или двора. Оттого стены в домах помещиков, которые посещает Чичиков, прозрачны, и в них, как сквозь стекло, можно увидеть и лес, и луг, на котором пасётся стадо, и реку, и дальние купола с крестами, и птиц в небе. Волею воображения он выносит действие поэмы в бесконечность, и то, что зритель видит на переднем плане, уменьшается в своём значении.

Это искусство сдвоенного изображения — коронный номер Шагала. И это печать русского художественного сознания.

Поэма Гоголя начинается с мирных картин. Так же выглядит её начало и в первой же иллюстрации Шагала. Сам въезд Чичикова в город N навевает мысль о неторопливом движении его брички, к которому привыкли и лошади, и кучер Селифан. Селифан может даже заснуть с вожжами в руках, получить от барина тумака, но расторопнее от этого не сделается.

Недаром в «Мёртвых душах» так много спят — спит Чичиков, спят Петрушка и Селифан, а пуховые перины Коробочки говорят и о её пристрастии ко сну. Так же и у Шагала: спит будочник, охраняющий покой города, спит Чичиков на столе в департаменте, спит Собакевич, «уделавший» за обедом осетра, спит и пейзаж, не возмущённый никаким катаклизмом.

Глядя, как бричка Чичикова въезжает и останавливается в воротах гостиницы, хочется въехать вслед за ним, переодеться, смыть дорожную пыль, пользуясь душистым голландским мылом, освежиться и, спустившись в трактир, вкусно там отобедать (сосиски с капустой, жареная пулярка, мозги с горошком, слоёный пирожок). Скушав всё это, можно переместиться в постель и отправиться в гости к морфею.

Чичиков, правда, после обеда отправился знакомиться с городом, но Шагал это обстоятельство опустил, перейдя сразу к его знакомствам с помещиками. Но даже эти первые визиты не намекают, что в поэме случится нечто неординарное. Целуются, обнимаются, раскуривают трубки и, конечно, идут к столу. И иллюстрации этих сцен не обещают ничего из того, что потом взорвёт повествование и поставит всю губернию на попа.

Поэзия Шагала — поэзия стабильности и мирной жизни, но если на эту жизнь налетает смута, он тут же подстраховывается тем, что отодвигает её в уже знакомую нам перспективу, которая, оставаясь мирной, смягчает удары судьбы.

Как немыслим Шагал без птиц, так немыслим он и без

речки, ёлок, крыш крестьянских изб, какого-нибудь мужичка, тихо ползущего со своей лошадкой по равнине, рыбака на берегу речки или родного витебского сапожника, мастерскую которого он изображает с любовным вниманием.

Что бы ни происходило на первом плане — неразбериха, драка, убийство «земской полиции», чаепитие в доме Коробочки, всё микшируется взглядом издалека, с высоты знания о том, что и это пройдёт.

Такова философия этого иллюстратора Гоголя, который, повторяю, писал свои офорты к поэме будучи молодым, и Бог знает, какими бы они были, если б их выполнил поздний Шагал. Вполне возможно, что он подошёл бы к зерну гоголевской религиозной мысли, мысли о падении и воскрешении человека.

Эта мысль очевидна и в первом томе поэмы (к которому Шагал и писал свои офорты), но ещё сильней она ощущается во втором томе, в оставшихся от него главах. Но Шагал не трогает этих глав. Он заканчивает свою серию бегством Чичикова из города N, и только один офорт, пожалуй, иллюстрирует сцену из второго тома — приезд нового начальника в губернию и смятение чиновников по этому поводу.

Зато гоголевское ви́дение России XIX века родственно его ви́дению. Это и Россия спящая и Россия (наверное, не обнаруженного ещё) огромного потенциала. Потенциал этот не только в её географическом превосходстве над другими странами (превосходстве в территории), а в глубине её сердца, пока ещё стучащего мерно и мирно.

Визитной карточкой Гоголианы Шагала (а мы можем смело именовать так его девяносто шесть офортов) может служить написанный им скотный двор Коробочки. Вот где мир и мирное сосуществование! Во дворе роют землю свиньи, толкутся козы, гуси, собаки, овцы. Он взят в кольцо невысокой ограды, а из-за неё, привычно притягивая взгляд, выглядывают кресты церквей, валятся за горизонт дома и стаи птиц штурмуют поднебесье.

Шагал, как и Гоголь, не чтит законов правдоподобия. Отсюда метаморфозы и как будто нелепости: через ком-

нату течет река, по комнате вместе с котом разгуливает корова, а в реке растут ёлки.

Но именно эти нелепости и законны. Так видит действительность его глаз, так он, наконец, формирует её. Её подспудные искажения, перекосы и нарушения житейского цикла отзываются в этом перекосе форм, странных соединениях несоединимого, в прямом вызове «реализму».

Но этот вызов не отменяет сходства страны Шагала с Россией. Русские колодцы, русские ёлки, русские цветочки на рубахах мужиков, на подзорах кроватей, на женских юбках. Русская дорога, тянущаяся, по словам Гоголя, «невесть куда» и невесть откуда, русская река, как змея, обвивающая глобус, русская теснота и русская воля. Графическая поэма Шагала — портрет русской глуши, её бестолковости, беспредельности и скрытой тоски.

Глушь странна, несуразна и напрашивается на иронию, но иронию гасит животворный юмор.

Его орошающий смех кропит всё: и сцену, где одёжная щётка вырывается из рук Петрушки и начинает летать по воздуху, и там, где художник рисует портрет Селифана (рукавицы за поясом, торс Ильи Муромца, зачернённая бородой физиономия Пугачёва), и тот кусочек картона, где из-за спины Селифана выглядывает морда лошади (лошади Шагала вообще чудо — это не русские ломовики, а нежные джейраны, с удлиненными, как у газели, глазами и детским удивлением в глазах), и портрет деревенской девки, прикрывающей мощными кистями рук свои не менее мощные груди.

Девки, ёлки, птицы, военные и штатские, Чичиков и Манилов, Коробочка и Ноздрёв, мужики Манилова, мужики Плюшкина, мужик, тащащий на себе бревно, мужики, пытающиеся разнять тройки Чичикова и губернаторской дочки, — всё это у Шагала *одна* жизнь, пребывание в *одном* измерении времени и на *одной* странице истории.

Это время нельзя поменять, нельзя отнести ни в прошлое, ни в будущее, ибо и прошлое и будущее (XX век) уже соединились в нём. В нелепых, как кажется, персонажах поэмы проглядывают лица нашего времени, проглядываем мы, которые, может быть, показались бы Гоголю,

а теперь и Шагалу, более нелепыми, чем Коробочка или Манилов. По части греховности мы давно обошли их, наивность их давно презрели, а авантюры Чичикова смотрятся в XXI веке как детская сказка.

Вот почему Шагал предусмотрительно осовременил героев «Мёртвых душ». Он одел их в костюмы начала XX века, даже физиономически приблизил их к нам, хотя и смешал их наряд с отошедшею модою века Гоголя. Приключения Чичикова под его пером (впрочем, все иллюстрации гравированы сухою иглой) выглядят и мистической пьеской, и бытовой комедией, они забавны, отчасти серьёзны и в немалой мере печальны, ибо их счастливый исход отнюдь не победа добра над злом.

Манера Шагала близка эстетике лубка или, если вспоминать театр, райка. Те равно избыточны, сказочность переходит от чередования веселых сцен, как правило, частных и кратких, к избыточности эпоса. Это эпопея веселья, которое против своей воли устремляется к печали. Офорты Шагала, где действующие лица поэмы сливаются с массой народа, напоминают брейгелевский карнавал. Это и драма, и комическая мистерия, сыгранные как одна пьеса.

И всё-таки юмор берёт надо всем верх. Смешно смотреть на Манилова с голым черепом и серьгой в ухе (турок, чистый турок!), который на другом рисунке похож не на турка, а на Петрушку. За дверью, возле которой Манилов препирается с Чичиковым, видна гостиная. В ней по соседству с люстрой, висящей на тяжёлой цепи, растут деревья, прогуливается уменьшенная до размеров собаки корова, стул витает в воздухе, а со стены взирают на них царь и царица.

Таков макрокосмос Шагала — от петуха и собаки до царя и царицы.

Смешон и Ноздрёв. В собственном доме он не в халате, а во фраке и клетчатых панталонах, с подвитыми, как у петербургского щеголя, усами. Это витебский фраер, а не владелец земли, крестьян и скопища породистых гончих.

Из-под руки Ноздрёва выглядывает окно, в него видна тройка, на столе высится цилиндр. Чичиков путешествует

у Шагала, не как у Гоголя, в картузе, а в цилиндре — он одет, как джентльмен, хотя формы его совсем не джентльменские. Зато это цилиндр, фрак и перчатки. Это наряд для приёма у губернатора, для праздника, для торжества по случаю свершившейся сделки.

А вокруг Павла Ивановича и в самом деле разыгрывается праздник: его любят, чуть ли не носят на руках, дамы шлют ему записки и пламенные взгляды, даже оркестр на балу, кажется, гремит в его честь. Объятия с Маниловым, с губернатором, председателем казённой палаты, комплименты, восторг общества ему обеспечены.

Это то, что Хлестаков называл «жизнь течёт в эмпиреях, музыка играет, штандарт скачет». Правда, Чичиков на разных иллюстрациях разный, то ли это смена гардероба, которым пользуется, играя несколько ролей, артист. Тут цирк, маскарад, клоунада. И — лихорадочная смена личин, устроенная затем, чтоб не опознали, не успели понять, кто же он. А стало быть, потому не смогли бы и схватить за руку.

Шагал не заботится о сходстве героев с самими собой: в одном месте Чичиков с бакенбардами, в другом без них, Манилов из «турка» превращается в заросшего волосами молодца, Чичиков то похож на добропорядочного господина, правда, с несколько горбатым носом, то на чёрта. Впрочем, и эта маска взята из поэмы Гоголя: в ней тихого Павла Ивановича принимают то за Наполеона, то за капитана Копейкина, то за антихриста.

Тройка у Шагала то тройка, то и вовсе одна лошадь. Жена Собакевича Феодулия Ивановна на одном рисунке воплощённая антиженственность — тоща, длинна, в волосах страусовые перья, пальцы скрючены, на другом — жантильная дама с нежным изгибом талии, ведущая гостя к столу.

В одном месте Чичикову приклеиваются усы, и он делается копией Копейкина, в другом он гладко выбрит. Кем он хочет представиться, тем и выглядит: то потерпевший на службе, то херсонский помещик, то Бог знает кто. В искусстве хамелеонства ему нет равных.

Вот Чичиков на таможне: взяточник, но галантный

взяточник. Вот его поднимает за ухо над полом рассерженный отец: этот Чичиков — несчастное дитя. Вот Чичиков, согнув ножки, спит на столе в департаменте: бедный и, по-видимому, бездомный коллежский регистратор. Но на балу у губернатора он совсем другое лицо. Голова его раздулась, как шар, нос высоко поднят. Это не Чичиков, а — инкогнито, приехавший ревизовать губернию. По всей видимости, тайный советник и кавалер, а может, и император французов, сбежавший с острова Святой Елены.

Кстати, о Наполеоне. Он является на рисунке Шагала в паре с капитаном Копейкиным, и трудно сказать, кто из них здесь представительнее — великий преобразователь Европы или инвалид 1812 года, у которого вместо ноги деревяшка. Чичиков — Наполеон, конечно, утка, вылетевшая из зарослей страха, и плод помешательства чиновников.

Но Наполеон не может быть смешон, а Чичиков смешон. Разве Наполеон станет таскаться по помещикам и скупать «мёртвых»? Разве станет он волочиться за губернаторской дочкой? И если Чичиков нелеп в шкуре императора французов, то тем более нелеп Бонапарт, которого Шагал поставил на одну доску с главарем шайки разбойников.

На офорте «Наполеон и Копейкин» они стоят рядом, и похоже, что у Наполеона тоже что-то с ногой: он тоже страдательное лицо, как и его партнёр. Между тем они действительно связаны одной нитью, не только потому, что воевали друг против друга, но и потому, как сказал исторический Наполеон, что «от великого до смешного один шаг».

А у Шагала даже Кувшинное Рыло, которого обычно изображают как экстракт уродства, симпатичный усатый господин, с коком, лысиной и с закрытым глазом, делающим его похожим на укравшего сало кота.

Известно, кот в нашем фольклоре жулик, и жмурится он неспроста.

Если на пленэре Шагал даёт волю простору, то город он заключает в некое сферическое пространство, и тут коловращенье запаянных в него людей и предметов делает-

ся беспорядочным и лишённым логики. Один чиновник превращается в полчиновника, эта половина вырастает, как дерево, из стола, другому художник отсекает туловище и оставляет одну голову — необыкновенные происшествия, случившиеся в последних главах «Мёртвых душ», тут отражаются как в кривом зеркале.

Поэма Гоголя — коктейль из смешного и печального, трагикомедия, осенённая всё же божественным замыслом. Комизм возникает из этого противоречия, из невозможности сопоставить деяния Чичикова и всех остальных с десятью заповедями. Притом смешное всегда перед глазами, печальное и высокое — чаще за занавесом. Оно в глубине греха, который человек хочет подальше спрятать от глаз людских.

И как его вынуть и показать? Шагал делает это с помощью шутки, графического каламбура, который далёк от какой-либо издёвки. В природе его таланта просто нет места этому чувству. Его поэтический дар подсказывает ему, что «Мёртвые души» не судилище, а комедия, в которой играет человек, а ставит пьесу Бог. И, может быть, в соавторы Ему набивается дьявол.

Не столько дьявол, сколько бес, существо, гораздо менее страшное и, скорей, комическое, вроде чёрта, на котором кузнец Вакула совершил своё путушествие в Петербург. Такого беса можно засунуть в карман, высечь, подставить и обыграть. Присутствие его набрасывает на рисунки Шагала флёр веселия и не грозит адом.

И хотя высшие силы никак не представлены в его Гоголиане, их присутствие предполагается. Хотя, естественно, не они поднимают в воздух блюдце Чичикова и не они заставляют барражировать в воздухе панталоны Павла Ивановича. Да и маляры, белящие стены в доме Ноздрёва, не по их воле отрываются от своих «козлов».

Это гений Шагала играет с ними, как мог бы сыграть подданный Всевышнего, поручившего тому поднять дух в нас.

И разве не того же желает автор «Мёртвых душ»? На обложке он слишком суров с читателем, но его поэма устремляется к Богу, а не в темноту могилы.

Плюшкин гоняется по двору за убегающим башмаком, на голове его — колпак монаха или колдуна (одно очко у него чёрное, другое прозрачное), за ним горбатится мост, на мосту крестьянин глядит вниз, чьи-то ноги торчат над перилами, клонятся к земле готовые упасть избы, с ними заваливается и церковь, под мостом лодка с вёслами, на берегу коровы, птицы в небе — не тлением веет от этой картины, а жизнью, пусть и покосившейся, искалеченной, но не мёртвой.

Жизнь течёт, как река, как Волга, которая изображена на офорте «Бурлаки» и вокруг которой и вдоль неё тянет лямку, обмывает получку, целуется, пляшет, не зная удержу ни в труде, ни в веселье, Россия — всё с теми же церковками по берегам и, заметьте, без единого кладбища.

Шагал отказался от изображения знаменитой плюшкинской «кучи», этого могильника вещей. Он разбросал собранное Плюшкиным барахло по комнате, поместив его на столе, на полу, на верху шкапа, на конторке.

Над его домом, похожим со двора на сарай, возвышается запущенный сад. Гоголь придал ему некоторые черты величия, величия смерти, если хотите. Потому что деревья, стареющие, как и Плюшкин, напоминают колонны римского форума, которые, несмотря на то, что их время ушло в вечность, величаво возвышаются над остальными строениями города Рема и Ромула. Они мертвы, но они и прекрасны.

Если искать в иллюстрациях Шагала преисподнюю, то «Сад Плюшкина» — её преддверие. Это джунгли, которые нельзя ни расчистить, ни пройти. Высохшие от старости деревья достают до неба, давят на стоящий под ними дом Плюшкина, и тот прогибается под их тяжестью. В этом саду можно заблудиться и пропасть.

Впрочем, и покои Плюшкина так же безжизненны. Это склад бесполезного тряпья, остатков когда-то нужных предметов и камера-одиночка, в которой отбывает свой добровольный срок его хозяин. И сторож его богатства вполне в духе жизни, проходящей в темноте, — мышь или крыса, живущие, как известно, в подземелье.

Ни одного окна, лампа в абажуре похожа на кокон, на

столе лежат настенные часы, стрелки которых остановились (привет Марку Шагалу от Сальвадора Дали), и только одна подробность говорит о том, что здесь когда-то слышался, быть может, детский смех. Это стульчик с отверстием для горшка — напоминание о детях Плюшкина или о собственном его детстве.

В вещной, материальной галактике Плюшкина тесно, а кто её создал? Как бы объясняя, кто создатель, Шагал в сцене, где Плюшкин ругает стряпуху Мавру, одевает его в костюм факира. Здесь он не «прореха на человечестве», а крепко сбитый брюнет с чёрной бородой и усами, в халате с цветочками, наброшенном на гражданское платье. На голове у него конусообразный колпак, какой надевают, когда идут выступать, фокусники.

Что это? Возвращение в молодость? Пробуждение влечения к женщине, которую представляет полнотелая, хотя и грубо скроенная Марфа? Шагал с удовольствием играет с женской плотью, рисуя её призывную мощь, даже если это не ядрёная баба, а девчонка Пелагея, не знающая, где право, где лево. Там, где она влезает на козлы к Селифану, её икры, пятка и руки отдают соблазняющей сочностью.

Тут избыток телесного, материального и, увы, преходящего. Хотя здоровье так и прёт из Пробки Степана, мужика с бревном, бурлаков и Петра Савельева Неуважай-Корыто. Рядом с дорогой, где он задавлен, стоит кабак, дверь кабака настежь: входи, пей, смерть не страшна!

Смерть не страшна, когда рядом с тобой бутылка (она валяется на дороге рядом с задавленным Петром Савельевым), но и страшна, конечно. И она в поэме Гоголя не второстепенное лицо. В первый раз смерть заявляет о себе в главе о Плюшкине (старость, увядание, гибель чувств), затем начинает косить мужиков Вшивой Спеси, купцов на ярмарке, земскую полицию, позарившуюся на чужих жён (на офорте Шагала одна из них изображена в голом виде, как и земский чиновник Дробяжкин), и, наконец, встаёт в полный рост в финале, сражая ни в чём не повинного прокурора.

Похороны прокурора, с которыми сталкивается выезжающий из города N Чичиков (а по существу, бегущий

навстречу смерти), для Шагала рядовое событие. Толпа чиновников без скорби на лицах движется на его офорте за гробом, зеваки на площади зевают, на погребальные дроги смотрят дома, люди на тротуарах, дворники, гармонист, даже не сложивший меха своей гармони.

Селифан на козлах и Петрушка на колесе (!) скалятся, а их хозяин показывает рукой (видна одна его рука): вперёд, вперёд! И никто не смотрит в сторону безутешной вдовы, чьё личико в чепце виднеется в окошке кареты, замыкающей процессию. Вдобавок какая-то личность разлеглась на крыше одного из домов и, видимо, отсыпается после попойки.

Смерть в мире Шагала прозаична и не способна изменить ничего в его интонации, ибо комический элемент следует у него за отправившимся в «последний путь» прокурором.

И только одна иллюстрация составляет диссонанс присутствию юмора. Это офорт «Смерть прокурора». Прокурор, ни разу не появлявшийся в предыдущих рисунках, распростёрся на полу, будто сражённый молнией. Он вытянулся во весь рост, сложив руки по швам, как покорный солдат, получивший выговор от генерала. Валяющийся рядом стул свидетельствует о внезапности смерти. Покойник *весь чёрный* — от бровей до сапог: разрыв сердца, лопнувшая струна, грядущая тьма.

Смерть здесь серьёзна. Лицо у прокурора печальное, морщины на лбу так и не разгладились: он *умер от мыслей*.

Его жалко, как жалко и других гоголевских героев, — Акакия Акакиевича из «Шинели», «испанского короля» из «Записок сумасшедшего», художника Пискарёва из «Невского проспекта», перерезавшего себе горло.

Если в сцене похорон нет и тени ужаса, то здесь ужас леденит сердце. Здесь *конец комедии*, после которого остаётся лишь опустить занавес.

Апоплексический удар, унёсший жизнь прокурора, заставляет проснуться толстокожего Чичикова. Оказывается, он не так толстокож, как нам думалось. Его затвердевшая, как платина, душа начинает плавиться. Он вспоминает бедное детство, отца, вечно державшего его в страхе

перед наказанием. И он тоже жалеет себя, а заодно и задумывается о том, куда едет, на что зарится и что почитает богатством. И пусть эти переживания посещают его во сне, это не сон, а попытка вывернуть свою бричку на *другую* дорогу.

Вспомним призыв Гоголя, обращённый к читателю: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не поднимите потом». Чичиков как будто слышит эти слова и откликается на них в конце первого тома.

Столкнувшись с грозной старостью (преддверием смерти) в поместье Плюшкина, он ловко объехал её, но настанет момент, когда её уже не объедешь.

Но на выезде из города смерть заглянула в его лицо, и на этот раз ему, кажется, не отвертеться. Недаром у его брички сломалось колесо. Оно сломалось для того, чтоб Чичиков задержался в городе и выехал из него тогда, когда похоронные дроги окажутся у него на пути.

Поэма, начинающаяся жизнелюбиво и невозмутимо (что прекрасно проиллюстрировано Шагалом), должна — через цепь скандалов и смертей — вырваться на простор, обрести темп нарастающей скачки, а затем, замерев на мгновение, перейти в лирико-трагический регистр.

— А что я? — должен спросить Чичиков (и спросит во втором томе). — Я-то куда еду, куда спешу? Кого хочу обогнать?

Неумолимое *memento mori*, не произнесённое вслух, но явившееся в образе мёртвого тела, будет греметь в его ушах, за что бы он ни взялся, в какие бы авантюры вновь ни ввязался.

Эта личная линия Чичикова опущена Шагалом. Его интересуют факты, а не мечты. Пьяный Чичиков в бричке — пожалуйста, Чичиков в казённой палате — вот он, Чичиков, бреющийся у зеркала, откалывающий в гостиничном номере трепака, — любуйтесь.

Шагал, как и Гоголь, мастер массовых сцен. Сцепившиеся друг с другом экипажи и бессмысленный гвалт мужиков, пытающихся их разнять (причём каждый даёт

совет, противоречащий совету соседа), смятение чиновников, взбаламученный слухами город — это его стихия, русский «мир» с его горячностью и отсутствием здравого смысла.

Достаточно заглянуть на тот же двор Коробочки, чтобы понять, что тут Шагал даёт волю своим чувствам. Он любит, когда всего и всех — много. На этом дворе нет ни толкотни, ни разброда, ни столкновения самолюбий. Коровы, козы, куры, телята, петухи, голуби, дворовая девка — сосуществуют в согласии.

Но стоит иллюстратору перебраться в дом Ноздрёва, как некий смерч врывается вместе с ним. Предметы и люди начинают нервно дёргаться (с Ноздрёва, выболтавшего тайну Чичикова, всё и началось), пускаются в пляс стул и табуретка, малярная кисть и люстра, которая, как пьяная, раскачивается под потолком.

А «Кучера на большой дороге»? Это русский хаос, русский ор во всю глотку. И во имя чего? Этого не знают и сами орущие.

Толпа выстроена как пирамида: внизу крупно прописаны лица, рубахи, лапти, поднятые вверх кнуты, а выше — народ в полном наборе от старика до бабы, а к нему присоседился господин в шляпе, неизвестно как сюда залетевший.

Даже морда лошади просунулась в эту кучу-малу. А «Дядя Митяй и дядя Миняй», как два клоуна на канате, балансируют между землёй и небом. Один задом наперёд оседлал лошадь и, вывернув голову, смотрит на нас (взгляд остекленел от бессмысленного стояния на своём), над ним развевается, как флаг, кнут, а другой, крича, падает на него. Дядя Митяй (он на первом плане) своей тушею почти раздавил лошадь, а она — ни с места, как и лошадь, взятая в опеку дядей Миняем.

Оргию беспорядка, надрыва, пришедшей в ярость глупости сменяет оргия веселья («Чичиков, Петрушка и Селифан»). Хоровод с рюмками и бутылками в руках ведёт Петрушка в рубахе с цветочками (растопыренная ладонь, поднятая в воздух, крупнее его головы). Он бросает вверх картуз, за ним шествует подпоясанный Селифан, дальше

офицерик (может быть, тот, что в поэме Гоголя примеривает по ночам сапоги), за ним — мужики, чиновники, а на всё это смотрит со стены портрет царя, весьма смахивающий на портрет смерти (череп в погонах), и Чичиков с завитым коком и с рюмкой в руке.

Это не тот Чичиков, что шаркал ножкой перед сильными мира сего. Он бонвиван и предводитель шайки. Он не танцует, а, закрыв глаза, смакует вино. Но не таков Чичиков, уже без кока и хищного выражения в лице, отплясывающий в исподнем трепака. Он счастливый плут, радостное дитя. Его цилиндр, сюртук и панталоны покоятся на стуле, на полу стоит заветная шкатулка с купчею крепостью и деньгами, одна нога в сафьяновом сапоге, другая босая.

И это у Шагала ещё один, может быть, десятый по счёту Чичиков. И совсем иной он на офорте «Чичиков на кровати». Шагал изобразил его почти что с ласкою, с взрослой жалостью к уснувшему ребёнку. И засыпает Павел Иванович, как ребёнок, лежа поперек кровати, где и застал его сон, в рубашонке и с голой попой. Под кроватью его сон стережёт кот и стоит детский ночной горшок.

Этому Чичикову не надо лгать, изображать из себя разбившийся о волны чёлн. Он не напомажен, не затянут во фрак, а беспомощно *гол*, доверчиво гол, как бывает доверчиво во сне малое дитя.

Да, у Гоголя Чичиков не злодей, а, подобно Хлестакову, часто оказывается в положении, когда его наивности приходится только дивиться. Какой же опытный мошенник доверит свои тайны Ноздрёву, кто из-за «бабёнки» (история на таможне) утратит в мгновение ока миллион? Злодей с Ноздрёвым откровенничать не будет, а «бабёнку» сплавит сопернику, лишь бы денежки оставить себе.

Почивает Чичиков и, должно быть, видит сны. Сны не страшные, как не страшна на этот раз и ночь за окном, в которое чуть не уперлась его голова. Спит Чичиков, спят в соседней комнате пьяные Селифан и Петрушка (иллюстратор положил их друг на друга), не ведая ни печали, ни страха.

Зато страх вышел на улицы города N. На офорте Ша-

гала смятенье чиновников и обывателей превращает их в колесо, которое, как на карусели, вращается вокруг подпирающего собой небесный свод «какого-то длинного-длинного» (по мере роста паники растёт и этот безымянный персонаж поэмы), дамы, чиновники и военные и прочие неопределённые лица несутся друг мимо друга, падая оземь, пытаясь спастись в полёте, и т.д.

Губернский мир приобретает вид гелиоцентрической системы. Повторяю, кто-то срывается с орбиты, но кто-то, по-видимому, обречён вращаться по ней с сумасшедшей скоростью. Кто-то валится на спину и, как утопающий, взывает о помощи, кто-то (из военных) поднял руки так, будто сдаётся в плен, кто-то указывает на находящийся за краем рисунка предмет, ещё кто-то хватает сорвавшегося с карусели, а дама, протянув вперед руки, плывет над разыгравшейся вакханалией, как самолёт.

В художественной системе Марка Шагала эти полёты, похожие на отрыв мысли от грешной земли, не менее значительны, чем полёт гоголевской тройки. Люди летают, потому что летает их дух, а тело тянет к земле. В воображении, во сне, в прозрениях памяти мы уносимся прочь, не считаясь с законом тяготения.

Как раз такой отрыв и изобразил Шагал, иллюстрируя то место в поэме, где Чичиков в мечтах встречается с губернаторской дочкой. Та буквально сходит с небес, с подножки своей кареты, реющей в облаках.

Кстати, в вихре, поднявшем со стульев, кресел и постелей губернских байбаков, Шагал поместил и Гоголя, как творца этого безумия, вызвавшего бурю, сокрушившую город. Город, узнав о покупках Чичикова, сходит с ума, а Гоголь спокоен, поднявшийся смерч не задевает его. Он не удивляется ни парящей над ним даме, ни тому, что на смертельно перепуганных героев выдвигаются из-за края рисунка генеральский сапог и грозные генеральские усы.

Сапог этот огромен, это сапожище, которым можно раздавить всех присутствующих. Генерал готов, кажется, одним пинком вышибить из них дух и остановить всеобщее помешательство. Его топорщащиеся в разные стороны усы говорят о его самых суровых намерениях, но при-

павшая к нему полнотелая дама (видны только её грудь и соблазнительная улыбка) парализует волю страшилища.

И карусель страха продолжает разгоняться.

В изображении динамики гнева, восторга или ужаса Шагал неизменно пользуется жестом, жизнью рук, которые только в смерти приобретают дисциплинированность. Во всех остальных случаях это не обыкновенное богатство взмахов, всплесков, жестикуляций, иногда это руки-защитницы, иногда — вывернутое локтями вверх уродство (Феодулия Ивановна), а порой восторг, рвущийся в небо.

Руки с пудовыми кулаками, руки лилейные (губернаторская дочка), руки, похожие на крылья мельницы, и руки, просящие о помощи (Чичиков у Ноздрёва). Руки «сдающиеся» и противоборствующие, грозящиеся и пугающиеся угрозы. Лишь у капитана Копейкина пустой рукав, а другая рука вынуждена опираться на костыль. Но зато его курчавая чёрная борода (отрастил уже инвалидом), горящие глаза (полное сходство с портретом Пугачёва) выдают в нём будущего предводителя народных мстителей.

В офорте «Смятение чиновников» руки действующих лиц без устали «работают» на смысл. Они, с одной стороны, прекрасно передают паралич «немой сцены», пестроту в выражении лиц, где каждое лицо цепенеет по-своему (пестрота характеров в одном, вдруг захватившем всех чувстве), с другой, и в этом состоянии они продолжают «работать», жест делается полновластным опознавателем тайного переживания героев.

Какой-то чиновник упрекающе поднимает одну руку, как бы говоря: «Что ж, этого следовало ждать», а другою на всякий случай прикрывает причинное место, что тут же понижает пафос его упрёка. Его сосед, занимающий место в центре и, судя по всему, начальник, воздевает короткие ручки (и воздевает очи) и, кажется, вот-вот произнесёт женское «Ах!», а уж те, кто за ним, и пляшут (руки в сторону), и закрывают ладонью рот (дескать, «Тс, молчание»), и тычут в потолок указательным пальцем (там губернатор и высшие силы).

Ноги и руки этих господ сплетаются, как водоросли, как лианы в джунглях у Плюшкина: они навек повязаны

своим страхом, но каждый, тем не менее, болеет за свой профит.

В офорте, посвящённом смуте в городе, Шагал поместил среди его жителей двух мирных животных. Их не сразу увидишь в сплетении тел, но, приглядевшись, начинаешь понимать, что они не только равноправные «граждане» среди людей, но и единственные, кто в шуме, гаме и всеобщем помешательстве сохраняет спокойствие. Затерявшуюся в толпе козу и попавшую туда же лошадь не волнуют людские страсти. Что им антихрист, капитан Копейкин или Наполеон? Они не брали взяток, не подличали, не торговали «мёртвыми». Они ни в чём не виновны, а оттого не ведают страха наказания.

Животный мир, как и мир природы, по Шагалу (и это близко мироощущению автора поэмы), безгрешен, тогда как тот, где обитает человек, проводит свои дни в грехе.

Нежные лошади, бродящие по разорённой деревне Плюшкина, куры и поросята, тихо струящиеся в небе скопления птиц, мирно протекающая через рисунок река и дальние и ближние ёлки не знают душевного мятежа. Эти теплокровные существа и неодушевлённые растения нужны Шагалу, чтобы напомнить читателю «Мёртвых душ», что душа человека может быть мертва, но не может быть мертва душа дерева, душа травы и цветов, лошадей и птиц. Они не судьи, не попрекающие человека праведники и даже не бессловесный упрёк ему со стороны природы, а такие же Божьи создания, как и мы, призванные внести в наш смятенный мир успокоение.

«Примиреньем с жизнью» назвал Гоголь «наше милое искусство». И этому определению (даже по выбору слов: «милое» — это о Шагале) в полной мере отвечают иллюстрации.

Феномен этой серии Шагала в том, что он ещё не открыт, что счастливое соединение его имени и его искусства с именем и искусством Гоголя не произошло. XX век (особенно в сфере художества) не раз открещивался от своего предшественника, не желая ходить в его учениках. Что же говорить о веке нынешнем, который въезжает в будущее на одних обломках?

Впрочем, ни Гоголя, ни Шагала он не посмеет сдать в утиль. Шагал — тотем модернизма, весёлый поэт быта (а лучше сказать, бытия), гений сдвинутых форм и эксперимента, преобразующих реальность в сказку, свободно вошёл в третье тысячелетие.

Что же касается Гоголя, то он по-прежнему остается поэтом будущего. Всё, что дал XX век в области формы, запрограммировано в его поэме. Всё, что он дал по части отчаяния, предчувствия мировой беды, там тоже есть. И выход из неё тоже предсказан. К его пропитанному печалью комизму Шагал — поэт наших дней — присоединил улыбку, которая как бы рассеивает тучи, собравшиеся над человечеством.

Пережить большевистскую революцию в России и остаться оптимистом? На это способен только мощный талант. Причём талант, в который заложены неистребимые гены жизнелюбия.

Гоголь поднял (в прямом и переносном смысле) «маленького человека» (будущего любимца Шагала) над прозой жизни и вручил ему волшебный жезл, отворяющий путь наверх.

Шагал сделал это в прямом смысле. Он открыл этому человеку небо, прирастив ему невидимые крылья и дав веру в то, что, поднявшись над собой, над землёю, наконец, над прегрешениями своими, он не упадёт, не разобьётся.

И в этом своём чувстве он нашёл поддержку в книге, которая при всех горьких прозрениях, заключённых в ней, поднимает дух и даёт надежду. Человек слеп и несовершенен, он слаб, им владеют жадность и гордыня, но он не безнадёжен, как не безнадёжен у Гоголя не только Чичиков, но, может быть, и Плюшкин.

А эти хороводы в «Мёртвых душах», где отогревается сердце Селифана, когда он кружит, взявшись за руки с белолицыми, белошейными девками, а песня гребцов в час заката над рекой во втором томе поэмы, под воздействием которой начинает плавиться чичиковский металл?

Всё это способно ёлки посадить посредине реки, птиц сделать величиной с лошадь, Собакевича заставить стоять

над креслом, которое меньше его в сто раз (сон о детстве, во время которого он помещался на детском стульчике), выстелить «дорогу к столу», по которой, как по сказочной ковровой дорожке, пройдут Чичиков и чета Собакевичей, а Чичикову наклеить непомерной величины нос, ибо в мире Гоголя и носы иногда способны становиться статскими советниками.

Гоголиана Шагала без помех вошла вместе с великой поэмой в XXI век. Ибо брошенный ею на знакомые с детства строки луч, согревая их, согрел и нас.

* * *

Насколько мне известно, гравюры Марка Шагала никогда не печатались в России вместе с русским текстом поэмы. Как писал Шагал в дарственной надписи на полях открывающей цикл гравюры, выполнены они в 1923—1925 годах и предназначались для французского издателя. В двадцатые годы их публикация так и не была осуществлена.

Привожу текст дарственной: «Дарю Третьяковской галерее со всей моей любовью русского художника к своей Родине эту серию 96 гравюр к “Мёртвым душам” Гоголя для издателя “Ambroise Vollard” в Париже.

Париж 1927 Марк Шагал».

Я благодарю работников Фонда графики замечательной Третьяковки за то, что они помогли мне увидеть (и хотя бы отчасти описать) этот бесценный дар Шагала.

2004

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАТУРА

В середине XIX века между двумя русскими литераторами состоялся спор, в котором, как в магическом стекле, отразилась глубина наших идейных распрей. Спор этот не разрешён и по сей день, хотя ещё недавно казалось, что его можно сдать в архив.

Речь идёт об обмене письмами между Гоголем и Белинским, состоявшемся в июле—августе 1847 года. Об этом событии знает каждый школьник, но знание его сводится к тому, что Гоголь написал какую-то книгу, Белинский её раскритиковал, Гоголь обиделся, о чём и сообщил критику, а тот в ответ составил знаменитое «Письмо к Гоголю».

Когда я окончил десятый класс (в 1949 году), мне за успехи в учёбе подарили сборник «Избранных сочинений» Белинского. В предисловии к нему говорилось: «Белинский — гениальный мыслитель и революционер. Он был духовным вождём и учителем, боровшимся за великие идеалы социализма».

Сегодня эти слова звучат не как похвала, а как порицание. Сегодня, поминая Белинского, цитируют не Ленина, причислявшего его к лучшим умам человечества, а Достоевского, который, признавая заслуги критика, писал, что если б тот прожил подольше, то наверняка скитался бы по социалистическим конгрессам, производя там комическое впечатление.

Достоевский не любил социалистов, хотя сам в молодости поклонялся Фурье.

Конечно, Белинский никаким социалистом не был, хотя его последние высказывания (в письмах и статьях) полны раздражения и жажды расправы с теми, кто угнетает народ. «Социальность, социальность или смерть!» — писал он, оправдывая гибель тысяч во имя счастья миллионов. Достоевский вспоминал, что Белинский при вспышках гнева «ругал Христа по-матерну». А в одном из его писем мы встречаем такую фразу о Боге: «Я плюю в его гнусную бороду!»

Этот свирепый атеизм уживался в нём, однако, с благоговейным отношением к искусству, почти молитвенным преклонением перед поэтическим словом. Споря с Белинским, идеи которого, строго говоря, были увлечением, а не убеждением, его нельзя было убедить доводами разума. Но как только в действие вступал талант или поэтический гений, Белинский сдавался, уступая не идее, а чувству, ибо, говоря словами В. Розанова, у него «и в мысли сердце было первое».

Назвав Гоголя в своем «Письме» «панегиристом татарских нравов», он уже через несколько месяцев в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» поставил его выше всех живущих поэтов, сказав, что у того «нет соперников в искусстве воспроизводить её (жизнь. — *И. З.*) во всей её истинности».

Спор Белинского и Гоголя чаще всего трактуют как чистую победу критика и поражение писателя. Причём победа эта достигнута на шахматной доске, на которой нет фигур противника. Никто не удосужится рассмотреть: а что же *ответил* Гоголь Белинскому? Меж тем ответ был, и не один, а целых два. Только первый Гоголь отправил по почте (и Белинский его получил), а второй оставил в своих бумагах. В письме, отправленном адресату, он скромно заметил, что его оппонент «слишком разбросался», в другом — дал полный отвод инвективам Белинского.

На чём настаивал Белинский? На скорейшем предоставлении народу свободы. На коренном изменении основ общества. Существующий режим, по его мысли, изжил себя. Религия и Церковь не способны его обновить. Нужны радикальные меры. Только свобода спасёт Россию.

Гоголь возражал: «Из Евангелия исходит истина, броженье внутри не исправить никаким конституциям. Нужно вспомнить человеку, что он не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придёт порядок в земное гражданство».

Вместо волевого нажима на историю Гоголь предлагал путь просвещения. Только через просвещение (или «просветление всего человека») можно прийти к тому, чего так страстно желал критик, — к изменению человека и общества. Не изменится человек, не изменится и общество, писал Гоголь. Нужна внутренняя культура, терпимость и способность ждать, чтоб суметь постепенно *войти* в свободу. Если она свалится на народ внезапно, наступит хаос.

Да и само понимание свободы у них было разное. Для Белинского она означала максимум политических прав, для Гоголя — способность к самоограничению.

Гоголь защищал Церковь: «Кто же, по-вашему, ближе и лучше может теперь истолковать Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние?» Он отказывался принять как пример для подражания европейскую цивилизацию («Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все готовы друг друга съесть и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала») и просил Белинского вернуться к занятиям литературой.

Белинский к занятиям литературой вернулся. После «Письма к Гоголю» он прожил ещё год. И в конце жизни решил вновь обратиться к творчеству автора «Мёртвых душ», рассмотрев его сочинения в цикле статей. Что означало это желание? Не станем гадать. «Гений всегда прав», — как-то сказал он.

В чём ему нельзя было отказать, так это в благородстве. Пылая, он мог на мгновения терять ясность зрения. Но первым, на кого он обращал свой критический взор, придя в себя, был он сам. К тому же политические пристрастия никогда не могли взять в нём верх над правдою

красоты. Он любил повторять, что «то, что художественно, то уже и нравственно». Он был *рыцарь литературы,* верно служивший своей Прекрасной Даме.

Если сравнивать Белинского с литературным героем, то более всего он походит на героя Сервантеса: то же копьё в руках, то же святое горение в сердце, та же отвага и та же детскость.

В искренности Белинского, так унизившего Гоголя в своем «Письме», не усомнился даже автор «Мёртвых душ».

Белинский был искренен, когда в первой своей большой статье «Литературные мечтания» заявил, что «литературы у нас нет»; когда в 1835 году «похоронил» Пушкина, поставив на его место Гоголя; когда столь же круто обошёлся с Гоголем, объявив после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями» о его *падении.*

Он всегда торопился, всегда спешил, подгоняемый нуждой и чахоткою, но в одном не позволял себе спешки: в попытке понять существо таланта.

Он понял — и позволил не одному поколению понять — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Герцена, раннего Достоевского. Он, как рыба, дышащая через жабры, мог дышать только через литературу. При первых шагах нового таланта он трепетал, раньше других угадывал, что народился талант, и ловил каждое его слово, каждое изменение голоса.

Критик в глазах читателя — тот, кто критикует, кто не щадит поэта или прозаика, но истинный критик — и судья литературы, и со-творец таланта. Он извлекает из глубины чужого текста смысл, который может извлечь только он и никто больше.

Белинский не только разбирал (и объяснял) сочинения русских писателей, но и причислял их к лучшим людям своего отечества. И они платили ему тем же. Пушкин хотел позвать его в свой журнал, и только пуля Дантеса помешала их встрече. Гоголь доверил ему самое дорогое — рукопись «Мёртвых душ», отвергнутую московской цензурой: Белинский повёз её в Петербург. А когда Лермонтова за дуэль взяли под арест, он явился к нему на гауптвахту.

Да, Белинский обольщался идеями, влюблялся в идеи.

Да, в минуту приобщения к новой вере он не слышал доводов иной веры. И оттого бывал несправедлив по отношению к своим бывшим кумирам. Но его нельзя заподозрить в том, что делал он это из-за личных счётов, обиды или по злопамятству. Его неистовость оправдывалась его чистотой.

Хороший урок для современной критики. Она, как правило, любуется собой. Она ищет корысти. Она, наконец, просто обслуживает партии и отдельных творцов. Попробовали бы вы заказать Белинскому *о себе* статью! Попробовали бы посулить за это какую-то премию! Вас бы с позором выставили за дверь.

Но теперешняя критика цинична и готова служить мамоне. Впрочем, виновата не критика — таков (в серийном исполнении) тип постсоветского интеллигента.

Белинский долго разгонялся, когда начинал писать, но, найдя интонацию, почувствовав ритм, сам превращался в поэта. И — целиком отдавался вдохновению. «Вдохновение есть внезапное проникновение в истину», — писал он.

Его художественные оценки действительны и по сей день. Кто точнее смог определить природу смеха Гоголя? В 1835 году (ему 24 года) он печатает статью «О русской повести и повестях г. Гоголя», где вопреки общему мнению, считавшему, что Гоголь лишь сатирик и продолжатель дела Фонвизина, заявляет следующее: «Что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется *жизнию*» (курсив Белинского. — *И. З.*).

Комедия жизни — вот, по Белинскому, *тема Гоголя*.

Разве жизнь не смеётся над нами? Разве не смеётся она над нашей молодостью, над её надеждами, над стремительно стареющей красотой? Разве в природе есть сожаление о том, что человек так рано уходит из мира и, скорей всего, уходит навсегда? И не о такой ли насмешке судьбы скорбит Гоголь в «Старосветских помещиках», в «Записках сумасшедшего»?

Как-то, цитируя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», Белинский продлил её заключительную строку. «Скучно на этом свете,

господа!» — пишет, завершая печальное повествование, Гоголь, и Белинский добавляет: «а другого нет». И в признании этом слышится тоска.

Иван Сергеевич Тургенев так отзывался о нём: «Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать *центральной натурой*, то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути своего народа, а потому самые его недостатки... имели значение историческое» (курсив мой. — *И. З.*).

И в споре с Гоголем он стоял близко к центру. Ибо *нетерпение,* которое он обнаружил в этом споре, было не только свойством его личности, но, если хотите, и народной чертой. Откуда же тогда бунты, революции? Откуда Пугачёв и Степан Разин? И, конечно, метатели бомб, подкараулившие царя на Екатерининском канале?

Стоять близко к центру — удел немногих. В иные эпохи такие натуры являются в изобилии. В другие — на них засуха. История не может двигаться без таких натур. Замечаете ли вы, что она как будто и движется (переходит из тысячелетия в тысячелетие), но кажется, что она даже идёт вспять?

Как ни грустно это констатировать, последними центральными натурами в России были Сахаров и Солженицын. К счастью, Солженицын жив, но печать и телевидение сделали всё, чтобы народ думал о нём в прошедшем времени.

Мы привыкли восхищаться своими талантами и гениями. Без Толстого Россия, кажется, не могла прожить и дня. Отвратило ли это грозящие ей бедствия? Нет. Но *толстовское* всё же осталось и, если б его не было, мы бы, наверное, были другими.

Центральные натуры нужны нации как воздух. Впрочем, может быть, их нет сегодня не только в России, но и в Европе, и в Америке. Что же случилось с человечеством? Или на исходе второго тысячелетия оно израсходовало свой золотой запас?

2001

СИЯЮЩИЙ ФОНТАН

Пролог

Ангел мой, ты видишь ли меня?
Ф. Тютчев

Представим дорогу в средней полосе России. Конец летнего дня. Смеркается. По дороге в сторону заката движется одинокая фигура. Она медленно удаляется от почтовой станции, где возница перепрягает лошадей. Останавливается, долго всматривается в небо, где вспыхивают зарницы.

Это Фёдор Иванович Тютчев. 1865 год. Тютчев выезжает из Москвы по Калужской дороге в Орловскую губернию, в свое родовое имение Овстуг. Он разбит, обессилен. Ровно год назад скончалась от скоротечной чахотки его последняя любовь — Елена Денисьева.

Он остался в этом мире один. И, тоскуя, он нашёптывает строки, которые приходят неизвестно откуда: может, из глубины небесного свода, а может, с самого дна его души.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Всё темней, темнее над землёю —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Стихи звучат сначала приглушённо, как будто произносящий их говорит сам с собой, затем скорбно и близко к отчаянию. И завершаются как удар смычка:

Ангел мой, ты видишь ли меня?

Я не знаю более трагических стихов в русской поэзии о любви. Тютчев — поэт предчувствия катастрофы — здесь входит в самое существо её — в бессилие опустошённого сердца.

Когда судьба свела их, ей было двадцать пять, ему сорок восемь. Он по понятиям того времени был уже старик, она молода, красива и у неё было открытое будущее. Тютчев ещё за несколько лет до этого писал: «Я отжил свой век и... у меня нет ничего в настоящем».

И вот настоящее явилось. Это было похоже на удар молнии, и эта молния спалила её, а Тютчева оставила без настоящего и без будущего. Ибо сердце его не могло жить без любви. В письме к дочери Анне он признавался, что передал ей «это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви».

Как раненый зверь, который ищет укрытия, чтоб зализать свои раны, он устремляется в вотчину предков, веря, что родные стены оградят его от любопытства чужих людей и их ложного сочувствия.

Он рванулся в глубину России, туда, где стоял его дом, который всегда становился его защитой в тяжелые минуты.

И где-то в пути, оставив коляску и возницу, перепрягающего лошадей, он, как с ним бывало не раз, пошёл вдоль дороги пешком, желая побыть наедине с собой. И ещё одного он желает теперь, хотя сознаёт, что это мечта: *услышать голос* той, что оставила его жить в этом мире без неё.

Овстуг

Как тихо веет над долиной
Далёкий колокольный звон...
Ф. Тютчев

Тютчевская усадьба стоит на возвышении, за нею начинаются поля, ведущие к древним холмам, ниспадающим к изгибу Десны. А за Десною, как древнее русское войско, тесно сомкнув деревья, стоит брянский лес. Взгляд не в силах охватить простирающейся за ним дали.

Выкрашенный в желтый цвет барский дом внутри затенён шторами.

Поскрипывает под ногами паркет. Анфилада комнат ведёт в тютчевский кабинет. Небольшой письменный стол у окна, на стенах — портреты предков. Над самым столом портрет старшего брата Тютчева Николая.

Все любимые лица. Феденьку ласкали и берегли отец и мать, бабушка, дядька Николай Афанасьевич Хлопов. Детство его было безоблачным, счастливым. Да и тогда, когда он стал взрослым, родители и все старшие не оставляли его своей заботой. Состарившиеся отец и мать специально завели сахарный завод, чтоб ссуживать сына деньгами.

И только одного портрета не хватает в кабинете — портрета человека, который стоял у истока рода Тютчевых. Его звали «хитрый муж» Захарий. Перед сражением на Куликовом поле послал его в Золотую Орду московский князь Дмитрий Донской, и предок Тютчева не дрогнул перед всесильным Мамаем.

Мамай требовал увеличения дани, грозил войной. Захарий Тютчев возражал ему. А на обратном пути из Орды он порвал ханскую грамоту и клочки её велел отослать Мамаю. Каков характер!

В девятнадцать лет став внештатным сотрудником русской миссии в Баварии, Фёдор Тютчев не унаследовал твёрдости своего далекого предка. Да и не дипломатию избрал он своею стезёй, а жизнь сердца. О Захарии Тютчеве народ сложит сказку «Про Мамая безбожного», его потомок станет великим поэтом.

Любомудр

Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

Ф. Тютчев

В 1821 году он блестяще заканчивает словесное отделение Московского университета. В то время в университете учатся и будущие участники событий 14 декабря 1825 года: П. Каховский, М. Бестужев-Рюмин. Но Тютчев не с ними. Он с теми, кто называет себя «любомудрами» и кто мирное обустройство государства предпочитает насильственному изменению истории. Это братья Иван и Пётр Киреевские, Степан Шевырев, Михаил Погодин, Дмитрий Веневитинов, Н. Путята, Алексей Хомяков.

Девиз декабристов: устрашение власти оружием, а в случае её сопротивления — переворот. Девиз любомудров, как его формулирует поэт Д. Веневитинов, — самопознание: «Самопознание — вот идея, одна только могущая одушевить вселенную, вот цель и венец человека».

В ответ на пушкинскую оду «Вольность», где есть строки: «Самовластительный злодей! / Тебя, твой трон я ненавижу, / Твою погибель, смерть детей / С жестокой радостию вижу», юный Тютчев в 1820 году отвечает: «Счастлив, кто гласом твёрдым, смелым, / Забыв их сан, забыв их трон, / Вещать тиранам закоснелым / Святые истины рождён! / И ты великим сим уделом, / О муз питомец, награждён! / ...Но граждан не смущай покою / И блеска не мрачи венца, / Певец! Под царскою парчою / Своей волшебною струною / Смягчай, а не тревожь сердца!»

Так в двадцатые годы раскололась не только русская дворянская интеллигенция, но раскололась и история. Одни пошли на площадь, а потом на каторгу, а другие — в библиотеки и архивы. Будущие декабристы почти все военные, любомудры младше их и преимущественно гражданские. Из первых выйдут бунтовщики, из вторых — дипломаты и учёные.

Тютчев — с последними.

Они считают, что есть философия Вольтера и Гельвеция (исключительно позитивистская, или материалистическая) и есть «философия небесная», смысл которой нет нужды объяснять.

Тютчев впоследствии суровее, чем другие русские поэты, осудит Наполеона:

Два демона ему служили —
Две силы чудно в нем слились:
В его главе — орлы парили,
В его груди — змеи вились.

Вспоминая переход Наполеона через Неман, Тютчев пишет, что на русском берегу его «стоял и ждал» «*Другой*», и этот «*Другой*» был Христос.

И мимо проходила рать —
Все грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать...

Русскую границу перешла философия Вольтера, встретила её философия небесная.

Через двадцать лет после этого карета графа А. Остермана-Толстого, героя Бородина и Кульма и родственника Тютчева, увозила выпускника Московского университета, зачисленного на службу в Государственную коллегию иностранных дел, в Европу.

Но — прервём плавный ход времени. Заглянем вперёд и окажемся среди народа, обступившего 14 декабря 1825 года Сенатскую площадь в Петербурге. За несколько дней до свершившего здесь события газета «Санкт-Петербургские ведомости» в № 8 от 18 декабря сообщала: «...приехали в столичный город Санкт-Петербург с 2 по 6 декабря 1825: ...из Москвы камер-юнкер Тютчев».

В день восстания он — в Петербурге. Может, среди толпы, стоявшей у Исаакиевского собора, может, в другом месте. Видел ли он то, что происходило у подножия памятника Петру, или не видел, но он был здесь.

Здесь, на Сенатской площади, Пётр Каховский, однокашник Тютчева по Московскому университету, убьёт графа А. М. Милорадовича, генерал-губернатора Петербурга и героя Отечественной войны 1812 года.

Тютчев ужасается и сострадает. И через полгода, после вынесения декабристам приговора, пишет стихотворение «14-е декабря 1825»:

О жертвы мысли безрассудной.
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!

«Народ, чуждаясь вероломства, — скажет Тютчев, — поносит ваши имена». Иван Аксаков писал: «Ни Пушкин, никто в то время, из страха прослыть нелиберальным, не решился бы высказать такое самостоятельное мнение — и совершенно искреннее, чуждое всяких расчётов, потому что... в течение почти 50 лет оно никому не сообщалось».

«14-е декабря 1825», написанное двадцатидвухлетним Тютчевым, было опубликовано в 1881 году, когда его уже не было в живых. Но мысли, высказанные здесь, были продиктованы не минутным чувством, а ясным сознанием того, что история делается *не так*.

В 1844 году Тютчев публикует статью «Россия и Германия», где, *подтверждая это своё убеждение*, как провидец заглядывает в XX век:

«Давно уже в Европе существует только две действительные силы — революция и Россия... Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит *на многие века*... вся политическая и религиозная будущность человечества» (курсив мой. — *И. З.*).

Ещё не написаны антинигилистические романы Лескова и Достоевского, ещё Достоевский, увлечённый социалистическими идеями, не пошёл в каторгу, а вещие слова о беспощадном поединке России и революции уже сказаны.

И их сказал тот, кого из всех русских считали самым

европейским человеком и чуть ли не немцем, на которого Европа или, во всяком случае, Германия возлагала надежды как на «своего человека» в России.

Прожив двадцать два года на Западе, Тютчев стал более русским, чем был им, покидая Россию. Запад открыл ему глаза на «страшную будущность человечества».

И в 1844 году он без сожаления покинул его. Он ехал морем, и первая русская гавань, которая встретила его, был Кронштадт.

«Жизни блаженство в одной лишь любви»

О, как убийственно мы любим!
Ф. Тютчев

А началось всё, как в романтических поэмах Шиллера и романах Гёте.

Едва появившись в Мюнхене, наш дипломат, не имевший ничего, кроме родительского вспомоществования (он шесть лет служил вне штата и не получал жалованья), страстно влюбляется в четырнадцатилетнюю красавицу Амалию Лерхенфельд. Согласно легенде, юный Тютчев сватался к юной Амалии и получил отказ. Родители её не увидели в нём блестящего, обещающего преуспеяние жениха. И будто бы на почве этого увлечения (а если сказать серьезнее, то и любви) между Тютчевым и кем-то — вероятно, тем, кто имел предпочтение в глазах отца и матери красавицы, — чуть не случилась дуэль. Тютчев, кажется, готов был стреляться, но не отступить. Тогда в моде были дуэли и самоубийства из-за неразделенной любви, и пылкий, страстный от природы Тютчев — таким был, кстати, и его дед Николай Андреевич, имевший в молодости роман с небезызвестной Салтычихой, — не стал исключением на фоне романтического века.

Амалия скоро сделалась Амалией Крюденер, баронессой, женой коллеги Тютчева, стоящего выше его на иерархической лестнице. Но этой женщине суждено было, как доброму гению, появляться возле своего первого возлюбленного в самые непростые для него минуты жизни.

Первая любовь не забывается, и во всех остальных увлечениях Тютчева властвует одна сила — красота. Как поэт он не может пройти мимо красоты, не очароваться ею, не сделаться её подданным. И лишь одно в Амалии Крюденер было далеко от её романических двойников — *не близкий русскому сердцу расчёт*. Для Тютчева если любить, то до конца, если отдаваться любви, то очертя голову. Этот «блестящий говорун», как назвала его Дарья Фикельмон, человек изысканного воспитания, предполагающего сдержанность и скрытность, завсегдатай светских раутов, отдавался чувству, как стихии, и, не будь так, не было бы, может быть, в русской лирике столь катастрофического певца любви.

Кажется, сам Шеллинг, приступивший в ноябре 1827 года к чтению лекций в Мюнхенском университете и на первой лекции которого присутствовал Тютчев, поддержал его. «*Философия*, — сказал он на этой лекции, — о чём свидетельствует само её наименование, *есть свободная любовь, и без неё она мертва*» (курсив мой. — *И. З.*).

Как известно, Германия — страна философов. Тютчев же — прирождённый поэт-философ, стремящийся не только объять событие или чувство со всех сторон, но и постичь его скрытые пружины.

«О, вещая душа моя, / О, сердце, полное тревоги, / О, как ты бьёшься на пороге / Как бы двойного бытия». Эту двойственность всего живого Тютчев ощущал, как можно ощутить плеск воды в озере или дуновение ветра возле нашего уха.

Тайна есть в человеке, есть и в природе: та, по выражению Тютчева, «сфинкс», «и, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней». У неё есть душа, есть язык, но часто человек и природа не только не понимают друг друга, но и отдалены той безжалостностью, с какой последняя, не задумываясь, стирает нас с лица земли.

Мы случайны в этом мире, и мы — жертвы чьего-то умысла, недолговечная «грёза» природы.

На встречах с Шеллингом, проходивших не только в университете, но и у него дома, они говорят о примирении искусства и религии, их родстве. Эти беседы Тютче-

ва предвосхитят то, о чём впоследствии будут писать Гоголь и Толстой. «Это превосходный человек, — скажет Шеллинг о Тютчеве, — очень образованный, с которым всегда охотно беседуешь».

В марте 1826 года он женится на Элеоноре Петерсон, урождённой графине Ботмер, вдове, матери четырёх детей.

Эта женщина, нежная, покорная, не только любила его, но, как говорят её письма к брату Тютчева Николаю, понимала малейшие отклонения в его настроении, перепады от поэтического взлёта к жестокой меланхолии и непостоянство сердца. Уже через несколько лет — а они прожили двенадцать лет и Элеонора родила ему трех дочерей, — Тютчев испытал призыв новой страсти к Эрнестине Дёрнберг.

«Но есть сильней очарованья, — напишет Тютчев в стихах, обращённых к ней, — Глаза, потупленные ниц / В минуты страстного лобзанья, / И сквозь опущенных ресниц / Угрюмый, тусклый огнь желанья».

А. И. Тургенев, живший тогда в Мюнхене, тоже влюблённый в Эрнестину и называвший её «мадонной Мефистофеля», заметит о Тютчеве: «Он имеет о ней понятие, кажется, справедливое, но сам — любит её».

Тут явно полыхает пожар, и по воле рока именно *пожар* развяжет узел, связывающий его с прежней любовью.

Но до этого Элеонора, пережившая с Тютчевым самые трудные его годы за границей (безденежье, низкая должность, никаких успехов по службе), совершит попытку самоубийства. Зная всё о его новом романе, она в апреле 1836 года, отыскав в комоде кинжал к маскарадному костюму, нанесёт себе несколько ударов в грудь.

Обливаясь кровью, она выбежит из дома и упадёт на мостовую. Соседи подберут её, внесут обратно в дом, и она выживет.

Но — не надолго.

18 мая 1838 года на пароходе «Император Николай I», на котором Элеонора с детьми возвращалась из поездки в Россию, случился пожар. К счастью, пожар начался, когда пароход уже подошёл к прусскому берегу. Она потеряла всё — бумаги, имущество, деньги, но спасла своих девочек.

Оправиться от пережитого она не смогла. И так слабая, хрупкая, она умерла на руках у Тютчева три месяца спустя. В эту последнюю её ночь Тютчев сделался седым.

В «Современнике» у Пушкина

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Ф. Тютчев

В третьем номере журнала «Современник» за 1836 год появится подборка «Стихов, присланных из Германии». Подпись под ними ничего не скажет ценителям русской поэзии: «Ф. Т. Мюнхен». И не успеют эти ценители перевести дух, как четвёртый номер журнала Пушкина откроется новыми стихами неизвестного Ф. Т.

Вот ведь как бывает. Человек служит, влюбляется, делается главой семейства, составляет депеши на имя министра иностранных дел (постоянная забота дипломата Тютчева), а где-то в тиши, в уединении мысли, в особой работе сердца слагаются строки, которым суждено стать стихами.

Двадцать четыре стихотворения Тютчева, появившихся (в третьем номере) рядом с «Коляской» Гоголя и (в четвёртом) «Капитанской дочкой» Пушкина, сразу вознесут его на самую вершину русской литературы.

Доставила в Петербург тетрадь с этими стихами Амалия Крюденер. Она передала тетрадь Ивану Гагарину, а тот — издателю «Современника».

Разве могло сердце Пушкина и его эстетическое чувство не откликнуться на этот кристально ясный ритм, на величие этой простоты?

И Пушкин державною рукою подписал их в печать. Свёл ли их Рок или Божий Промысел?

Пётр Плетнёв, принявший после роковой дуэли 27 января 1837 года «Современник», писал: «Ещё живы свидетели того изумления и восторга, с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, ис-

полненных глубины мыслей, яркости красок, новости и силы ума».

Кажется, две великие тени стоят за этой «новостью»: Державин и Пушкин. С одной стороны, ясность слога (пушкинская), с другой — поэтический зонд Тютчева, преодолевая земное тяготение (как и Державин), уходит к другим мирам. С одной стороны, пушкинское «Утро в горах», «Весенние воды», «Полдень», с другой — державинский восторг и ужас пред «пылающею бездной» природы.

Как сквозь промытое стекло смотрит Тютчев *на этот* мир и с той же ясностью видит «мир души ночной», «хаос древний» небесного устройства и устройства человека.

«Мысль изреченная есть ложь» — этот постулат Тютчева можно отнести и к его суду над собственными стихами, не способными выразить всего, чем живы ум и сердце.

И тем не менее он был горд. Его стихи в журнале Пушкина! Такое тесное соседство их имён! И такая внутренняя связь!

На смерть Пушкина он откликнется строками, которые войдут во все хрестоматии русской литературы.

Как бы был счастлив Пушкин, если б ещё один стих, уже написанный, но не посланный в Петербург, был бы напечатан в его журнале. «Тени сизые смесились, / Цвет поблекнул, звук уснул — / Жизнь, движенье разрешились / В сумрак зыбкий, в дальний гул... / Мотылька полёт незримый / Слышен в воздухе ночном... / Час тоски невыразимой!.. / Всё во мне, и я во всём...»

«Всё во мне, и я во всём» — вот ключ, которым открывается тайна поэзии Тютчева. Всемирность. Зависимость нас от мира и мира — от нас. Лев Толстой плакал над этими стихами. А. Гольденвейзер, слушавший «Тени сизые смесились...» в исполнении автора «Войны и мира» (кстати, весьма высоко ценимого Тютчевым), свидетельствовал: «Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвёл на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами и тщетно стараясь удержать душившие его слёзы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но, наконец, когда он произнёс конец первой строфы “всё во мне, и я во всём”, голос его оборвался».

Аматёр. Дипломат. Поэт

Он человек необыкновенный, гениальный.
В. Жуковский

7 июля 1839 года в православной церкви в Берне Тютчев венчается с католичкой (так и не поменявшей своего вероисповедания) Эрнестиной Дёрнберг.

Тютчеву тридцать шесть. Кажется, третья сердечная буря, которая пронеслась над его головой, и благодатный дождь, пришедший с нею (создание новой семьи), должны освежить и напоить его душу.

Но его ожидает новая гроза — на этот раз на дипломатическом поприще.

Ещё в августе 1837 года он получает повышение — становится первым секретарём русской миссии в королевстве Сардинском с центром в Турине. Через три месяца Тютчев теряет жену и вскоре покидает город, напоминающий ему о его горе. С одной стороны, он спешит заключить брак с другой женщиной (и все видят это странное смешение горя и счастья), с другой — манкирует своими обязанностями, за что лишается придворного чина камергера (равного чину штатского генерала) и службы в Министерстве иностранных дел.

Во время его службы в Италии туда прибывает наследник русского престола. Тютчеву поручено сопровождать его в поездке по северу страны. В ноябре 1838 года Тютчев знакомится с будущим императором Александром II. Он в свите наследника на приёмах у короля Сардинии, в музеях, театрах. Он регулярно шлёт из Генуи депеши в Петербург о каждом шаге великого князя.

Он ведает размещением наследника в лучших гостиницах, а главное, делится с ним своими мыслями о Европе и России и находит понимание этим мыслям.

Эта встреча стала, быть может, самым важным событием его жизни. Тютчеву было 36 лет, наследнику 21 год. Он был совсем молод, но чуток и с сочувствием внимал речам своего — тоже ещё молодого — дипломата. Их беседы, проходившие в Генуе, Турине и на озере Комо, предопределили будущую внешнюю политику России. России не-

зависимой, сильной, которая в ряду других стран Европы займёт место не «людоеда», как писали о ней западные газеты, а достойного партнёра.

Вообще, когда думаешь об этих встречах, почти соглашаешься с тем, что поэт и царь могут найти общий язык. Существует свобода с Христом, и существует свобода с дьяволом. В первом случае человек говорит своему произволу «нет», во втором — «да». Вот этого «да» больше всего опасались и царь, и Тютчев.

И оказались правы. В 1866 году студент Каракозов у решетки Летнего сада стрелял в Царя-Освободителя, как называли Александра II. Для Тютчева это был сигнал о приходе революционной заразы в Россию. Ещё через несколько лет боевики организации «Народная расправа» совершили самосуд над студентом Ивановым. Тютчев, как и Достоевский, описавший впоследствии злодеяние нечаевцев в романе «Бесы», не пропускает ни одного судебного заседания.

Над этой тёмною толпой
Непробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, Свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..

Блеснёт твой луч и оживит
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, —
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

Стихи эти написаны в 1857 году, в преддверии знаменитого Манифеста от 19 февраля 1861 года о даровании крепостным крестьянам свободы.

И пусть Тютчев вскоре после встреч с наследником отправится в отставку, свидания с ним — уже Александром II сделаются основанием для триумфального возвращения Тютчева в политику.

А пока в 1843 году он отправляется в Россию, чтоб както устроить свою судьбу. И здесь ему — в который раз! —

помогает Амалия Крюденер. Живущая в Петербурге и пользующаяся благосклонностью императора и близкого к нему Бенкендорфа, она знакомит Тютчева с всесильным царедворцем.

В результате этой встречи рождается «Проект» Тютчева. Дело в том, что в том же 1843 году во Франции выходит книга маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Она, как удар колокола, возвещает о начале антирусской кампании на Западе.

Тютчев предлагает Бенкендорфу проект привлечения видных западных публицистов для печатных выступлений в пользу России. По приглашению графа он вместе с Амалией и её мужем прибывает в его замок Фалль вблизи Ревеля и гостит там неделю. Бенкендорф знакомит с его проектом императора, тот одобряет инициативу Тютчева. Одновременно Бенкендорф предлагает поэту самому выступить в западноевропейской прессе.

Тютчев возвращается в Германию, как пишет немецкий публицист, «защищать русское дело на Западе». Тютчев понимает, что «чудовище», как он называет современную прессу, оказывает на умы гораздо большее влияние, чем все тридцать восемь правителей раздробленной Германии, чем все герцоги и короли.

Он пишет статьи «Германия и Россия» и «Россия и революция». Он защищает российскую внешнюю политику, которая в рамках Священного союза помогла удержать Германию от революционного распада, защищает русский народ, про который маркиз де Кюстин написал, что тот весь «от мала до велика опьянён своим рабством до потери сознания».

Тютчев думает о своём народе иначе:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

А дочери, учившейся за границей, напишет: «В России ты найдёшь любви больше, чем где бы то ни было».

Он винит Германию в неблагодарности по отношению к России, говорит, что не собирается писать апологию России: «Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, как мне кажется, выполнял её до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России — это история...»

Тютчев предвидит, что если Германия пойдёт по пути революционной Франции (июльская революция 1830 года), то это взорвёт и её и Европу.

Не успел он обосноваться дома, получив должность старшего цензора при Министерстве иностранных дел, как разразились европейские революции 1848—1849 годов. Тютчев подаёт записку царю, озаглавленную «Россия и революция».

Трудно подобрать аналог этому пророческому документу. Его положения:

Россия прежде всего христианская страна. «Революция — прежде всего враг христианства. Антихристианское настроение есть душа революции... Тот, кто этого не понимает, не более как слепец...» Революция — это «самовластие человеческого я, возведённое в политическое и общественное право», это «я» заменяет собою Бога и формирует «ополчение безбожия». Революция присвоила себе знамя христианства — братство, чувство смирения она намерена заменить духом гордости, «высокомерием ума».

Революция намерена создавать «братство» на чувстве страха перед нею. «Русский народ — христианин, — продолжает автор записки. — Он христианин не только в силу православия своих убеждений, но ещё благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. *Он — христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы*» (курсив мой. — *И. З.*).

Так Тютчев отвечает Кюстину и западной прессе. Его политические предсказания сбываются, сбываются и его предположения об объединении Запада против России, о

грядущей Крымской войне, о поражении русских в этой кампании.

Со смертью Николая I (1855) начинается новая эра в истории России. Начало этой эры Тютчев назовет «оттепелью». И ему есть в этой оттепели место. Немца Нессельроде сменяет русский Горчаков, и Тютчев, по существу, становится его правой рукой. Вот где сказалась благосклонность наследника, увидевшего в Тютчеве союзника своим мыслям!

И великий документ, Манифест об освобождении крестьян, Тютчев переводит на французский язык.

Советы Тютчева идут через Горчакова, и царь их принимает. И сам Тютчев уже не чиновник вне штата, а сначала действительный статский советник (звание, дающееся не за выслугу лет, а лично императором), затем тайный советник и Председатель цензуры иностранной.

Тютчеву ещё пришлось увидеть:

отмену 14-й статьи Парижского договора, лишавшей Россию права иметь флот на Черном море;

первую книгу своих стихов, изданную в 1854 году (в пятьдесят один год!);

и, наконец, обрести то, о чём писал Пушкин: «И, может быть, на мой закат печальный блеснёт любовь улыбкою прощальной».

Безумное сердце не спит и алчет новой пищи. Любовь для Тютчева — это полнота мгновения. Гаснет вспышка, мгновение делается неполным, и он переходит к другому, опять-таки захватывающему его без остатка переживанию.

На горизонте появляется новая женщина — Елена Денисьева. Казалось бы, при сознании катастрофичности бытия, а уж тем более одной человеческой жизни, так сильно выразившимся в поэзии Тютчева тридцатых годов, он должен был, учитывая и свой возраст, отрешиться от прекрасно-минутного, смертного и взойти на высоту, с которой треволнения людей предстают суетой сует.

Но нет, именно страсть, пробуждённая в нём на этот раз русской женщиной, позволяет ему ещё крепче привязать свою поэзию к тому, что смертно и вот-вот исчезнет.

Ей было двадцать лет, ему сорок три. Это было «роко-

вое... слиянье и поединок роковой». Слова «рок», «роковой» встречаются почти во всех стихах Тютчева. Как переводятся эти слова? Рок — это и судьба, это и речь, то бишь слово, это и предопределение. Роковой — значит, суженый, назначенный судьбою.

Денисьева была назначена Тютчеву судьбой. Сын Тютчева и Денисьевой Фёдор Фёдорович Тютчев замечательно написал о своём отце: «Как древнегреческий жрец, созидающий храм, населяющий его богами и затем всю жизнь служивший им, их боготворящий, так и Фёдор Иванович в сердце своём воздвиг великолепный поэтический храм, устроил жертвенник и на нём возжёг фимиам своему божеству — женщине».

Впервые любовью Тютчева, такой сильной, страстной и роковой, суженой становится русская женщина. Если прежде его жёны были немки и всё совершалось законно — они венчались, и венчались дважды, по католическому обряду и по православному, то здесь беззаконная любовь. Чисто русская, сумасшедшая, безоглядная. Тютчев, кажется, теряет голову, бросается в омут. Но иначе он жить не может.

А уж тем более не может писать. И если мы имеем великий взлёт его поэзии 1850-х — конца 1860-х годов, то этим прежде всего обязаны Елене Денисьевой, женщине, которая отдала Тютчеву всё. Её отец на выпускном балу смольных институток (а её роман с Тютчевым начался, когда она была институткой) проклял свою дочь и отказался от неё. От неё отказались во многих домах, где она бывала, она осталась одна наедине со своей любовью. И не предала Тютчева, не отреклась от него.

Четырнадцать лет этой счастливой-несчастливой любви продлили жизнь Тютчеву. «Пускай скудеет в жилах кровь, — писал он наперекор судьбе и людям, — / Но в сердце не скудеет нежность. / О ты, последняя любовь! / Ты и блаженство, и безнадежность».

Она не добивалась от него ни развода с женой, ни нового брака. Она отдалась своему чувству по-русски *жертвенно* и как бы переселившись душой в душу возлюбленного, восхищённого её смелостью и тем понима-

нием, не стихов, а его самого, которого он не встречал ни в одной из своих прежних избранниц.

Встреча с ней стала окончательной встречей с Россией.

И в минуту горького укора себе он писал:

О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Сравним фотографии Тютчева и Денисьевой: он — облетевшее, с усохшей корой дерево, почти без листьев на ветвях, и рядом — молодое лицо, с ожиданьем смотрящее и затягивающее в себя наш взгляд. В глазах сострađанье, жалость и безмерная самоотдача едва распустившейся жизни, предчувствующей, впрочем, свой трагический конец.

Тютчев живёт на два дома. С одной женщиной он венчан, она — законная жена, другая — не венчанная, жена перед Богом и такая же, как первая, мать его детей. Но они рождаются без права считаться законными, хотя все они — Тютчевы, как и их мать, всегда называвшая себя Тютчевой.

Она была Тютчева и не была Тютчева, а её дети обречены были пребывать в мещанском сословии. Смятение, ужас и невозможность поправить дело в душе Тютчева. Душа его страдает, но если Денисьева жертвенно отдаётся ему, то Тютчев не способен на ответную жертвенность.

Он кается, клянёт себя и, вместе с тем, пишет нежные письма Эрнестине (всего их сохранилось около пятисот). Как это, не разорвав, соединить?

Эрнестина то уезжает с детьми за границу, то возвращается в Россию и прячется в Овстуге — только бы не видеть своего позора. Тютчев идёт по обломкам, сам оставляя их за собою, но не в силах ничего изменить.

Затянутый этот узел развязывает смерть Денисьевой.

Эпилог

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Ф. Тютчев

За смертью матери последовала смерть её четырнадцатилетней дочери Елены, через день после Елены скончался (как и она, от чахотки) годовалый сын Николай.

Тютчев не может оставаться там, где его окружают дорогие тени. Он бежит на юг, на теплое побережье Франции. Но и здесь горе прижимает его к земле.

О, этот юг! О, эта Ницца!
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет, но не может.

Что может стать итогом этой великой муки? Презренье к себе? Презренье к миру?

Однажды Тютчев сказал: «Счастлив, кто точку Архимеда сумел найти в себе самом». Он этой точки найти не сумел. Но может ли отчаяние породить великого поэта? Может ли сознание полной пустоты и бессмысленности человеческой жизни дать поэта такого масштаба, как Тютчев? Он мог бы повторить вслед за Пушкиным: «Напрасно я бегу к Сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам». Но, сознавая свою греховность, он верует в то, что когда обрушатся горы и вода затопит землю, на поверхности этих вод отразится Божий лик. Это спасенье уже не для него, а для других.

После смерти Денисьевой и её детей умирает сын Тютчева и Эрнестины Димитрий, через два года их дочь Мария, любимый брат Николай.

Тютчев ещё живёт, читает газеты, но 4 декабря 1872 года его перестаёт слушаться рука. 1 января 1873-го следует второй удар. Сам царь (Тютчев вспоминает их тёплую встречу в царскосельском парке) хочет навестить умирающего. У его постели сидит канцлер Российской империи

Горчаков. И, конечно, у его смертного одра — Амалия. «В её лице, — говорит Тютчев, — прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй».

В «Стихах, присланных из Германии» есть стихотворение «Фонтан».

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осуждён.

О смертной мысли водомёт,
О водомёт неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятёт?
Как жадно к небу рвёшься ты!..
Но длань незримо-роковая
Твой луч упорный, преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

Тютчев и был этот сияющий фонтан. И «длань незримо-роковая» уже простерлась над ним.

15 июля 1873 года его не стало.

Ныне он, вместе с женой Эрнестиной, дочерью Марией и сыном Димитрием, покоится на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Над плитой с именем раба Божия Ф. И. Тютчева возвышается большой белый мраморный крест. А вдали от этой могилы на Волковом кладбище под бедным железным крестом покоятся Е. А. Денисьева и её с Тютчевым дети. Как далеко они лежат друг от друга! И как печальна эта история!

И всё же, как сказал Толстой: «Без Тютчева нельзя жить».

2003

ТЮТЧЕВ И КОСМОС

Словосочетание «космические мотивы» едва ли применимо к Тютчеву. Тютчев целиком пребывает в космосе, хотя порой кажется, что его поэзия прижата к земле.

Он выходит в мировое пространство без разрушительных усилий, без насилия над собой. Если он чувствует «влажность» звёзд, то это *его* мир — мир, где обитает жизнь.

Позже символисты, следуя за Тютчевым, придадут космосу черты субстанции, причудливо играющей с человеком. И тогда в звёздном небе их лирики появятся явно театральные декорации.

У Тютчева вполне серьёзные отношения с надзвёздным миром. Тем более из этих отношений не исключено третье лицо — Бог. Космос для Тютчева не астрономическая абстракция, а природа, в которой, по его мнению, есть душа, есть слово и есть любовь. Как человеческое тело в жаркий летний день чувствует охлаждающую ласку воды, так и по жилам природы пробегает *та же* дрожь от соприкосновения с водой ключа.

Неизмеримая близость. Невиданное родство. И вместе с тем — непреодолимое отчуждение.

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый рок постиг,
И мы в борьбе с природой целой
Покинуты на нас самих.

На память приходит отчаяние Блока и Андрея Белого.

Тютчев с освещённой пушкинской стороны поэзии переступает в «ночную эпоху истории», в область «ночного сознания». Он — предтеча взрыва символистских ночных чар в «Петербурге» А. Белого и в картинах Врубеля.

Ночью открывается небосвод. Ночью небо перестаёт лгать. И поэзия остаётся наедине с истиной. Тютчев слышит «глухие времени стенанья». В космосе нет покоя, нет гарантий, что хоть какой-то закон сможет возобладать над хаосом. Хаос — вот его естественное состояние.

И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

Человек — альтернатива хаоса. Он пущен в мир, чтоб организовать хаос. Оттого «мир души ночной», вырываясь из смертной груди, «с беспредельным жаждет слиться». Но и под этой беспредельностью всё тот же «хаос шевелится».

Таковы безотрадные выводы Тютчева. И лишь одно может он противопоставить бешенству материи — нематериальный миг бытия, мгновенье любви. Вот та соломинка, держась за которую, он выплывет из хаоса. Тем более подаёт ему её Бог.

Только одно одушевлённое существо, помимо человека, есть во вселенной, и даже если обрушатся горы и землю зальют воды, то, как пишет Тютчев в стихотворении «Последний катаклизм», не что иное, как Божий лик отразится в них.

Значит, всё начнется сначала?

Тютчев не даёт ответа. Он оставляет вопрос.

2003

ГЕНИЙ ИЗЛИШКА

Лев Толстой сказал как-то, что у Лескова «излишек таланта». Конечно, излишка таланта не бывает, но Толстой имел в виду неукротимость поэтической стихии Лескова. Лесков не признаёт литературного «устава», классическая форма стесняет его и не даёт развернуться. Его вакхическое «талантствование» — будь то язык, выбор стиля, жанра, наконец, само словотворчество — не знает границ. И если Толстой прав (гений равновесия, он имел основания для такой оценки), то стоит признать, что в лесковской необузданности повинен не он один, а страна, которая его породила. Ибо Россия и по сию пору остается страной «излишка», страной без формы. Раз установившийся порядок ей претит. Окончательность, завершённость, понятие нормы — не для неё.

Отзываясь о Лескове, Толстой добавил: «писатель будущего». Поскольку сегодняшнее настоящее и есть то самое «будущее», это определение относится и к нам. Именно сию минуту мы нуждаемся в Лескове более чем когда-либо. Поясню свою мысль. В 1872 году в журнале «Русский вестник» были опубликованы два романа: роман Достоевского «Бесы» (№ 11, 12) и «хроника» Лескова «Соборяне» (№ 4—7). Поразительное совпадение! Достоевский, спускающийся в бездну греха, бездну зла, и Лесков, погружающийся в глубины добра, печатаются по соседству, в один год и на страницах одного и того же издания.

Русская литература не может удержаться на одном крыле, крыле отрицания, ей нужен полёт на обоих крыльях. Только они могут поднять птицу в воздух, только их «тихая тяга» (слова Лескова) способна удержать её в небе. Стоящие рядом Достоевский и Лесков «выравнивают» её полет, её духовную гравитацию.

В «Бесах» — Россия нигилистическая, бредящая поджогами и убийствами, в «Соборянах» — почти что святая, чья святость, впрочем, смикширована юмором, не дающим высокому встать на ходули, сделаться ходячей идеей.

В глубины зла мы, пожалуй, погрузились с головой, что же касается глубин добра, то они успешно оплёваны и завалены мусором. И уставшее от нигилизма общество, кажется, готово вернуться к «старым ценностям». Ему обрыдли гении отрицания, подмороженные умники, делающие бизнес на апокалипсисе творцы. Оно жаждет чистоты, нежности и детского простодушия. Оно хотело бы смотреть в глаза жизни и смерти, как большой ребенок Ахилла из «Соборян».

Ни у одного русского писателя нет такого количества вдохновляющих типов, как у Лескова. И вылеплены они не из алебастра или белейшего гипса (и уж тем более не из каррарского мрамора), а из русской глины, взятой то с обочины дороги, то из ближайшего оврага.

Где сегодня этот прекрасный тип, есть ли он? Или навсегда отнесён к преданьям старины, к сказке русской жизни, которая никогда не была сказкой, а была — наряду со сказкой — и «смехом и горем».

Есть у Лескова рассказ «Бесстыдник». События, в нём описанные, относятся к временам Крымской войны. В застолье встречаются два участника этой кампании — боевой офицер и тыловая крыса, человек в провиантской форме. Снабженец режется в карты, пожирает сёмгу, не замечая грозных взглядов, которые бросает на него герой Севастополя. Наконец, не выдержав, герой во всеуслышание начинает обличать проворовавшееся интендантство. И в ответ слышит такую тираду: «Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось — везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем, где что уместно, так себя и пока-

жем: умирать — так умирать, а красть — так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде — вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились, а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если б вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...»

И боевые товарищи героя, ходившие с ним в штыковые атаки, в один голос кричат: «Пра-пра-пра-вда!» И сам он, спустя некоторое время, признаётся себе, что «бесстыдник», «пожалуй, был и прав».

Так разворачивается *со всех сторон* у Лескова русский человек. Он и Левша, и очарованный странник, и «несмертельный Голован», проживший жизнь «в любви совершенной», и Селиван из «Пугала», и Туберозов из «Соборян» (не знаю персонажа в русской литературе, который был бы выше этого протопопа), и убивец-нигилист из романа «На ножах», и тёмный мужик из рассказа «Железная воля», который лучше на каторгу отправится, но не станет, как немец, трудиться «по расписанию».

И всё же свет пробивает у Лескова пласты русской слежавшейся темноты. Даже в переполненном негодяями романе «На ножах» есть трогательные лесковские «святые» — старики Форовы и отец Евангел. Имя последнего говорит само за себя. Лесков сердцем знает, что если не укажешь человеку на лучшее в нём, на незамутнённое, непорочное, то только поможешь бесу подтолкнуть его к могильной яме.

«Воодушевить угнетённого человека, — писал он, — значит, спасти его, а это значит более, чем выиграть самое кровопролитное дело. Это стоит того, чтобы родиться, жить, глядя на “смысла поруганье”, и умереть с отрадою, ***имея впереди*** себя ***праведника***, который умер “за люди”, оживив изветшавшую лицемерную мораль бодрым примером своего высокого человеколюбия» (курсив мой. — *И. З.*).

А теперь о «Бесах». За восемь лет до публикации романа Достоевского Лесков напечатал в «Библиотеке для чте-

ния» повествование «Некуда», где изобразил героев-революционеров как слуг сатаны, для которых цвет крови есть цвет их знамени. Он выхватил из их среды и бескорыстных романтиков, но те лишь оттенили расчёт и бесчувственное злодейство революционной массы. И уже в следующем романе «На ножах», печатавшемся одновременно с первыми главами «Бесов», убийцы-теоретики и убийцы-исполнители заняли соответствующее им в русской жизни место. В нарастающем делении революционных клеток Лесков прозрел печальную участь своей страны.

Прошло пятнадцать лет, и в сырой полдень 1 марта 1881 года, недалеко от того места, где Лесков гулял с сыном, раздались два взрыва. Взяв извозчика, Лесковы поскакали к Екатерининскому каналу. Там стояла толпа, и её напор едва сдерживало жидкое оцепление. Сын Лескова как учащийся кадетского корпуса был в военной форме. По его просьбе их пропустили за строй солдат.

«Глазам нашим, — пишет Андрей Лесков, — предстало грязноватое месиво, подтаявший, затоптанный, местами зловеще розоватый снег, обломки и мелкая щепа от разбитой кареты, клочья военной и вольной одежды, обуви, осколки стекла, обнажённая и разрытая булыжная мостовая, густые, кровавые пятна на ней».

Трагическая пьеса с кровавым исходом, о которой предупреждал автор «Некуда», была разыграна чуть ли не у него на глазах. Он стал единственным из русских писателей свидетелем её душераздирающего финала.

После этого Лесков долго не мог писать. И когда редактор «Исторического вестника» обратился к нему с просьбой откликнуться на это событие, он ответил: «Два дня писал и всё разорвал. Статьи написать не могу, и на меня не рассчитывайте... В таком хаосе нечего пытаться говорить правду... Я ничего писать не могу».

Лесков не написал письма государю, как это сделал Толстой, прося простить злодеев. Он замкнулся. Он понял, что кровь потечёт теперь по России, как река. Он сознавал, что взрывы будут повторяться, и террор одних вызовет террор других. А террор первых, в свою очередь, сделается ещё свирепее, ещё страшнее. Он ещё в «Некуда»

разглядел уголовную природу революционности, её иждивенство и атеизм, а также мировые претензии, ведущие счёт жертв на миллионы: «Залить кровью Россию... Пять миллионов вырезать, зато пятьдесят и будут счастливы». Это — цитата из «Некуда». Россия, пишет он там же, будет «проклинать этих красиных», провидчески угадывая фамилию одного из большевиков — Красина.

Но слово, к несчастью, не способно предотвратить того, что должно случиться в истории.

Злободневно ли всё это в наши дни? Нигилизм возникает тогда, когда одна эпоха и её идеи исчерпаны, а новая ещё не вступила в права или не нашла лица. Революционеры и отрицатели являются в такие моменты как спасение, как восполнение пустоты, как герои разрыва с «проклятым» прошлым.

Мы сейчас, как Лесков над местом убийства Александра II, стоим над обломками ещё агонизирующей эпохи и не знаем, как в хаосе нового найти путеводную нить.

На этом распутье не забудем гения русского излишка.

Когда я думаю о нём, я вспоминаю речку Гостомлю в Орловской губернии, сухое лето 1994 года и бурьян на поляне, где стоял когда-то хутор Панин и где родился Лесков.

Над речкой склоняются вётлы, она сделалась мелкой, но всё ещё чиста, как лесковский язык, взявший свое начало несомненно отсюда — от этих покатых полей, от которых тянет медовый дух, от низкого неба над ними, глядящегося в треснувшее зеркальце речки.

«Боже мой! — писал в 1872 году после путешествия по Валааму Лесков. — Боже мой! Что мы за необыкновенный народ! И кто, какой чужеземец может нас знать и понимать и отводить нам место и значение? Куда стремишься, куда плывёшь ты, о, святая родина, на своём утлом корабле со своими пьяными матросами? Как варит твой желудок эту смесь гороха с капустой, богомолья с пьянством, спиритских бредней с мечтательным безверием, невежества с самомнением? ...О, крепись, моя родина! Крепись — ты необходима: кроме тебя этим всяк поперхнётся».

2001

ТОЛСТОЙ ЧИТАЕТ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА...»

Можно сказать, что Лев Толстой читал эту книгу Гоголя всю жизнь. Первые упоминания о «Выбранных местах» встречаются в его дневнике 1851 года. Позже он время от времени перечитывает её и по мере того, как меняется сам, меняет свое отношение к некоторым её главам и к книге в целом.

В 1857 году, говоря о письмах Гоголя, опубликованных в собрании сочинений, Толстой более чем резок и категоричен. «Он был просто дрянь человек, — пишет он о Гоголе. — Ужасная дрянь». Речь идет о частных письмах Гоголя, но по тону и по содержанию они мало чем отличаются от писем, опубликованных в книге.

Понадобилось два десятка лет, чтобы Толстой пересмотрел эту точку зрения на Гоголя.

В 1869 году с ним произошло то, что впоследствии получило название «арзамасского страха». Пережив охвативший его страх смерти, Толстой приблизился к тому — христианскому — взгляду на мир, которым пронизаны «Выбранные места». В 1884 году он пишет повесть, рассказывающую о происшедшем с ним, и даёт ей «гоголевское» заглавие — «Записки сумасшедшего».

В роли сумасшедшего оказывается сам автор. Его новые воззрения оцениваются окружающими как факт помешательства. Известно, что нечто подобное говорилось и писалось о «несчастной», как назвал её впоследствии автор, книге Гоголя.

Поворот в душе Толстого отзывается и на его отношении к «Выбранным местам». В октябре 1887 года он пишет Н. Н. Страхову: «...сильное впечатление у меня было... при перечитывании в 3-й раз в моей жизни переписки Гоголя. Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще определено там (письмо его к Языкову, 29) так, что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка (если исключить немногое частное) полна самых существенных, глубоких мыслей. Великий мастер своего дела увидал возможность лучшего деланья, увидал недостатки своих работ, и указал их, и доказал искренность своего убеждения, и показал хоть не образцы, но программу того, что можно и должно делать, и толпа, не понимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоинства их, найдя бойкого представителя своей низменной точки зрения, загоготала, и 35 лет лежит под спудом в высшей степени трогательное и значительное *житие* и поученья *подвижника* нашего цеха, нашего *русского Паскаля*. Тот понял несвойственное место, которое в его сознании занимала наука, а этот — искусство. Но того поняли, выделив то истинное и вечное, которое было в нём, а нашего смешали с грязью, так он и лежит, а мы-то над ним проделываем 30 лет ту самую работу, бессмысленность которой он так ясно показал и словами и делами. Я мечтаю издать выбранные места из переписки... с биографией. Это будет *чудесное житие* для народа. Хоть они поймут» (курсив мой. — *И. З.*).

Дважды повторенное здесь слово «житие» да ещё с прибавлением «чудесное» говорит о том, что для Толстого Гоголь уже не «дрянь человек», а личность, овеянная ореолом святости.

Оставим письмо к Страхову (чтобы затем вернуться к нему) и перенесёмся в 1909 год. Россия отмечает столетие со дня рождения Гоголя. К Толстому обращается редактор журнала «Жизнь для всех» В. Поссе с просьбой дать статью, посвящённую этому событию. Толстой отвечает: «...был бы рад, если бы удалось написать то, что думаю о Гоголе. Боюсь только, что то, что думаю, и неюбилейно и нецензурно».

Весной 1909 года он садится за штудирование «Выбранных мест». О том, что это штудирование, а не только перечитывание или проглядывание знакомого текста, свидетельствуют множество толстовских помет на его полях.

Их, действительно, немало, и они многообразны. Эта упорная работа с карандашом в руках. Карандаш отчёркивает абзацы, отдельные предложения, обводит понравившуюся Толстому мысль, а в случаях прямого согласия с автором метит текст аббревиатурой «NB». Иногда он рисует только ему понятные фигуры, ставит вопросительные и восклицательные знаки.

Это работа и видимая, и невидимая, так как отношение Толстого к подчёркнутому не всегда можно с точностью определить, и всё же некая система в этом труде над книгой Гоголя есть.

Помогают понять толстовское отношение и отметки, которые он выставляет Гоголю, как школьный учитель выставляет их сочинению ученика. И, как учитель, Толстой весьма придирчив и даже темпераментен: это видно по почерку, по решительному движению карандаша, выносящего тот или иной приговор.

Если это «единица», то с таким острым козырьком и высоким остовом, если «ноль», то — быстро очерченный круг с неровной округлостью.

Пятибалльная школьная шкала не удовлетворяет Толстого, он расширяет её до семибалльной и более, ибо у него есть и «ноль» с плюсом, и «пятерка» с одним, двумя и тремя плюсами. Ноль с плюсом, например, получают главы «Просвещение» и «Что такое губернаторша».

Материалом для нашего исследования послужил четвёртый том десятого издания собрания сочинений Гоголя под редакцией Н. Тихонравова. Его изучал Толстой весною 1909 года. Карандашные пометы, содержащиеся здесь, до сих пор не подвергались научной обработке, хотя и внесены в каталог издания «Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне» (часть 1. «Книга», 1972).

Но простое перечисление этих помет не даёт картины стремительного освоения Гоголя Толстым, картину нарастания их творческого и духовного сближения.

Если в 1887 году, высоко отзываясь о «Выбранных местах», Толстой позволял себе перечёркивать целые страницы гоголевского текста как малоинтересные и как бы лишние, оставляя на полях суровые отзывы о нём (так, глава «О лиризме наших поэтов» в 1887 году оценена «нулём», а в 1909 году она возвышается до «единицы»), то при последнем чтении его карандаш явно делает Гоголю поблажку.

Таким образом, в наших руках оказалось два текста «Выбранных мест», которые в разное время читал Толстой. Первый из них содержится в третьем томе «Сочинений и писем Н. В. Гоголя», изданных П. А. Кулишом (СПб., 1857), второй — в четвёртом томе «Сочинений Н. В. Гоголя», изданных под редакцией Н. Тихонравова (М., 1889).

Эти издания заметно разнятся друг от друга. В первом отсутствует несколько глав, снятых цензурой («Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Что такое губернаторша», «Страхи и ужасы России», «Занимающему важное место»), второе — представляет книгу Гоголя целиком. Стало быть, и пометы Толстого на ней есть его *полный взгляд* на это творение Гоголя.

На чём же сходятся и расходятся Гоголь 1847 года (год первой публикации «Выбранных мест») и Толстой 1909 года?

Сходства больше, чем расхождений.

Прежде всего, они оба признают один и тот же высший авторитет — Христа. И христианство это не ритуальное, не обрядовое, а глубоко-внутреннее, выстраданное, и его моральные максимы обращены ими прежде всего на себя. Ни Гоголь, ни Толстой — не судьи человека, а его близкие, братья. И заветное их желанье, высказанное Гоголем в «Выбранных местах», «*желанье быть лучшим*». Последние слова выделены Гоголем курсивом. Это символ его веры и символ веры Толстого.

Толстой метит эти слова чертой на полях и обязательным «NB».

Христианское бесстрашие автора «Выбранных мест» — бесстрашие говорить *всю* правду о себе — соотносится с таким же бесстрашием Толстого. И здесь всплывает и оправдывает себя аналогия Толстого: Паскаль — Гоголь.

Паскаль в книге «Мысли» пишет: «Познание Бога без познания своего ничтожества приводит к гордыне». Лишь осознав это ничтожество, человек имеет право на искупление. Или ещё более — на благодать.

В главе «Страхи и ужасы России» Толстой помечает знаком «NB» слова Гоголя: «Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть всякому из нас в собственную душу... Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других... Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас».

Не пропускает он строк Гоголя о том, что многие люди в России, «не выключая даже государственных», «пребывают покуда на верхушке верхних сведений» и в «заколдованном круге познаний, который нанесён журналами». «Погодите, — пишет Гоголь, — скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них всё перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных деятелей, которыми вы так любовались в палатах и камерах».

Всё это с пометой «NB» выделено Толстым.

На полях главы «Христианин идёт вперёд» выстраивается целая колонка толстовских «NB». Одно из них стоит против слов Гоголя: «Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик и до самого гроба ученик», «где для других предел совершенства, там для него оно только начинается», «перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги», «из совета самого простого извлечёт он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной».

Сочувствует Толстой и данному в «Выбранных местах» определению мудрости: «...она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати небесной».

Над строками, где Гоголь говорит: «...там, где для других предел совершенства, там для христианина оно только

начинается», Толстой вписывает свое уточнение: «У святых пребывает».

Эту главу он награждает отметкой «пять».

Пятёрку с плюсом получает глава «Значение болезней». «О, как нужны нам недуги!» — восклицает Гоголь, и Толстой соглашается с ним. Он ставит «NB» против слов о том, что болезнь заставляет человека глубже заглянуть в себя и очистить душу. Душевная чистота — идеал Гоголя и Толстого. И тот и другой, говоря словами Гоголя, не в состоянии писать «мимо себя». Для них писательство не одно сочинительство, но и поступок. Толстой в дневниках признаётся: «Я плох», «плох», «плох», «начинаю чистить себя», «хочется пострадать», «хочется подвига».

Таков же максималистский рефрен «Выбранных мест».

Нет в русской литературе примера, при котором писатель так нелицеприятно судил бы себя, так пускал бы читателя в свою «келью», где не стыдился бы так открыто говорить о грехах своих.

«Ни в коем случае не своди глаз с самого себя, — даёт совет в главе «Советы» Гоголь. — Имей всегда в предмете себя прежде всех». И Толстой отмечает эту максиму знаком «NB».

Неистребимое гоголевское желанье покаяться на миру близко ему. Как близко и терпенье по отношению к критике, к насмешкам над, кажется, беззащитной искренностью, над невооружённой открытостью. Толстой отмечает то место из главы «Четыре письма к разным лицам по поводу “Мёртвых душ”», где говорится, что чем строже взгляд на писателя, тем лучше писателю. «Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то, что с первого разу пришлись не очень по сердцу, — читает он у Гоголя. — О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку».

Рука Толстого и здесь ставит «NB».

Двумя чертами и тем же знаком отмечено и следующее признание Гоголя: «Рождён я вовсе не затем, чтоб произвести эпоху в области литературной... *Дело моё — душа и прочное дело жизни*». Последние слова в тексте «Выбранных мест» отпечатаны курсивом, и это, пожалуй, центральная идея гоголевской исповеди. «Для того, кто не христианин, — пишет Гоголь, — всё стало теперь трудно; для того же, кто внёс Христа во все дела и все действия своей жизни, — всё легко».

Внести Христа во все дела и действия своей жизни — это и мечта Льва Николаевича Толстого.

Отсюда отношение его и Гоголя к слову. «Обращаться со словом нужно честно, — говорит Гоголь в главе «О том, что такое слово». — Оно есть высший подарок Бога человеку». Толстой откликается на этот афоризм своим «NB».

Глава «О том, что такое слово» получает у него высшую оценку — «пять» с тремя плюсами. Порой Толстой не удерживается, и «пятерка» появляется не в конце статьи, а по бокам текста. Например, такого текста: «Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился необдуманно и незрело... Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение».

Ничто не может оправдать неряшества в слове, праздности слова, его приблизительности и, конечно, лживости. О высоких предметах можно говорить только тогда, когда сам возвысился до них, сам поднялся на высоту истины. «Гнилое слово» может только скомпрометировать «возвышенный предмет». Что уж говорить о том, если этот возвышенный предмет — Бог. «Не столько зла произвели сами безбожники, — утверждает Гоголь, — сколько произвели лицемерные или даже просто неприготовленные проповедователи Бога». Карандаш Толстого отмечает это место двумя чертами. «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят».

Толстой мог бы подписаться под этими словами. Так

же, как под цитируемыми Гоголем словами Иисуса Сираха: «Наложи дверь на уста твои, растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые бы взвешивали твоё слово, и выковать надёжную узду, которая бы держала уста твои».

Финал статьи, откуда взята эта цитата, вознаграждён толстовским «NB».

Гоголь то и дело повторяет в «Выбранных местах», что искусство должно сделаться «незримой ступенью к христианству», но оно не может ни подменить христианство, ни стать с ним наравне. Пушкин, по его мнению, «не дерзал переносить в стихи, чем ещё не проникла сь насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые — слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами».

И с этим утверждением соглашается карандаш Толстого.

Для Гоголя и Толстого, как и для Паскаля, «Бог существует только через Иисуса Христа». Образ Христа проходит через все «Выбранные места». Можно сказать, что Христос — главный герой гоголевской книги. Толстой это прекрасно чувствует, и всюду, где речь заходит о Христе, он в своих пометах заодно с Гоголем. Но, в отличие от Гоголя, Христос и Церковь для него — две вещи несовместные.

В издании Н. Тихонравова вслед за «Выбранными местами» следует «Авторская исповедь». Точно так же следовала она за книгой писем и в издании П. А. Кулиша. Изучая последнее в 1887 году, Толстой активно откликается на эту статью. В экземпляре «Выбранных мест», который он читает в 1909 году, текст «Авторской исповеди» не тронут. Вероятно, Толстой, имея под рукой оба издания, не стал повторяться и дублировать то, что он когда-то отметил.

Что же до заключительной главы книги Гоголя «Светлое воскресение», в издании Кулиша исчёрканной Толстым, то её постигла та же судьба, что и «Авторскую ис-

поведь». Толстой в 1909 году как бы прошёл мимо неё, как прошёл он и мимо замечательной главы «Выбранных мест» — «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность». Но «Светлое воскресение» не только венчает книгу Гоголя, но и является ударным аккордом её. Поэтому мы вправе ввести пометы 1887 года в контекст нашего исследования.

В «Авторской исповеди» есть строки, которые, когда их читаешь глазами Толстого, производят эффект предвидения. Предвидения того, что их будет читать именно Толстой. Вот они: «Но когда Один, всех наиумнейший, сказал твёрдо, не колеблясь никаким сомнением, что Он знает, что такое жизнь, когда этот Один признан всеми за величайшего из всех доселе бывших, *даже и теми, которые не признают в Нём Его Божественности, тогда следует поверить Ему на слово, даже и в таком случае, если бы Он был просто человек*» (курсив мой. — *И. З.*).

Слова «даже и те, которые не признают в Нём Его Божественности» и «если бы Он был просто человек» — это рука Гоголя, протянутая Толстому. Ведь именно он, расходясь с Церковью, не признавал божественного происхождения Христа и Его воскресения. И, считая так, признавал в нём Спасителя.

Тут соединение по душе, по сердцу или по тому, что Паскаль называл «очами сердца», а Гоголь — «внутренними очами».

Но где Гоголь и Толстой беспрекословно сходятся, так в том, что (и тут я цитирую главу «Нужно любить Россию») «в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям». На этот призыв Толстой откликается одновременно и «пятеркой» и знаком «NB».

В чём ещё солидарны Гоголь и Толстой? Сходство обнаруживается сразу, при чтении главы «Завещание», открывающей книгу. Просьба Гоголя «не ставить» над ним «никакого памятника» отвечает сердечному желанию Толстого. Он выделяет этот пункт «Завещания» («NB» и ка-

рандашная черта), а также слова: «...стыдно тому, кто привлечётся каким-нибудь вниманием к гниющей персти... прошу лучше помолиться о душе моей».

Как мы знаем, через год, когда Толстого не стало, подобный пункт его завещания был выполнен.

А теперь обойдёмся перечнем тех моментов, по которым у Гоголя и Толстого нет расхождений: 1. Все равны перед Богом (глава «Чей удел на земле выше», оценка «пять с плюсом», в конце её ещё три плюса). 2. «На битву мы призваны; праздновать же победы будем *там*» (из главы «Напутствие», общая оценка «единица»). 3. Есть суд человеческий и есть суд Божеский, на первом оправдывают правого и судят виноватого, на втором судят и правого и виноватого (глава «Сельский суд и расправа», отметки нет). 4. Искусство не разрушает, а соединяет. 5. В любом деле вредны односторонность и фанатизм (глава «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», оценка «пять»). 6. Поэт должен бросить с берега доску гибнущему человеку (глава «Предметы для лирического поэта в нынешнее время», оценка «пять»).

На очереди — их разногласия. Именно их имеет в виду Толстой, когда пишет о «неюбилейности» и «нецензурности» своего новейшего отношения к «Выбранным местам».

Естественно, они касаются Церкви. Гоголь как человек воцерковлённый и преданный Церкви воздаёт ей незаслуженные, с точки зрения Толстого, хвалы. В «Выбранных местах» две главы посвящены Церкви: «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же». Кроме того, и в других главах есть немало лестных слов о Церкви и священнослужителях. Толстой пропускает главы о Церкви, не касается их карандашом, но в конце их всё же ставит им два непримиримых «нуля».

Апологии Церкви не приемлет он и в главе «Просвещение». Гоголь считает, что «безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу Церковь». Толстой, не оставив на полях этой главы никакого знака, подытоживает её ценность «нулём» с плюсом.

Не жалует он и льстящие самолюбию монарха отзывы

Гоголя о нём (главы «Исторический живописец Иванов» — отметка «единица»; «Занимающему важное место» — та же «единица»; «О лиризме наших поэтов» — опять «единица»). В главе «О лиризме» Гоголь, как считает Толстой, чрезмерно превозносит Николая I. Смущают его и ссылки на Пушкина, который якобы тоже был среди его почитателей. Совет Гоголя, даваемый царю, — стать «образом Того на земле, который и Сам есть любовь», кажется Толстому страшной натяжкой.

Вообще он недоволен гоголевской напыщенностью, велеречивостью, сентиментальными передержками. Из-за этого он не приемлет и главу «Карамзин», где автор с восторгом пишет, что Россия любит правду и что в русской печати можно говорить, что угодно. За «Карамзиным» стойко закрепляется карающая «единица».

Преувеличения преследуют Гоголя на каждом шагу. То он (в главе «Об "Одиссее", переводимой Жуковским») возвещает, что с выходом этого перевода жизнь в России пойдёт совсем по-другому (отметка Толстого «единица с минусом»), то даёт советы жене и мужу, как раскладывать на семь куч доход и как его тратить (глава «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России» — отметка «единица»), то рекомендует помещику жечь ассигнации, чтоб мужик не подумал, что тот старается ради денег, бить изредка мужика по щекам, а потом читать ему Евангелие (глава «Русский помещик» — оценка «ноль»), а дающему милостыню — как сопровождать её разными поучениями (глава «О помощи бедным» — отметка, редкая у Толстого, «двойка»).

Претит Толстому и, как ему кажется, слишком официозный гоголевский «патриотизм» (глава «Нужно любить Россию» — отметка «единица»), хотя Гоголь в «Светлом воскресении» пишет совсем другое: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь ещё неустроенней и беспорядочней всех их».

Толстой в 1909 году как будто не замечает этого высказывания (вся глава на этот раз остается чистой), в то

время как, читая «Выбранные места» в издании Кулиша, он отмечает «Светлое воскресение» не одной «пятёркой», а ещё с тремя плюсами.

О чтении этой главы стоит сказать особо. В 1887 году Толстой перечеркивает всё её начало, но, дойдя до строк, где говорится, что узы, связывающие нас с небесным Отцом, сильней земного кровного родства, ставит Гоголю «пятёрку» с тремя плюсами. Такого же высокого отношения удостаивается гоголевская характеристика человека XIX века.

Это человек, для которого ум — превыше всего: превыше сердца, добродетели, любви к заблудшему и павшему. «Может быть, одной капли любви к нему было достаточно, — пишет Гоголь, — для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогою любви было трудно достигнуть к его сердцу!» Но человеку XIX века «нет нужды до страданий» соседа, всё человечество готов обнять он, а соседа не обнимет. А если сосед ещё и павший, «ему бы только не видать гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смрадным дыханием уст несчастного, гордый благоуханием чистоты своей».

Вдоль этого отрывка нанизанные одна за другой на карандашную прямую уходят вниз страницы «пятёрки» Толстого.

Особый пункт воссоединения Гоголя и Толстого — неприятие гордыни. Гоголь выделяет два вида гордыни человека XIX столетия — «гордость чистотой своей» и «гордость ума». Более всего развилась и поразила душу этого человека «гордость ума». «Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, — пишет Гоголь, — злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду». Толстой отмечает этот абзац «пятёркою» с тремя плюсами.

Ибо «гордость ума» — это и его враг, его идейный противник. От неё, от этой гордости произошло самое страшное — обезбоживание русского народа. Разглядев её в

«Выбранных местах», Гоголь как предсказал появление двух её обличителей — Достоевского и Толстого.

Толстому не по душе суждения Гоголя об особости России и всего русского. Он видит в них ту же напыщенность, что и в восхвалениях царя и Церкви. Магический идеализм Гоголя (искусство способно изменить жизнь) кажется ему проявлением «робкого ума», как он скажет о Гоголе в своей юбилейно-неюбилейной статье о нем.

Эта статья, всё-таки написанная им, будет опубликована 24 марта 1909 года в газете «Русское слово».

«Гоголь — огромный талант, — напишет в ней Толстой, — прекрасное сердце и небольшой, несмелый, робкий ум.

Отдаётся он своему таланту — и выходят прекрасные литературные произведения, как "Старосветские помещики", первая часть "Мёртвых душ", "Ревизор" и в особенности — верх совершенства в своём роде — "Коляска". Отдаётся своему сердцу и религиозному чувству — и выходят в его письмах, как в письме "Значение болезней", "О том, что такое слово" и во многих-многих других, трогательные, часто глубокие и поучительные мысли».

Толстой называет «Выбранные места» лучшим произведением сердца Гоголя. Он не согласен с Белинским, главный упрёк которого в адрес этой книги был упрёк в её неискренности. Между прочим, в библиотеке Толстого в Ясной Поляне имеется печатный экземпляр письма Белинского Гоголю, изданный в 1906 году с предисловием С. А. Венгерова. На нём отметки Толстого, относящиеся к лету 1909 года. Очевидно, Толстой намеревался «ответить» Белинскому, да так и не написал этот ответ.

Не станем разбирать, на чём именно останавливает своё внимание Толстой в письме Белинского к Гоголю, скажем только, что в чём-то он соглашается с критиком (в частности, с тем, что России нужны не проповеди, а права и законы, или в том, что «титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров»), но своими пометами даёт понять, что не приемлет ни его наглого тона, ни обвинения Гоголя в том, что тот одновременно кадит Богу и сатане. Про-

тив утверждения Белинского, что русские — глубоко атеистический народ, Толстой ставит одновременно восклицательный и вопросительный знаки.

Знак вопроса возникает и напротив пренебрежительной фразы Белинского о «каком-то Боге». «Какой-то Бог» — так мог написать только атеист, и оттого, я думаю, оценка Белинского как «бойкого представителя низменной точки зрения» толпы, данная в письме к Страхову, для Толстого 1909 года остаётся в силе.

Своё желание издать «Выбранные места» он осуществил. Они были напечатаны (с сокращениями) в «Посреднике» в 1888 году. Последний раз Толстой читал книгу Гоголя в феврале 1910 года.

Такова краткая летопись его отношений с этим замечательным творением Гоголя, для которого эта книга была переходом — переходом от первого тома «Мёртвых душ» к тому второму, который должен был вывести к «храму», как он именовал итог странствий Чичикова и своего собственного пути.

В письме к Жуковскому, опубликованном в четвёртом томе издания Тихонравова вслед за «Выбранными местами» и прочитанном в 1909 году Толстым, Гоголь говорит о себе: «В самом деле, не моё дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Моё дело говорить живыми образами, а не рассужденьем». Толстой решительно приветствует это заявление, помечая его и карандашной чертой и «NB».

Он подчёркивает и те места, где Гоголь сознаётся в неудаче с «Выбранными местами», с тем, что он «сбил с толку многих» и что этот урок ему на пользу. Толстой отчёркивает в этом письме огромный кусок, посвящённый возврату Гоголя к «милому искусству». «Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного прекрасного человека?» — спрашивает Гоголь и продолжает: «Как осмеивать исключенья, если ещё не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность выстроить наместо его новый. Но искусство

не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья... Искусство есть примиренье с жизнью!»

Идеал, прекрасный человек, примиренье с жизнью — это опоры и самого Толстого. Гоголевский выход из «Выбранных мест», выход, знаменующий собой попытку вернуться к искусству, но вернуться уже в ином качестве — может быть (судя по эпическому началу второго тома «Мёртвых душ»), в качестве писателя, чрезвычайно близкого Толстому, — вот чего не мог не понять Толстой, читая это письмо к Жуковскому.

Тут завершается его работа над книгой Гоголя, названного им «подвижником», ибо «Выбранные места» и есть подвиг — подвиг очищения и возвышения, к которому каждый день принуждал себя Толстой.

2002

ТРИПТИХ О БУЛГАКОВЕ
(*«Эмиграция в смерть»*)

1. Воробьёвы горы

В ноябре 2000 года мы снимали телевизионный фильм о Булгакове. Было пасмурно, дул холодный ветер и сеял последний — перед снегом — дождь.

Кроме знаменитой панорамы Москвы с Воробьёвых гор была видна Пироговская улица, почти что близкий Арбат и затерявшийся среди его крыш Нащокинский переулок, а на переднем плане — Новодевичий монастырь.

На Пироговке была одна из квартир Булгакова, в Нащокинском он скончался, а в ограде Новодевичьего похоронен.

К концу съёмок сумерки быстро перешли в вечер, и внизу засияла огнями Москва. А по левую руку от нас затеплились окна храма Троицы Живоначальной, воздвигнутого перед войной 1812 года. Храм этот замечателен тем, что в нём накануне совета в Филях молился Кутузов, испрашивая у Бога благословения на оставление Москвы.

Москва историческая невольно вторгалась в наш фильм. Пространство романов Булгакова благодаря этому расширялось и приобретало провиденциальный смысл. Построенные (я имею в виду «Белую гвардию» и «Мастера и Маргариту») по канве евангельского сюжета — и там и здесь это сюжет Апокалипсиса, — они, тем не менее, оставались прочно привязанными к русской истории.

Меня поразило, как контрастно расходятся сюжет исторический и сюжет литературный: молитва Кутузова на

Воробьёвых горах и прощание мастера с Москвой. Если Кутузов хочет оставить Москву для того, чтобы вернуться, то герой Булгакова, испытывая сладость освобождения, расстаётся с ней *навсегда*. Он стоит над обрывом, спускающимся к Москве-реке, и грозит городу, то сожалея, что покидает его, то радуясь этому событию. Правда, делает он это уже будучи умерщвлённым Азазелло. Маргарита и мастер в конце романа мертвы, и их бегство из Москвы — бегство на тот свет.

Налицо эмиграция мастера (о выезде из СССР мечтал и Булгаков), но эмиграция в смерть. Смерть развязывает все узлы, освобождает от страданий, она — единственный исход для тех, кто, как говорит автор романа, «совершенно ограблены».

Если последний роман Булгакова кончается смертью, то первый его роман «Белая гвардия» (1925) начинается с похорон матери. Мать, умирая, сказала детям: живите, а им пришлось «мучиться и умирать».

Прощание с нею происходит в церкви Николы Доброго, и это знак того, что Бог *спасёт семью*, хотя и здесь прольётся кровь, как предсказано в Апокалипсисе. И именно эту часть Евангелия процитирует в начале романа священник церкви Николы Доброго.

Божественное провидение всё же хранит семью Турбиных, в отличие от героев «Мастера и Маргариты» (1940), где нет семьи, нет детей, нет дома, а есть два одиноких человека, которых окончательно соединяет лишь смерть.

Впрочем, женское животворящее начало присутствует у Булгакова только в одном поколении. Продолжения рода нет. Мать в «Белой гвардии» — единственная женщина, у которой есть дети. Бездетны Елена Турбина, Маргарита, служанка Турбиных Аннушка (которая перешла в роман о мастере), разлившая на трамвайных путях подсолнечное масло, соседка Турбиных Ванда.

Это *истощение женского* в новейшей русской истории не случайно. Согласно преданию, Россия издавна считалась «Домом Пресвятой Богородицы», «необоримым Богородициным достоянием». Теперь Её Дом разорён, и женское ушло из него, как ушла воля к обновлению жизни.

В «Белой гвардии» есть один ребёнок — мальчик Петька. В финале романа он видит сон о солнце, о сверкающем солнечном шаре, который катится по зелёному лугу. В «Мастере и Маргарите» детей нет, и завершается он полётом над болотами, а на болоте, как известно, дом не построишь. Сам мастер в этом романе не имеет даже угла, ютясь то в подвальчике, то в палате сумасшедшего дома. Тот фантастический дом, в котором они с Маргаритой поселятся после смерти, хоть и украшен венецианским окном и вьющимся по стенам виноградом, дом не жилой, мёртвый дом.

«Белая гвардия», созданная молодым Булгаковым, несмотря на пролившуюся в ней кровь, — роман жизни, «Мастер и Маргарита» — творение отчаявшегося Булгакова, роман смерти.

Глядя на колеблющийся свет в окнах храма Троицы Живоначальной, на Смоленский собор за Москвой-рекой, где хранится чудотворная икона Смоленской Богоматери, я вспомнил икону, перед которой молилась в «Белой гвардии» Елена Турбина, прося Божью Матерь и Её Сына спасти умирающего брата.

И её молитва дошла по адресу: от неё протянулся «цепочный луч» прямо в сердце Елены, и Алексей Турбин, уже находившийся у порога смерти, выздоровел.

Какие же проникающие слова произнесла эта женщина, слова, на которые не могли не откликнуться Мать и Сын? Она сказала: «Все мы в крови повинны».

Осознание вины и покаяние — вот что побудило послать ей спасительный луч.

В «Мастере и Маргарите» нет Бога. Действие здесь происходит в городе, в котором, по уверению Берлиоза, живут одни атеисты. Когда Воланд, ознакомившись с этим тезисом, почти в испуге оглядывается по сторонам, то ему кажется, что в каждом окне он видит по атеисту.

Это его ужасает, но, с другой стороны, даёт ему такую власть над москвичами, которую не имеют ни НКВД, ни ЦК ВКП(б), ни сам Сталин.

Булгаков называет город в «Белой гвардии» Вавилоном. Но если следовать логике Апокалипсиса, то Москва, от-

куда подходят к Киеву красные части, не что иное, как очищенный от скверны Новый Иерусалим. Но в «Мастере и Маргарите» это такой же город блуда, обмана и насилия, управляемый не метафорической, а материализовавшейся нечистою силой.

Об этом говорит и попадающая в круг обзора с Воробьёвых гор московская топонимика. Отсюда виден пруд у стен Новодевичьего монастыря, который носил название Вавилон, сад при монастыре, тоже имевший это имя, а в версте от них, спрятанный ныне под землю, протекает ручей Вавилон, приток Москвы-реки.

Заколдованное место! Территория, где поэтический вымысел пускает корни в историю и головой упирается в небесный свод.

Жизнь Булгакова и его творения как бы оказываются в кольце символов и метафор, неумышленных намёков и совпадений, «заказанных» свыше, и замыкается это кольцо всё тут же, у подножия Воробьёвых гор, на месте его последнего успокоения. Сегодня над могилой Булгакова реют в московском воздухе кресты, блестят купола и оглашает окрестности колокольный звон.

В дневнике его жены Елены Сергеевны Булгаковой есть запись, сделанная в сентябре 1938 года. В тот осенний вечер компания, в которой были и Булгаковы, отправилась на Воробьёвы горы. «Впечатление такое, — пишет Елена Сергеевна, — что сейчас задохнешься — мгла, пропитанная запахом какой-то эссенции, очевидно, с какого-то завода. Красноватые тусклые огоньки внизу в Москве. *Страшно*» (курсив мой. — *И. З.*).

Такою увидел Москву мастер с высоты своего прощального полета. Такою она показалась и самим Булгаковым в эпоху ночных арестов.

2. Патриаршие пруды

Роман «Мастер и Маргарита» начинается на Патриарших прудах, то есть на бывшем Козьем болоте. Не зря Воланд является именно сюда, ибо болото — лучшее место

для чёрта, а его новое наименование — Патриаршие пруды — подаёт сигнал к спору о том, существовал ли Христос или не существовал. Два действующих лица этого пролога Бог и чёрт (а между ними человек) становятся завязкою драмы, весьма похожей на «Пролог на небесах» в гётевском «Фаусте», так часто поминаемом в обоих романах Булгакова.

Только тут не небеса, а Москва тридцатых годов. И свидетелем в защиту Бога (и его подлинного существования) выступает не Бог и не Божественное Писание, а их вечный оппонент — сатана. Он не только доказывает историческую подлинность Христа, но и чуть ли не действует по его воле, по крайней мере, по воле его литературного двойника Иешуа.

В Бога в «Мастере и Маргарите» на самом деле не верит никто. Ни Берлиоз, ни Иван Бездомный, ни буфетчик театра Варьете, ни его администратор Римский, ни Варенуха, ни Стёпа Лиходеев, ни председатель жилищного кооператива Никанор Иванович Босой, ни главный врач психиатрической клиники Стравинский, ни Аннушка да, пожалуй, и сам мастер и его подруга. Чёрт своими благодеяниями и им должен доказать, что Бог, от имени которого он тут распоряжается, реальность, а не миф.

«Умоли Сына своего, чтоб послал чудо», — просит Елена Турбина Богородицу. О таком же чуде молит и Маргарита, и оно посылается на землю в виде Воланда и его подручных. Мастер и Маргарита оправдываются: «Когда люди совершенно ограблены, они ищут спасения у потусторонней силы».

Только в одном романе эта сила — Бог, а в другом — чёрт.

В «Белой гвардии» все символы относят нас к христианской трактовке судьбы человека и истории. В центре романа, на Владимирской горке, возвышается фигура Святого Владимира, крестившего Русь. Святой Владимир держит в руках *крест,* но иногда игра света (он подсвечен прожекторами) превращает этот крест в *меч,* и тогда вспоминаются слова Евангелия о мече карающем.

Здесь же возникает в предсмертном сне Турбина *видение рая*, освещённого неземным голубым сиянием, здесь же дышит смрадом и *ад* — подземные этажи Города, где свалены переплетённые друг с другом мёртвые тела.

Больше всего поражает Турбина то, что в раю нашли прибежище вместе с белыми и красные. Он не может понять этой милости к убийцам и разрушителям, но Бог через вахмистра Жилина, сослуживца Турбина по полку, отвечает ему: «Все вы у меня... одинаковые, в поле брани убиенные».

Таков взгляд Булгакова 1925 года. Взгляд Булгакова 1940 года не таков. Здесь нет прощения, нет снисхождения к тем, кого в первом романе Булгаков называет «красными». Красные теперь — чума, недочеловеки и античеловеки, и лишь одна месть применима к ним. Отрывание голов, беспощадный, пожирающий их клетки рак, поджоги домов, в которых они обитают (выселив оттуда законных жильцов), — вот чего они достойны. Их надо в массовом порядке отправлять в сумасшедшие дома, как это случается с коллективом, поющим «Славное море, священный Байкал», или беспощадно раздевать догола на виду у всего мира, как это делает Воланд на сеансе чёрной магии в театре Варьете.

Первый роман Булгакова — роман покаяния и прощения, последний — роман «кровной обиды» (чувство мастера на Воробьёвых горах) и мщения. Тезис «Белой гвардии» — «все мы в крови повинны», антитезис «Мастера и Маргариты» — «все счета оплачены» (слова Воланда, подтверждаемые мастером).

Если в «Белой гвардии» даже богохульствующий в прошлом поэт Русаков, сначала наказанный дурной болезнью, прощён, то в «Мастере и Маргарите» меч опускается на головы всех, кто так или иначе повинен в страданиях мастера, в жестокости, алчности или политическом прелюбодеянии.

Наверное, оттого мастер, не противящийся этим расправам, не удостаивается в конце романа *света*, а обретает один *покой*.

3. Новодевичий монастырь

Именно здесь, где завершались съёмки нашего фильма и где божественное и человеческое, а также покой и свет тесно соседствуют, и настала пора расшифровать поэтические коды Булгакова, дающие ключ к высшей реальности, которая составляет основу, смысл и дальнюю перспективу его романов.

Начнем с метафоры «света». Свет у Булгакова — это и электрический свет под абажуром в доме Турбиных, и свет звёзд, свет солнца (по преимуществу в «Белой гвардии»), свет луны (по преимуществу в «Мастере и Маргарите») и, наконец, Божественный свет, свет исцеляющий, преображающий, возвращающий к жизни мёртвых.

В первом случае (электричество) — это свет механический, способный в любую минуту погаснуть и уступить место тьме, во втором (свет звёзд) — отдалённый и материальный (солнце), отражательный, мёртвый (луна), в третьем (речь о свете, идущем от Бога) — нематериальный, неиссякаемый, вечный.

Столь же многолика и метафора «покоя».

Есть покой дома, семейного согласия и любви (где двое вместе, там и покой), есть покой жизни и покой смерти или наркотического сна (Иван Николаевич Понырев в финале «Мастера и Маргариты»), покой «рая», несколько шаржированного и театрализованного Булгаковым. Свет, который светит в раю, особый свет. Как говорит о нём Жилин, он «вёрст на тысячу и скрозь тебя». И от него «такая радость, такая радость».

Строго в соответствии со «звёздным» замыслом и завершаются оба романа. В одном торжествует свет солнца (свет жизни), в другом — свет луны, этого фонаря смерти. В последних строках «Белой гвардии» на небе, «в неизмеримой высоте за... синим пологом («занавесом Бога») у царских врат служат всенощную», в эпилоге «Мастера» луна беснуется у постели бедного Понырева, и по лунному лучу уходит со своей собакой Понтий Пилат.

И ещё одна метафорическая пара соединяет жизнь и романы Булгакова. Это образы двух городов, один из ко-

торых (Киев 1918—1919 годов) — символ падения и гибели, другой (Москва 1930-х годов) — символ разбитых надежд. «Се творю всё новое» — сказано в Апокалипсисе. Именно «всё новое» и старались построить в России большевики. И что из этого получилось? То, что так зло описано в «Мастере и Маргарите».

Как выглядит Новый град, Град Бога в Евангелии? В нем нет ночи, нет «нужды ни в солнце, ни в луне, ибо светильник его Агнец». Он и есть «звезда светлая и утренняя», которая вечно стоит над горизонтом. Через сам град протекает «чистая и светлая река жизни», а посреди возвышается «древо жизни», дающее плоды двенадцать раз в году. И не смеет войти в этот град «ничто нечистое и ничто преданное мерзости и лжи». И не будет в нем крови пророков и святых и всех убитых на земле.

«И смерти здесь не будет, — говорит Апокалипсис, — ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо прежнее прошло».

Глядя на Москву XXI века, можно ли сказать, что прежнее прошло? Что настал конец истории, так как в Апокалипсисе сказано, что после сокрушения «зверя», то есть сатаны, «времени уже не будет»?

Неужели Москва-река, по поверхности которой плавают бензиновые пятна, есть «чистая река жизни»? И к нам в дома не проникает ничто преданное мерзости и лжи?

Прежнее не прошло. Бал-маскарад, устроенный Воландом в романе Булгакова, ныне бескровен (хотя кровь льётся уже не из-за идей, а из-за денег), но не менее страшен.

Вспомним предсмертные дни Булгакова. Шторы в квартире задёрнуты, на его глазах чёрные очки. Он ослеп. Его мучают боли. Он подзывает бессменно дежурившую возле него жену и говорит ей: «...лежу... *покой,* ты со мной, *вот счастье*». За два дня до кончины он просит её: «Подойди ко мне, я тебя поцелую и *перекрещу* на всякий случай» (курсив мой. — *И. З.*).

«Свету! Свету!» — вот чего просит он время от времени. И в первые мгновения после смерти жена видит в его глазах «изумление». Они как будто «налились необычайным светом».

Значит ли это, что Булгаков обрёл то, в чём отказал своему двойнику в романе?

Елена Сергеевна ещё долго писала ему письма, которые называла «письмами на тот свет». Сейчас они воссоединились и лежат рядом на кладбище *Новодевичьего* (последняя многозначащая метафора!) монастыря.

И над их «последним приютом» растут два деревца.

2000

БУЛГАКОВ И СТАЛИН

Заочные отношения между Булгаковым и Сталиным завязываются в конце двадцатых годов. Этому предшествует обыск на квартире автора «Белой гвардии». В 1926 году к нему являются сотрудники ОГПУ и, перерыв всё в доме, уносят с собой рукопись повести «Собачье сердце» и дневник Булгакова.

Позже — после неоднократных просьб вернуть отобранное — повесть и дневник будут возвращены, но травма от прямого соприкосновения с властью останется.

В феврале 1929 года Сталин в письме В. Н. Билль-Белоцерковскому назовёт пьесу Булгакова «Бег» «антисоветским явлением». Тут же будут сняты со сцены все его пьесы и запрещена к изданию его проза.

Разразится, как скажет сам Булгаков, «катастрофа».

В июле того же года он посылает письмо Сталину, где просит ходатайствовать перед Правительством СССР об «изгнании» его за пределы страны. Аргументация: «...не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться в пределах СССР мне нельзя, доведённый до нервного расстройства».

Сталин ему не отвечает.

В марте 1930 года Булгаков обращается к Правительству. Он говорит о невозможности жизни в стране, где его не печатают, не ставят и даже отказывают в устройстве на работу. «Я прошу *приказать* мне, — продолжает он, — в срочном порядке покинуть пределы СССР».

Надо сказать, что Булгаков играет с властью в открытую. Он не притворяется писателем, сочувствующим коммунистам. Он не хочет признать себя даже «попутчиком», как тогда называли литераторов — не пролетариев, готовых сотрудничать с режимом.

Ему советуют сочинить «коммунистическую пьесу», советуют смириться и покориться — он этого совета не слушает. Проклятье интеллигентности (которая есть прежде всего внутренняя независимость) мешает ему совершить этот, как он выражается, «политический курбет».

В письме приводится список разносов его произведений в печати. Газеты и журналы утверждают, что созданное Булгаковым «в СССР не может существовать». «И я заявляю, — комментирует он эти строки, — что пресса СССР совершенно права».

В его письмах «наверх» нет ни малейшего намёка на готовность оправдаться за свою неуступчивость. Он признаёт: а) что не может создать ничего «коммунистического»; б) что сатира потому и сатира, что автор не приемлет изображаемого; в) что представить себя «перед Правительством в выгодном свете» он не намерен.

18 апреля 1930 года в квартире Булгакова раздаётся звонок. Звонят из секретариата Сталина. Трубку берёт сам вождь. И тут же прицельно бьёт по совести: «Вы хотите уехать?» Затем извиняющеся-лицемерно спрашивает: «Что, мы вам очень надоели?»

Булгаков отвечает (и это его убеждение), что русский писатель должен жить в России.

Булгаков говорит, что он хотел бы работать в Художественном театре, но его не берут. «А вы подайте заявление туда, — отвечает Сталин. — Мне кажется, что они согласятся».

И — финал диалога по телефону. Сталин: «Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами». Булгаков: «Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить». Сталин: «Да, нужно найти время и встретиться, обязательно».

Диктатор забрасывает Булгакову мысль, что с ним, диктатором, можно вести цивилизованный диалог, что он, наконец, в состоянии понять творца.

Ложная мысль. Ложное внушение. Но Булгаков до конца своих дней будет искать встречи со Сталиным. Это станет наваждением его жизни.

Сталин, по существу, устраивает его на работу во МХАТ. Булгаков — ассистент режиссера, его не печатают, но он пишет — в том числе роман о дьяволе. И при этом постоянно возвращается к разговору со Сталиным, в котором, как ему кажется, он не сказал того, что нужно было сказать. Но Сталин больше не звонит, и в начале 1931 года Булгаков набрасывает новое письмо. «Мне хочется, — обращается он к Сталину, — просить Вас стать моим первым читателем».

Как известно, после 1826 года «первым читателем» (и цензором) Пушкина стал Николай I. Булгаков предлагает Сталину повторить эту схему отношений поэта с царём. Сталин не соглашается и на эту, почётную для него роль.

Пьесы Булгакова, если и ставятся, после двух-трех представлений снимаются с репертуара. 30 мая 1931 года он вновь пишет Сталину:

«С конца 1930 года я хвораю тяжёлой формой нейростении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я *прикончен*.

На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он всё равно не похож на пуделя.

Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе.

Злобы я не имею, но я очень устал. Ведь и зверь может устать.

Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.

Нет такого писателя, чтоб он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий.

А если настоящий замолчал — погибнет».

Письмо это открывается цитатой из Гоголя: «“...для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вда-

ли от неё” <...> ...заканчивая письмо, — добавляет Булгаков, — хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское моё мечтание заключается в том, чтобы *быть вызванным лично к Вам*... Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти».

Видимо, по звонку сверху разрешаются к постановке инсценированные Булгаковым «Мёртвые души» и возобновляется на сцене МХАТа пьеса «Дни Турбиных».

Не получая ответа лично от Сталина и прежде всего ответа на просьбу о встрече, Булгаков сосредоточивается на мысли об отъезде из СССР.

В 1933 году он сжигает часть романа о дьяволе (будущий «Мастер и Маргарита»), а в 1934-м разыгрывается спектакль с иностранными паспортами. Булгакова и его жену просят явиться в иностранный отдел горисполкома и заполнить нужные бумаги. Счастливые Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна спешат в Моссовет. Перебрасываясь весёлыми репликами, они заполняют анкеты. Чиновник, перед которым на столе лежат их паспорта, говорит, что рабочий день закончился, и он ждёт их завтра. Назавтра история повторяется: всё будет готово через день. Когда они приходят через день, им обещают: завтра вы получите паспорта. Но минует завтра и ещё завтра, и чиновник, как заведённый, произносит одно и то же слово: завтра, завтра, завтра.

Булгаков, который при известии, что их выпускают, восклицал: «Значит, я не узник! Значит, увижу свет!», понимает, что это очередная игра кошки с мышью. Продержав его несколько дней в состоянии неведения, власти присылают официальный отказ. «М. А., — пишет Елена Сергеевна, — чувствует себя ужасно — страх смерти, одиночества».

Паспорта получают выезжающие за границу артисты МХАТа, получает писатель Пильняк с женой. Перед Булгаковым опускают шлагбаум. «Я арестант, — шепчет он по ночам, — меня искусственно ослепили».

Едва поднявшись, он вновь беспокоит, теперь уже личного его тирана, письмом. Он рассказывает историю с паспортами и просит *о заступничестве*.

Никто и не думает ему отвечать.

Летом 1934 года открывается первый съезд советских писателей. Булгакова на нём не видно. Ему звонит драматург Афиногенов: «Михаил Афанасьевич, почему на съезде не бываете?» Булгаков: «Я толпы боюсь».

А в стране начинаются аресты и расправы. Как жил Булгаков в эти годы? Что думал? Что перенёс? «Мы совершенно одиноки, — записывает в дневнике Елена Сергеевна, — положение наше страшно». Булгаков обречённо говорит: «Я никогда не увижу Европы». Он боится ходить по улицам. И вновь начинаются «мучительные поиски выхода», и вновь всплывает уже нелепая, кажется, надежда: «письмо наверх».

Один из друзей семьи, человек, искренне любящий Булгакова, советует ему: «Пишите агитационную пьесу... Довольно. Вы ведь государство в государстве. Сколько это может продолжаться? *Надо сдаваться, все сдались.* Один Вы остались. Это глупо» (курсив мой. — *И. З.*).

Но волк не может стать пуделем. Только если пудель этот — не Мефистофель или не герой нового романа Булгакова Воланд, призванный в Москву тридцатых годов для того, чтоб рассчитаться с советскою нечистью.

1938 год. Булгаков в очередном письме к Сталину заступается за драматурга Н. Эрдмана. Сам покалеченный, «приконченный», он просит за своего коллегу, который три года провёл в ссылке в Сибири и не может вернуться в Москву.

Потенциальный «первый читатель» Булгакова молчит. Правда, автору письма делают послабление: предоставляют место либреттиста в Большом театре. Здесь весной 1939 года на спектакле «Иван Сусанин» Булгаков *видит Сталина* в царской ложе.

Он к тому времени уже задумывает «Батум» — пьесу о молодом Иосифе Джугашвили. Отчаявшись что-либо поставить на сцене из того, что ему дорого, Булгаков делает этот шаг навстречу Сталину как попытку всё же вызвать его на разговор.

Попытка проваливается.

Вначале все театры горят желанием поставить пьесу о

Сталине. МХАТ готов заключить договор, звонят из Воронежа, Ленинграда, Ростова. 1939 год — год шестидесятилетия вождя, и все хотят «отметиться» да ещё чем — пьесой Булгакова!

Телефон в его квартире не смолкает.

В августе группа режиссеров и актеров, участвующих в постановке «Батума», отправляется в Грузию, чтоб ознакомиться с местами, где происходит действие пьесы. Выезжают туда же и Булгаков с женой.

На станции Серпухов в вагоне появляется женщина-почтальон и, войдя в купе Булгаковых, спрашивает: «Кто здесь Бухгалтер?» Так из-за неразборчивости на телеграфном бланке произносит она фамилию Булгакова. Тот читает: «Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву».

Сталин наносит ему последний удар. «Люся, — скажет Булгаков жене, — он подписал мне смертный приговор».

Что стало причиной запрещения пьесы? Никаких прямых свидетельств на этот счёт нет. Кроме фразы Сталина, сказанной Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко: пьеса хорошая, но ставить не стоит. Не испытывал ли он сладострастия, сначала заставив Булгакова написать о нём (то есть покориться), а потом не приняв этой «сдачи» в расчёт?

В Туле Булгаковы садятся в машину и возвращаются в Москву. Нанятый ими ЗИС мчится с огромной скоростью. «Навстречу чему мы мчимся? — спрашивает Булгаков. — Может быть, навстречу смерти?»

Через три часа они входят в свою квартиру. Булгаков просит задёрнуть шторы. Свет его раздражает. Он говорит: «Здесь пахнет покойником».

Тишина мёртвая. Телефон не звонит.

Раздражение от света — симптом быстро развивающейся болезни. Булгаков начинает слепнуть. Шок, пережитый им в Серпухове, есть начало его конца.

В октябре он пишет завещание. 1940 год встречает не с бокалом вина, а с мензуркой микстуры в руке. 17 января в открытую форточку на их кухне влетает синичка. Плохая примета.

Группа актёров МХАТа пишет письмо «наверх» с прось-

бой разрешить больному выехать на лечение в Италию. Только крутой поворот судьбы, утверждают они, поворот к радости способен спасти его.

Булгаков, чтоб забыться, учит итальянский.

Накануне смерти его посещает генеральный секретарь Союза писателей А. Фадеев. Булгаков, когда тот уходит, говорит жене: «Больше его ко мне не пускай».

Сам он уже в чёрных очках. Ничего не видит. Не встаёт.

10 марта 1940 года в 16.39 Булгаков умирает.

В тот же день в его квартире раздается звонок. Звонят из секретариата Сталина.

— Что, товарищ Булгаков умер?

— Да, умер.

И на другом конце провода кладут трубку.

В 1946 году вдова Булгакова обращается с письмом к Сталину и просит ходатайствовать об издании хоть небольшого сборника прозы мужа. Но если «первый читатель» Пушкина, после смерти поэта взявший на себя заботы о его семье, совершает человеческий поступок, то тот, аудиенции у которого безрезультатно добивался один из лучших писателей XX века, до последнего дня своей жизни не простит мастеру — чего, спросим мы, таланта, непокорства, благородства? Всего вместе, и потому книги Булгакова начнут свое движение к читателю лишь по отбытии на тот свет «кремлевского горца».

И то не сразу.

2000

СОЛЖЕНИЦЫН И «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»

Безусловно, мы имеем дело с весьма далёкими друг от друга писателями. Солженицын — пророк-обличитель, склоняющийся к сатире. Гоголь — комик, к тому же с сильным религиозным подтекстом. В «Выбранных местах» это уже не подтекст, а открытое прокламирование христианской точки зрения на жизнь, на людей, на государственное устройство и будущее России. Солженицын, кажется, исповедует ту же веру, но она окрашена в тона мщения, неуступчивого, как и зло, которое он нацелен сокрушить.

Но есть и одно важное сближение. И книгу Гоголя, и публицистику Солженицына (а о ней сейчас речь) можно отнести к типу «поведенческой литературы», в которой идеал автора и его личная жизнь не расходятся, а, наоборот, впрямую зависят друг от друга.

Если Гоголь утверждает, что «нельзя повторять Пушкина», ибо «христианским высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт», это не декларация, а его личное поведение. Если Солженицын пишет, что надо «жить не по лжи», то он так и живёт. И Гоголь, и Солженицын этические максималисты, и без этой максимы не мыслят себе писательства.

Гоголь пишет: я не в состоянии «писать мимо себя».

«Мимо себя» не может писать и Солженицын.

Роднит их и пророческое начало. Они смотрят на изящную словесность как на инструмент влияния, способный

не только «обустроить Россию», но, быть может, и изменить ход истории. В книге «Бодался телёнок с дубом» у Солженицына вырывается признанье: «Я чувствую, что делаю историю!»

Христианство Гоголя и Солженицына — разное. Сказывается отличие эпох, отличие в опыте, наконец, отличие в природе таланта. Сто с лишним лет, отделяющих Солженицына от Гоголя, это годы деформации религиозного чувства и его почти невозвратных потерь.

Гоголь; безусловно, романтик (если иметь в виду его отношение к целям искусства), Солженицын тоже не материалист, но и не романтик, если только не существует романтизм мщения.

Желания суда над людьми, а тем более наказания у Гоголя нет. *У Гоголя нет врагов, у Солженицына есть враги.*

Суровые нарекания, которые Гоголь раздаёт своим адресатам, он всё же раздаёт *друзьям.* Это могут быть и его коллеги, его близкие, но им может стать и безвестный читатель, в котором Гоголь видит заблуждающегося собрата, а не противника. Даже падший человек для него «брат», что же говорить о тех, с кем он просто расходится во мнениях.

Конечно, середина XIX века («Выбранные места» вышли в свет в 1847 году) сильно отличается от середины XX (время появления писателя Солженицына). Как ни прохладно приняли книгу Гоголя при дворе (он стал раздавать советы всем сословиям, а это мог делать только царь), автора не отправили в тюрьму, не выслали за пределы России. То ещё было *время русских Афин*, когда почти всё, что писалось, находило издателя. Гоголевский «Ревизор» прошёл через цензуру за три дня и беспрекословно разрешён к постановке. А «Мёртвые души» писались на царские вспомоществования: и царь, и наследник престола платили автору пенсион.

Ожесточение между властью и обществом оформилось позже, а ко времени Солженицына приобрело характер обоюдной ненависти, что не могло не сказаться на отношении к власти и её людям со стороны автора «Архипелага ГУЛАГ». Речь шла уже не об исправлении какого-

нибудь нерадивого губернатора или помещика, а о переделке государства.

Прощение, к которому постоянно призывает Гоголь в «Выбранных местах», не стоит у Солженицына в списке добродетелей, поскольку оно, по его мнению, лишь потакает злу.

Гоголь зовёт грешных и праведных собраться в один народ — собраться, «как русские в 12 году», Солженицын проводит непроходимую межу между праведным и грешным и заключает это разделение афоризмом: «Волкодав прав, людоед — нет».

Какова гоголевская философия относительно праведных и грешных? Это философия спасения. «Полюбите нас чёрнинькими, а белинькими нас всякий полюбит» — вот её кредо. Гуманизм XIX века ещё верит, что человек, даже если этот человек плут Чичиков, способен спастись. Для «волков» Солженицына такого шанса нет. Если волкодав прав, то всякий волк есть преступник и обречён на уничтожение. С ним церемониться нечего. Он *не имеет права* жить, он должен быть истреблён.

Но, если расширить метафору с волком и волкодавом, приблизив её к метафоре Гоголя, то волк — тот самый «чёрнинький», которого надо не только пожалеть, но и полюбить. И это гораздо труднее, чем любить «белинького», то есть безвинного.

Книга Гоголя, несмотря на содержащиеся в ней провалы (советы губернаторше, советы жене и мужу, советы помещику), а порой и приступы гордыни — глубоко христианская книга, причём христианство её не книжно, не церковно даже (хотя Гоголь чтит Церковь), а исходит из глубины сердца. Недаром Толстой назвал «Выбранные места из переписки с друзьями» «лучшим произведением сердца» Гоголя.

Чтя Церковь, Гоголь, кажется, поднимается над её правами, заметно урезанными ещё Петром I, и говорит: «...следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт».

Такова главная идея его книги. Это и путь спасения отдельного человека, и путь спасения общества. Другого

пути совершенствования нет. Предлагая ближе ввести Христов закон в семейственный и государственный быт, Гоголь опирается на давнюю русскую этическую традицию: если закон не выполняется, то надо на его место поставить совесть. Если нет страха перед законом, пусть преступника, грешника, заблудившегося сдерживает страх перед Богом. Только этот страх способен связать руки злу.

Для писателя XX века это непозволительный идеализм. Утопическое упование, которому не суждено сбыться. Можно ли верить в спасение через совесть, если она столько раз была оболгана? Можно ли верить, что проснувшийся в человеке стыд изменит лицо общества?

Солженицын в это не верит. Его совет на фоне гоголевских максим выглядит достаточно скромно: «Жить не по лжи».

Жить не по лжи — значит, по крайней мере, не холуйствовать, не славословить власть, молчать. Молчание сохраняет душу. Молчание — и пример. Если принцип молчания распространится в народе, то эффект будет тот же, на который возлагает надежду Гоголь.

И вновь — сближение, и вновь поляризация таких близких, кажется, установок. Жить не по лжи — по существу, парафраз девятой заповеди «Не произноси ложного свидетельства» — для Гоголя лишь часть программы спасения. Молитва, самоограничение, участие в делах государства («жить не по лжи» этого не предусматривает), собственное совершенствование — вот камень, на котором можно воздвигнуть — уже в масштабе России — общее совершенство.

Этический максимализм Гоголя и этический максимализм Солженицына столь же несхожи, как и их опыт. Вектор вины у Гоголя направлен *внутрь*, на душу каждого (и в первую очередь на собственную душу), «желание быть лучшим» он готов предпочесть творчеству.

Критика в «Выбранных местах» устремляется на самого автора, у Солженицына — *вовне*, на систему, народ, общество. И здесь пролегает межа, разделяющая не только наших героев, век XIX и век XX, но старый и новый гуманизм.

Громы и молнии Солженицына обрушиваются на головы «чёрниньких». Он как Христос, изображённый на стене Сикстинской капеллы в Риме, рубящим жестом отправляет грешников в ад. На фреске Микеланджело Богоматерь, находящаяся рядом с Сыном, с горечью отворачивает от Его гнева лицо.

Гоголевский жест смягчён, не очень уверен в себе и если, забывшись, вдруг обретает твёрдость, то тут же следует извинение за резкость, за обиду, которую он может нанести. Публичное сомнение в своей правоте — постоянная нота в «Выбранных местах». У Солженицына оно отсутствует.

Сомнения относительно себя редко посещают его, и сила произнесённых им пророчеств таится здесь — в опоре на несомненность их правоты.

Гуманный XIX век с его колебаниями, неуверенностью и евангельским правилом — выслушивать *всех* — и помыслить не мог, что истина, правда и честность приобретут в XX веке черты нетерпимости.

После издания «Выбранных мест» Гоголь не раз был вынужден объясняться с публикой насчёт их содержания (см. «Авторскую исповедь»), не раз признавать, что «размахнулся в ней эдаким Хлестаковым». Можно ли ждать подобного покаяния от Солженицына?

Вот его «Письмо вождям». Мало того, что в нём заключены небывалая дерзость и оскорбление, ибо вожди названы «слепыми поводырями слепых», он рассылает это письмо по множеству адресов. Солженицын знает: «слепые поводыри слепых» ему не простят. Так стоит ли при этом извиняться? Стоит ли виниться в своей «грубости»?

Он, как лётчик во время войны, идёт на таран. И до покаяния ли тут?

Гуманное воспитание предполагает наличие гуманных воспитателей. Русские цари не стыдились спрашивать совета у Карамзина, у Жуковского, у Пушкина. Карамзин подаёт царю «Записку о древней и новой России», в которой нелицеприятно отзывается о его реформах, — и остаётся придворным историографом. Пушкин по просьбе императора пишет записку «О народном воспитании», скеп-

тически оценивающую педагогические усилия правительства, — и остаётся на свободе.

А Василий Андреевич Жуковский, который никогда не был замечен как апологет трона, становится воспитателем наследника, и выбор этот делает не кто иной, как отец цесаревича.

У Гоголя никто не спрашивает советов, а он их без спроса даёт. Помещику советует, как управляться с крестьянином, жене — как руководить мужем, губернатору — губернией, а царю — Россией. В последнем случае он ставит себя над самодержцем, говоря, что тот мало похож на «Кормщика Небесного». Гоголя за это, конечно, не хвалят, выбрасывают из его книги главы и абзацы, но собрание сочинений издавать разрешают, а в выданных на время его путешествия в Святую Землю бумагах рекомендуют русским консульствам оказывать подателю сих бумаг всяческое содействие.

И русские консульства в Константинополе и Бейруте работают на творца «Выбранных мест».

Солженицын играет с властью, подбрасывает ей смертельные ловушки, ничуть не считая это коварством и нерыцарским поведением. Его принцип — поступать с властью так, как она поступает с нами. Какое может быть рыцарство у того, кто ни за что брошен за колючую проволоку?

Сам сильный человек, Солженицын делает ставку на сильных, слабых (как в «Матрёнином дворе») он готов жалеть, но для борьбы они не годны: чересчур простодушны, чересчур мягки.

Тут нужны волкодавы, а не домашние незлобивые псы.

«Магический идеализм» Гоголя, надеющегося на безраздельное влияние слова литературы, ему чужд. Если Гоголь способен поверить, что выход «Одиссеи» Гомера в переводе Жуковского может изменить жизнь России, то Солженицын под такой утопией никогда не подпишется.

Даже его антипод Варлам Шаламов свои «Очерки преступного мира» заканчивает строками: «Карфаген должен быть разрушен! Блатной мир должен быть уничтожен!»

И никакой фольклор, воспевающий любовь воров к

матери, верность «кодексу чести» и так далее, не могут его обмануть. При ближайшем рассмотрении всё это ложь, игра и кощунство. Возможно ли нелюдей перевоспитать в людей, вернуть им человеческое лицо? Шаламов отвечает: нет. «Чёрнинькие» никогда не превратятся в «белиньких». Они «чёрнинькие» навечно.

Таков вывод гуманизма XX века, в котором всё более утрачивается христианское начало. Это уже не религия спасения, а религия стоицизма и выживания. Её породили неведомые эпохе Гоголя обстоятельства.

Великие страдания, которых не в состоянии был предугадать Гоголь, запятнали и оболгали «святые чувства», ожесточив их. От смирения они перешли к самообороне и превентивному противодействию злу. Коварство, совершённое по отношению к врагу, уже не коварство. Это тактика боя, обход, манёвр. И работают они все на добро.

Светомаскировка, дезориентация противника заимствованы у войны, но мы жили — да живём и сейчас — в военное время.

Книга Гоголя — детство гуманизма с его верой в возможность мирного исхода. С его политической наивностью. Солженицын — закат наивности и невинности, чистосердечия и суровости взгляда, устремлённого прежде всего на себя. Тут кристаллизация однозначности: «волкодав прав».

Смирение, подчинение (всё, что ни делается, всё от Бога) здесь не действуют. Обличительная интонация «Выбранных мест» сдвигается в сторону «Плача Иеремии», завершающего, как известно, его разоблачения. С ним рифмуется заключительная глава книги Гоголя «Светлое воскресение». Солженицын — Иеремия гневный, Иеремия *до «Плача»*, бросающий в лицо соотечественникам: «...мы лежим в стыде своём, и срам наш покрывает нас» (гл. 3, ст. 25), Гоголь — Иеремия, слова которого выбиты на его надгробной плите: «Горьким словом моим посмеюся». Слово горькое, но при нём смех, а смех — смягчение, умиротворение, милосердие. Таков, по крайней мере, смех автора «Ревизора».

Стих из Иеремии, выбитый на надгробной плите Гого-

ля, взят из главы 20-й, ст. 8-й. В массовом издании Библии он звучит несколько иначе: «Ибо лишь только начну говорить я, — кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние».

Мы знаем, что *книга исповеди* Гоголя была осмеяна многими из его современников. И нужно было пройти полстолетию, чтоб Лев Толстой, в который раз перечитав её, сказал: «Я мечтаю издать выбранные места из переписки в “Посреднике”, с биографией. Это будет *чудесное житие* для народа».

Над проповедью Солженицына тоже начинают посмеиваться. Мы забыли, что за каждую строку этой проповеди заплачено жизнью. Но «крик о насилии», который раздался так громко с её страниц, ещё вернется к нам, а если не к нам, то к нашим потомкам. И они, как и благодарный Толстой, тоже, может быть, назовут жизнь Солженицына «житием». Конечно, более суровым и строгим, чем «житие» его великого предшественника.

Но не Солженицын будет в том повинен.

В Ветхом Завете последним авторитетом было слово Господне. В Новом Завете главное заключается не в речах Христа, а в Его муках, смерти на кресте и воскрешении. В них Царство Божие явилось нам во плоти.

Слово Гоголя и слово Солженицына подтверждены их муками. Один вынес их из своей души на свет, другой, испытав их в реальности, внёс в свою душу.

Что за этим последовало, я уже сказал.

2005

Часть II

АКВАРЕЛЬ С МАКАМИ

НЕВЕСЁЛЫЙ СОЛДАТ

Три письма

Умер родной человек. Он не был мне родственником или другом. Он был писатель, который писал *для всех*, и когда умирает такой писатель, то из жизни уходит твой близкий.

Каждую его новую вещь я читал как последнюю. Я знал, что он тяжело болеет, он тяжело болел уже тогда, когда мы познакомились.

А это был 1986 год. Только что вышла его повесть «Печальный детектив». Я написал о ней статью. Это была моя первая статья об Астафьеве.

Он откликнулся.

Пусть читатель познакомится с этим письмом (я его печатаю впервые):

«Статью в “Новом мире” прочёл перед самым отлётом в Эвенкию. Из пяти дней, в тайге проведённых, погожих набралось два, так что было у меня время полежать на тесаных жердях в охотничьей избушке, посидеть у костра, послушать тишину и подумать торопливо («не» забыл поставить! — *И. З.*) — а больше — сидеть просто так, ни о чём не думая и радуясь тому, что есть ещё “углы” на земле, куда можно спрятаться со своим незрелым, всё ещё детским горем* (ибо там, перед величием пространств и необъятности тайги ощущаешь себя дитём. Чьим? Наверное, дитём подлинной, единственной матушки — Земли!).

---

* У Астафьева в тот год погибла дочь.

Последнее время мне редко удаётся бывать в тайге — больны лёгкие (правое под пневмонией, левое — ранено), и меня ведёт в слезу. И случалось, плакивал я, сидя у костра, от какой-то необъяснимой, сладко-горькой печали. Так вот, в 39-м году, будучи на первой в жизни Новогодней ёлке, бедной, детдомовской, которая, конечно же, показалась сказочно-роскошной, в разгар веселья и праздника, я горько расплакался. Меня почему-то дружно все начали утешать, а многие сироты тоже расплакались, и не от того, что их родителей расстреляли в Медвежьм логу или сделали сиротами другими, более "спокойными" средствами, плакали они совсем по другим причинам, которые я и поныне не возьмусь объяснить до конца, ибо они до конца и не объяснимы...

...За полдня поймал я на гибкую бамбуковую удочку и на примитивные мушки-обманки ведро хариуса и ленка, поймал бы и ещё, да речка вздулась от дождей, и эвенкийский бог сказал: "Хватит! Вас много таких азартных и жадных!.."

Скажете: "Всё жамини да жамини, а о моей статье ни полслова!"

Понравилась мне статья, понравилась! Вы пока более других рецензентов приблизились к пониманию того, что я хотел сказать, сам порой не понимая того, как это сделать и о чём толковать с народом, потому как и народ этот уже шибко отдалился от моего разумения, а, может, и я от него.

Хожу иной раз по родному селу, ищу чего-то, но ни села, ни себя в нём найти не могу. Увижу на скамеечке тетку Дуню-Федораниху и брошусь к ней, как к огоньку бакенскому на чужой, на каменной реке. Ей 84 года, жива, подвижна, растит для сыновей двух поросят, обихаживает избу, огород, а когда ещё и с котомкой "ягодёнок" иль "лучишка-чесночишка" — на рынок подастся. Чего уж там наторгует — секрет большой, но с народом пообщается, с бабёнками повидается — и довольнёхонька! А там, глядишь, на воскресенье сыновья да внуки приедут, работающие на каких-то ей непонятных "призводствах", да и им самим едва ли понятных. С горы Колька спустится

(там у нас Молодёжный поселок), путний мужик, у путней матери вырос (папа-то был в галифе, командовал да хворал, а чаще чужих бабёнок щупал, вот и помре рано от грехов мушшынских и блуду общественного), а тетка Дуня жива и почти здорова, а Колька ей помощник хороший, душе поддержка и радость. Всё умеет по двору и по специальности, здоров, красив, приветлив. Я и полюбуюсь ими "издалека", да и укреплюсь душевно. А то хоть пропадай, особливо, когда тебя "мужественно" поддерживают русские мыслители по углам Кремля (речь идет о съезде писателей и жестокой критике «Печального детектива». — *И. З.*), за колоннами, либо в сортире...

Завтра еду в деревню. Заросло там всё в огороде да и высохло, поди-ка. Июль у нас простоял жаркий. Люблю свою деревню и такой, какая она есть — придурочно-дачную, раскрашенную, как современная буфетчица, дурную и стяжательную, как официантка из ресторана "Вырва" (так "Нарву" звали, что возле "Литературки"). Но другой у меня нет да и не надо мне другую. Какую бог дал и какой она меня родила — такими и будем доживать и помирать вместе.

А "Печальный детектив" я хотел сделать на другие мои вещи не похожим. Это я помню отчётливо, потому как и все другие мои вещи мне не хотелось похожими друг на друга делать. Я по природе своей выдумщик, "хлопуша", как бабушка говорила, и мне хочется без конца выдумывать, "сочинять". И это увлекает меня прежде всего, а дальше уж объяснимые вещи начинаются — привязка к земле, читатель-писатель, искушенный формалист и опытный самоцензор, хитрован-редактор, приспособленец-гражданин, нюхом охотничьей лайки-бельчатницы берущий "поверху", т. е. умеющий улавливать дух времени и веянье ветров, ну, а потом труд, труд, труд, когда голова и задница соединены прямой кишкой.

Всё это не унижает моего труда и не убивает во мне моего удивленья и восхищенья им. Где-то у Вали Распутина, по-моему... сказано, что ему кажется, что в нём есть другой человек. А мне, думаете, не кажется? И эти два человека противоборствуют всё время: один — сирый, при-

давленный страхом и временем, склонный к постоянному самоуничижению, а другой — свободный (чаще в мыслях и на бумаге), упрямый, понимающий и чувствующий больше и тоньше, чем позволяет ему выразить тот, первый... И сколько ж внутренних сил и напряжения ушло и уходит на противоборство этих двух человеков?!

Вы скажете, у Гоголя было так же, и Николай Васильевич маялся. ...Да ведь люди-то в Николае Васильевиче размешались под стать ему — огромные, с огромными, пространственными мыслями, неизмеримо-космическим обонянием, даже в мерзостях своих (вот мы по ничтожеству нашему... и выставить себя на свет боимся!), и муки у Николая Васильевича были не чета нашим, огромные муки, нами до сих пор не понятые, не постигнутые оттого, что ДО ГОГОЛЯ МЫ НЕ ВОЗВЫСИЛИСЬ. Ни время, ни образованность наша (скорее, полуобразованность), ни, наконец, строение души нашей не позволили нам сблизиться с такой "материей" вплотную, хотя шаг вперёд и сделан, Гоголя начинают читать, но далеко ещё до прочтения этого Величайшего из гениев, до счастья проникновения "в него" или хотя бы почтительного (не фамильярного, как зачастую случается ныне) сближения с ним.

Ну, вот вроде и выговорился. Оттого и не писал до поездки в Эвенкию, что сил на разговор-то не было и желания браться за ручку — тоже...

Ваш Виктор Астафьев.
1 августа 1986 г. Красноярск».

Меня сразу зацепило, что Астафьев — детдомовец. Детдомовец детдомовца видит издалека: в годы войны и я был им.

Что такое человек, выросший в детдоме? Это дитя, которому недодано родительского тепла. И он ищет его повсюду, ищет до последнего. И, найдя, покоряется ему.

Вот почему Астафьев — кажется, кондовый реалист — так любил романтиков, зачитывался «Манон Леско». В нём жил мальчик, которого оторвали от материнских рук. Даже на исходе дней, когда отчаяние, кажется, овладевало им, проза его лучилась и грела.

Загнанный, как и все мы при советской власти, в во-

льер, он таил и копил силу для броска. И при первых кликах свободы обрушил ненавистную ограду.

Но и ещё раньше, когда собратья его мирно паслись на казённой травке, он публично назвал Солженицына великим писателем. Это был поступок, равный подвигу.

Он высоко ставил имя Константина Воробьёва, в то время почти не печатаемого, писавшего о плене и не угодного верхам. Когда в 1988 году мы сняли фильм о Воробьёве и показали его по ЦТ, я получил от Виктора Петровича открытку:

«Спасибо за передачу о Косте, за память его горькую и чистую. У нас передача шла в полдень, в субботу. Мне уже звонили “прозревшие” и дорогие читатели наши.

Сам я всплакнул не единожды, глядя и слушая телевизор. ...Спасибо ещё и за то, что цензуру вслух назвали цензурой, трагедию — трагедией, а мерзавцев — мерзавцами... Вина всех и моя перед покойным не облегчилась, но на душе лучше стало.

Кланяюсь, В. Астафьев».

Наша последняя литературная встреча состоялась в 1999 году. Астафьеву исполнилось семьдесят пять лет. Я написал и напечатал в «Вёрстах» статью о нём, которая называлась «Невесёлый солдат». Он отозвался письмом:

«Дорогой Игорь!

Твои ко мне весточки всегда приходят ко времени и в утешение. Это свойство доброй, сиротства хватившей души.

Лежу в больнице, с инфарктом, к которому долго шёл и дошёл-таки, да и жизнь к нему готовила. При наличии совершенно одряхлевших лёгких и ещё многих прохудившихся органов сердцу-то бы и ни к чему хредить, но что сделаешь — года!

Статейку ты написал славную, спокойную и ёмкую. Спасибо! Передай поклон Олегу Попцову — он есть большой молодец, коли в такое время пытается что-то издавать полезное.

Надеюсь к концу месяца выбраться из больницы... а пока ничего не пишу... Но надеюсь ещё сесть за стол, хотя всё более отчётливо сознаю бесполезность этого занятия. Но коль иного ничего делать не умею, а без работы

нечем спасаться от гнетущего чувства уходящей жизни и всё более пространного душевного одиночества.

Может, в октябре соберусь в подмосковный санаторий, в сухом месте стоящий, так позвоню тебе и позову в гости.

А пока обнимаю тебя братски и желаю не хворать.

Преданно твой Виктор Астафьев.
17.7.99. Красноярск».

Вот и всё. Вот и вся история.

У него было большое сердце. Но и большое сердце исчерпывает свой ресурс.

2001

ЗНАК БЕДЫ

Три встречи с Василём Быковым

Василь Быков, пожалуй, единственный из крупных писателей, который в годы торжества демократии покинул свою страну. Лучший из лучших, он должен был искать покоя на Западе, хотя, уверен, жизнь там не принесла ему облегчения.

Последний раз я видел Быкова по телевидению: ему вручали премию «Триумф». Никакого ликования на лице, одна усталость. Да и внешне он так изменился, что, если б не назвали его фамилии, я бы не узнал его. Чувствовалось, что ему неловко брать эту премию из рук Березовского, но нужда, наверное, пересилила отвращение.

На экране был старый и больной человек, не имеющий ничего общего с тем Быковым, которого я знал, — прямым, высоким, с мальчишеской чёлкой, спадавшей на лоб, и открытой, доброй улыбкой.

Именно с таким Быковым я познакомился в «Новом мире» в конце шестидесятых годов. Нас представили друг другу, и он со своей высоты пророкотал: «А я вас читал».

Что же было говорить обо мне? Уже вышли в свет «Мёртвым не больно», «Круглянский мост», и имя Быкова встало в один ряд с именами Виктора Некрасова и только что пришедшими к нам Ремарка и Хемингуэя. Быков был для меня сама честь и честность, а гнусные статьи против него, утверждавшие, что он позорит войну, чернит советского воина и так далее, лишь прибавляли ему славы.

Мало того, что он смотрел на войну как на преступле-

ние (причём с обеих сторон), что без страха писал о крови, грязи и предательстве, в его повестях, как сердце в грудной клетке, бился вопрос: можно ли купить жизнь, заплатив за неё совестью, или война всё меняет, всё оправдывает, всё покрывает? Уместен ли в её условиях нравственный императив?

То был коренной вопрос не только войны, но и жизни, и потому повести Быкова попадали в самый центр споров о прошлом и настоящем, разгоравшихся как между целыми течениями, так и в душе каждого мыслящего человека.

«Новый мир», где постоянно печатался Василь Быков, превратился, примерно, на десять лет — с 1962-го по 1971-й в литературную Брестскую крепость, которую не могли взять ни КГБ, ни КПСС. Осада, повторяю, длилась много лет, и всё это время повести Быкова были, что называется, на передовой.

Как человек, исповедующий этический максимализм, Быков строил свои повести по принципу окончательности: в финале не должно было оставаться никакой неясности, невыясненности. Конец ознаменовывался расставлением всех точек над «i». Меня не страшил его максимализм — пример бесстрашия, который Быков подавал как писатель, не имел для меня альтернативы.

Его сюжеты выстраивались по одному и тому же чертежу: человек попадал в беду (бедой была прежде всего война), беда или ломала его, или он, не подчинившись ей, выходил на свет, как не сдавшиеся защитники Брестской крепости. Они даже не выходили — их выносили оттуда на носилках.

Маятник сюжета раскачивался от точки к точке. И на одном конце этого полукруга твердо обосновывалось благородство, на другом — неминучая подлость.

Третьего дано не было.

Так выстроена, может быть, и самая знаменитая повесть Быкова «Сотников». В рукописи она носила название «Ликвидация». С одной стороны, название это соответствовало определению акта казни, с другой — характеризовало предательство Рыбака как самоликвидацию.

* * *

Наша вторая встреча с автором «Сотникова» произошла в Ялте, в Доме творчества писателей, осенью 1972 года. Мы приехали туда почти одновременно и оказались за одним столом в столовой. Быков мало изменился, разве слегка отяжелел, лейтенантская стройность и выправка исчезли, а улыбка на его лице, так красящая его облик, появлялась всё реже. Появились паузы молчания и долгого погружения в себя.

Мы вскоре стали называть друг друга по имени, не переходя, впрочем, на «ты». Дня через три после его приезда он пригласил меня к себе в номер и показал нечто такое, что сразу заставило меня понять, как нелегко ему живётся.

Несмотря на то, что был день, в номере горела настольная лампа. Быков подвёл меня к ней, посадил за стол и положил в круг света, падавший от лампы, почтовый конверт.

«Вот видите, — сказал он, — это письмо я получил сегодня». На конверте был написан адрес Дома творчества и фамилия получателя: адресован он был В. Быкову. Обратного адреса и фамилии отправителя на нем не значилось.

Василь перевернул конверт и попросил внимательно рассмотреть его изнанку. Я долго всматривался, но ничего обнаружить не смог.

«А вы смотрите, смотрите!» — настаивал он, и я, поднесши конверт ближе к глазам, увидел, что его верхняя часть — та, которою заклеивают письмо, выглядит несколько не так, как нижняя. Вверху бумага показалась мне шершавее, тогда как низ конверта был гладкий.

«Это значит, — пояснил Быков, — что письмо перлюстрировали, то есть вскрывали прежде, а потом, проутюжив, отправили мне». — «И вы знали, что получите именно такой конверт?» — спросил я. «Ещё бы, ведь послал его и не далее, как два дня назад, именно я!»

Так он проверял, следят ли за его передвижениями или нет. Ответ был получен: следили. Не успел он появиться в Ялте, как соответствующие службы были предупреждены

и взялись за дело. Но тут им не повезло — внутри конверта оказалась пустая открытка. Быков их переиграл.

Но я представляю, какого напряжения нервов стоила ему эта «игра». Если человек приезжает к тёплому морю, где его ждёт отдых и свобода отдыха, где всё, что осталось там, за крымскими горами, должно немедленно отодвинуться и забыться, и в первый же день идёт на почтамт, покупает конверт и открытку и отправляет их самому себе, значит, он на страже, он на взводе, он чувствует себя как волк, которого держат в кольце красных флажков.

Позже Василь рассказал мне, как ему живётся в Гродно (он, кажется, тогда жил ещё в этом городе), как бьют стёкла в классе, где преподает его жена, как топтуны смотрят ему в спину, про подмётные письма, угрозы по телефону, про вызовы в КГБ. В его квартире был спаренный телефон. Это не доставляло ему никаких неудобств. Но вот явились непрошеные «электрики» и объявили, что поставят ему отдельный номер. Напрасно он отговаривал их это делать, ссылаясь на то, что ему и так хорошо, — они телефон распарили.

А дело заключалось в том, что спаренный с соседями телефон нельзя прослушать, отдельный же номер спокойно поддаётся прослушиванию.

Посмеялись на прощание «электрики» и добавили: «Теперь болтайте, сколько хотите!»

* * *

Василь приехал в Ялту с фотоаппаратом и много снимал. Однажды он щёлкнул и меня: было это в Доме-музее Чехова. Мы долго добирались туда, осиливая крутую, идущую в гору дорогу. Возле музея стояла толпа. Но Быкова узнали. И нас пропустили без очереди. Помню, как Василь не хотел уходить из кабинета Чехова. Он стоял и оглядывал портреты на стенах, стол Антона Павловича и о чём-то думал. О чём? Этого мне не дано знать.

Я был благодарен ему за эти минуты неявной близости, за согласие наших молчаний, а иногда и откровенных бесед. Чаще они проходили на воле, а не в Доме творчества. Однажды мы отправились на городское клад-

бище, где был похоронен белорусский поэт Максим Богданович.

Могилу Богдановича нам не удалось сыскать, да и мудрено это было сделать, когда само кладбище напоминало свалку, — многие надгробия были засыпаны мусором, иные провалились, от третьих не осталось и следа. Мы бродили среди повергнутых на землю крестов, памятников, всюду валялись растерзанные венки из железных или бумажных цветов.

Василю, видно, очень хотелось постоять возле последнего пристанища автора книги «Из песен белорусского мужика». Он и сам был мужик, родился в деревне.

Уже почти выходя с кладбища, мы наткнулись на валявшийся прямо на аллее памятник с торчащим из мрамора стальным штырем. Это был камень с могилы Анны Григорьевны Достоевской, скончавшейся в Ялте в 1919 году. Как мы узнали потом, внук Анны Григорьевны вывез прах бабушки в Ленинград и захоронил возле Достоевского на кладбище Александро-Невской лавры, а надгробный камень не пожелал взять.

* * *

Василь писал тогда новую повесть. Заходя к нему, я каждый раз видел в углу стола аккуратно сложенные в стопку листы бумаги, исписанные хоть и мелким, но понятным почерком.

Писал он на белорусском, но текст, который я видел, был русский. Василь сам переводил себя, и под многими его повестями стоит пояснение: авторизованный перевод с белорусского. Кое-кто говорил, что он вообще плохо знает родной язык, а когда в Белоруссии начался патриотический подъём (случилось это сразу после перестройки), такие голоса стали звучать громче.

Кому он собирался отдать свое новое, писавшееся в Ялте, сочинение? Конечно, «Новому миру», хотя там уже не было Твардовского.

Да и «Сотникова» он напечатал там, когда журнал возглавил другой редактор. Василь, конечно, жалел, что не забрал свою рукопись, как это сделали авторы «Нового

мира», не желавшие сотрудничать с преемником Твардовского, но печатание «Сотникова» всё же оказалось ему дороже. В минуту откровенности (впрочем, откровенен он был всегда) Василь поведал мне о последнем разговоре с Твардовским. Он позвонил Александру Трифоновичу в дни, когда тот, уволенный по высшему указанию, собирал бумаги.

Речь шла о «Сотникове».

«Я спросил Твардовского, — сказал Василь, — как мне быть с моей повестью. Оставлять её в “Новом мире” или не оставлять». — «А, ты не знаешь, что тебе делать? — ответил Твардовский. И, почти срываясь на крик, отрубил: — Так пошел же ты на... !» И бросил трубку.

Другой писатель, не Василь Быков, никогда бы не рассказал об этом даже близкому человеку. Но он был рыцарь. А рыцари не любуются собой, как девушки, привыкшие созерцать в зеркале свою красоту. Рассказывая мне о разговоре с Твардовским, он вновь клял себя за мгновенье слабости.

Твардовский требовал верности, а от кого ещё можно было ждать её, как не от Быкова?

Разбирая сейчас этот случай, я думаю, что оба были правы. Для Твардовского с падением «Нового мира» кончалось всё: влияние на общество, пребывание среди собранных им по принципу близости духа людей, наконец, просто жизнь, ибо без журнала он уже существовать не мог. И смерть пришла за ним очень скоро.

Прав был и Быков, сознающий, что он написал, может быть, лучшую свою вещь, и желающий её напечатать. «Сотникова» ни за что не опубликовали бы ни в Минске, ни в Москве. Уходить из-под знакомой миллиону читателей голубой обложки (под которой и без Твардовского позволят делать то, что не позволят другим) значило зарыть свое детище в землю и позабыть, где оно зарыто.

Для писателя такие похороны им написанного — та же смерть.

Не знаю, так или не так рассуждал тогда Быков, но «Сотникову» он остался более верен, чем Твардовскому.

В ту осень ему часто звонили из «Литературной газе-

ты» и просили дать отповедь какому-то западному изданию, исказившему смысл его творчества и рассказавшему о гонениях на Быкова в СССР. Чувствовалось, что Василь устал от постоянного надзора за собой, от постоянных проверок его лояльности и такого рода просьб. Он нервничал и как-то спросил меня, как ему быть. Что я мог посоветовать ему? Он был старше меня, опытнее и мудрее. И всё же я сказал, что стоит подставить «им» палец, как откусят всю руку.

Он всё-таки ответил своим западным недоброжелателям, и его письмо было опубликовано в «Литературной газете». Никакой выгоды, никакого расположения верхов Василь при этом не искал. Ему просто хотелось, чтоб его оставили в покое.

В Ялте у него были счастливые паузы, когда он с детской радостью отдавался отдыху. Он плескался в море, смеялся и, видимо, забывал о том, что там соображают о нём в Москве или ещё где. В эти минуты он был истинно свободен и, глядя на него, я думал: сколько же в нём неизжитого желания счастья, бузы и веселья, в которых он, как правило, отказывал своим героям.

Он был писатель печальный.

Знак беды (так назвал он повесть о коллективизации) как некая звезда неизменно стоял над его судьбой и его книгами. И, наверное, если б эта звезда, наконец, сошла с неба и перестала бы висеть над ним, он стал бы таким, каким я наблюдал его в те счастливые мгновения в Ялте.

Когда мы покинули это благословенное место, связь между нами оборвалась. Но Быкову предстояло выдержать ещё одно тяжелейшее испытание. Те, кто мечтал его согнуть, не забывали о нём. И в один прекрасный вечер (или уже была ночь) ему, находящемуся в командировке в каком-то городе и проживавшему в гостинице, позвонили из Москвы.

Незнакомый голос, отрекомендовавшись сотрудником газеты «Правда», сообщил Быкову, что завтра в номере будет напечатано письмо писателей, с[illegible] осуждающих

Солженицына, и что под этим письмом, подписанным видными деятелями культуры, стоит и его, Быкова, подпись.

Василь в трубку закричал: «Нет!», что-то хотел добавить, но Москва дала отбой — она не желала его слушать.

На следующий день вышел злополучный номер «Правды», где среди авторов напечатанного в ней письма (помоему, называвшего Солженицына чуть ли ни «власовцем») рядом с другими именами стояло и имя Быкова.

Это был удар прямо в сердце. С Быковым случилось то, что случалось в его же повестях с его героями. Авторы этой подлой акции решили «ликвидировать» писателя Быкова, потому что с таким клеймом он был уже не Быков. Теперь любой гражданин, показав ему эту газету, мог сказать: «А ты кто? И чем ты отличаешься от изображённого тобой Рыбака? Или от труса Голубина из повести “Пойти и не вернуться”?»

Как было доказать свою правоту, как рассказать о том, *как* всё произошло? В печати никто не даст этого сделать, А ходить по домам и объясняться с теми, кто до сей минуты верил в тебя, — да разве это возможно?

Василь замкнулся. Представляю, на сколько звонков ему пришлось отвечать, на сколько вопросов на улице, в доме, где он жил. Завистники и ненавистники, тут же повылезшие из нор, потирали руки и высоко задирали носы: «Вот вам и Быков!»

Я вскоре послал ему письмо, где вспомнил Ялту, наши встречи и поздравил его с наступающим Новым годом. Он тут же откликнулся. И его короткое, горькое письмецо столько поведало мне о тоске и одиночестве, которые достигают такой пронзительности только у края отчаяния. «Только природа не изменяет», — писал он, и этим всё было сказано.

Быков после этого много писал, нигде, как всегда, не отступая от правды, но то ли кончилось его время, то ли оно кончилось и для нас. Власть, похоже, считала «дело Быкова» закрытым. На него посыпались премии и награды: Государственная премия (1973), Ленинская премия (1986), звание Героя Социалистического Труда (1984).

Он, кажется, уже начинал писать по-новому — не столь жёстко по отношению к своим персонажам, как прежде, но печаль его при этом усиливалась.

Последний раз мы виделись с ним в Риме осенью 1990 года. Покойный Владимир Максимов и, слава Богу, здравствующий итальянский славист Витторио Страда организовали встречу писателей из России. Идея была проста: помирить тех, кто в перестройку рассорился, кто и до неё представлял разные течения в родной словесности, но всё же не враждовал.

Тут были Д. Лихачев и В. Солоухин, Г. Бакланов и В. Крупин, С. Залыгин и В. Астафьев, В. Быковский и Ч. Айтматов.

Был и Быков.

Короткие реплики в холле гостиницы, где мы ожидали очередного выхода на «мероприятие» (встречи проходили в здании итальянского парламента), — вот всё, что уже формально соединило нас тогда с Василём. Он был молчалив, может, чувствовал себя плохо (давняя астма), с его лица не сходила печать утомлённости. Всё же он рассказал мне, как не смог выехать вовремя из дома в аэропорт, так как заказанное им такси не пришло. Он считал, что это не случайно, что это происки белорусского КГБ. Пришлось ловить попутную машину.

Мы не виделись восемнадцать лет. Что делает время со всеми нами? Это знает только наша душа и никто больше. Все мои прежние чувства по отношению к Быкову остались такими, какими и были. В этом смысле я не «состарился».

Но что за это время произошло в душе героя моей литературной молодости, я не знал. И не узнаю, конечно. На книге, которую Василь прислал мне после нашей встречи в Ялте, он написал: «С верой, надеждой и любовью».

И я отвечал ему тем же.

2003

НЕПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Кажется, летом 1966 года мне позвонил из Ленинграда Фёдор Абрамов и сказал: «Найди журнал “Север” и прочти повесть Белова “Привычное дело”. Большой писатель идёт на Русь».

Я разыскал журнал и повесть прочёл. Я просто проглотил её в одночасье. Ничего более жалостливого, нежного, ласкового по отношению к гибнущей русской деревне я не читал. У меня несколько раз принималось болеть сердце, как болит оно, когда беда входит в *твой* дом.

А это был именно мой дом, хотя я человек городской, рос в городе, но потом, правда, судьба забросила меня в деревню, и страдания крестьянства — в те годы ещё основного населения страны — стали для меня не чужими страданиями, а отпечатались в сердце.

Повесть Белова стала песнью песней о прародине русского языка, русского крестьянского быта, русского вероисповедания и отношения к жизни и смерти. Это была и песнь песней терпения, выживания, сопротивления доброй души нажиму, всесилию и торжеству зла.

Я думаю, не одно городское сердце дрогнуло при чтении «Привычного дела». Да и город-то наш тогда, в шестидесятые, был на две трети деревней, деревней, покинувшей отчий кров и приютившейся под железными крышами.

Выход «Привычного дела» стал общенациональным событием.

Кто сегодня захочет вернуться к той поре — а не обер-

нувшись, не увидишь того, что впереди, — вряд ли обойдёт это полное горечи и вместе с тем высокое поэтическое творение Василия Белова.

Это был рассказ об одной семье, в которой одна лошадь, одна корова, один мужик — Иван Африканыч — да и тот подрезанный войной и голодухой. Только деток в ней было много, и звал их Белов именно «детками», а небо — «небушком», корову Рогулю — «мамушкой», «коровушкой». И детки эти «крепкие, как булочки». «Красные солнышки поехали, так ручками машут и машут», — говорит о них, уже сиротах, бабка Евстолья.

А сироты потому, что всех отняла у них смерть — маму, лошадь, корову. Дом опустел, и ушло из него, кажется, нагретое ими тепло.

Свою статью о повести Белова я назвал «Тепло добра». Я не нашел другого заглавия, хотя звучало оно и не очень ловко, ибо, несмотря на холод, проникший в дом Ивана Африканыча, от повести шёл теплый поток света, согревающий душу.

Ни злости, ни обиды, ни, наконец, желания мщения не вызывала эта срезанная на корню жизнь. От неё даже не слышалось ни слова упрёка. Упрёк был, но в высшем смысле: почему именно с Россией так распорядился поступить рок?

Задолго до того как в СССР слово «Бог» разрешили писать с большой буквы, Василий Белов написал христианскую повесть, восстановивши ею родство с литературой XIX века.

Статью мою о ней напечатали в «Литературной газете». Позволю себе процитировать её последние строки:

«Кажется, я рассказал об одной книге Белова.

Но это и есть Белов, то, что он сделал в литературе. Портрет не окончен: писатель сам пишет его.

Я уверен, что завтра эти черты изменятся, станут иными. Время меняет нас, мы все меняемся.

Но как бы ни изменился портрет, в нём не сотрется то, что мы прочли в “Привычном деле”.

Эта книга останется».

Книга осталась, а автор, конечно, менялся. Да и сколько всего с той поры произошло! Рухнул не только крестьянский дом, подломились стойки и у России. Белов не мог без слёз, переходящих в отчаяние, это пережить. Он замкнулся, ушёл в себя. Поверив на мгновение в горбачёвскую «перестройку» и став членом Верховного Совета, он быстро понял, что и тут обман, смена вывесок, игра перекрасившейся номенклатуры.

Он покинул Москву и окопался в родной Вологде, в родной Тимонихе.

За его плечами было уже не одно «Привычное дело», а целая полка книг, одна прекраснее другой. Стояли на ней и «Плотницкие рассказы» (где горечь «Привычного дела» сменил озорной смех), и «Лад», восстанавливающий красоту крестьянского жизненного уклада, и «Кануны» — роман о коллективизации, об истреблении самой работящей части народа.

Писал он и пьесы и почти угадывал в них, что произойдёт в России вот-вот, но поэтическое пророчество, в котором он был силён, смазывалось здесь риторикой.

Похоже, что в те годы, когда он заседал в Верховном Совете, ему было не до литературы. Гораздо важнее было отстоять северные реки от переброса их на юг. Эта очередная советская химера грозила изменить экологию страны. Отстоять удалось, но на большее сил уже не было.

С тех пор его редко кто видел, а тем более ещё реже — читал.

Читать перестали не одного Белова. На страницы журналов хлынула ранее запрещённая литература: Платонов, Булгаков, Солженицын. Всё ранее дозволенное (а к ним принадлежали книги Белова, хотя и попорченные цензурой) сделалось анохронизмом.

Это надо было пережить, с этим смириться. Нелегко было вчерашним властителям дум и кумирам читающей публики (не одному Белову) вдруг перестать быть ими и уйти в тень. То был кризис и личная драма.

Для Белова всё осложнилось тем, что в 1986 году он напечатал роман «Всё впереди». Он выдал на гора роман-

памфлет, роман — обвинительный акт против прозападной интеллигенции, готовой, как он считал, ради того, чтобы «войти в цивилизованный мир», распродать Россию. Многое здесь было предсказано точно, но грубый тон и открытое раздражение по адресу всего нерусского вызвали отторжение в читателе. Даже верные поклонники Белова взроптали.

Он был приписан к стану «патриотов», «краснокоричневых», врагов демократии и свободы.

Роман этот разочаровал и меня. Обида и злость — вообще не лучшие советчики писателя. Перо, движимое злостью, начинает расщепляться, терять свой привычный наклон и твёрдость. Язык как бы противится этому чувству и не желает подпадать под его власть.

Впервые вещь, под которой стояла подпись Белова, была плохо написана. Вместо чистоструйной, холодящей зубы, как вода в ключе, прозы мы получили скрашенную редкими картинами публицистику, где уже не было тепла, а была одна анафема.

Возмездие не замедлило последовать. Те, кто вчера превозносил Белова, теперь писали о нем исключительно в похоронной интонации. Из учебников русской литературы XX века исчезло его имя. Я сам читал такой учебник, выпущенный издательством «Дрофа». В нем помянуты кто угодно от Константина Симонова до Натальи Ивановой, но об одном из лучших писателей конца столетия не сказано ни слова.

За этой акцией стоял уже раскол: общество после 1991 года развалилось на партии, каждая из которых смотрела на своего антипода через прицел оптической винтовки. Ни о каком мире или примирении речи быть не могло. К тому же общая, связывающая его отдельные части идея умерла. И свято место осталось пусто.

На одной стороне не хотели подавать руки другим, на противоположной стороне не только не хотели воссоединяться, но ещё более расходились и даже жаждали кровопролития.

Как мог отозваться на всё это писатель? Только болью. Так отозвались на расстрел Белого дома в 1993 году Анд-

рей Синявский и Владимир Максимов. Что же говорить о Белове? Ведь русские стреляли в русских, а это уже была гражданская война.

Это была трагедия истории и трагедия литературы, которая испокон века (и в том числе в книгах Василия Белова) противилась насилию, проклинала его.

И опять не смогла предотвратить вражды.

Сейчас всуе толкуют о «сумерках литературы», якобы пришедших по сугубо литературным причинам. Но никакие это не сумерки — скорей, временный смог, и литература тут ни при чём. Тьма надвинулась на нас с другого конца — с того, где был пережит ужас бессилия — бессилия противостоять языку пушек.

Талант и в огне не горит, и в воде не тонет. Я читал последние рассказы Белова — в них то же сочувствие бедным, то же нежное чувство к брошенным старикам, к женщинам, к детям. Есть, конечно, и упоминания о современных «бесах», но кто из нас не ропщет на настоящее?

Белова не трогает суета на поэтическом Олимпе, он свой Сен-Готард взял, там — на вершине Альп — был. И останется навсегда. То, что им сделано, сделано. Этого не объедешь, не обойдёшь. Пусть постмодернисты или другие «исты» твердят о том, что старые ценности обесценились и теперь пришло время их триумфа. Но, кроме того, что им ежегодно вручают премию «Триумф», никаких доказательств этого привести не могут. Литература в их писаниях сделалась игрой — игрой в слова, в Бога и антихриста. Балаган, аттракцион, ярмарка.

Лесков, Чехов и Толстой на эту ярмарку бы не явились. Василия Белова там тоже не видно. Вероятно, он старомоден и относится к творцам, для которых, как говорил Гоголь, слово — подарок Бога человеку.

Поделюсь воспоминанием. В 1992 году я работал в «Литературной газете». Близилось шестидесятилетие Белова. Я пошёл к главному редактору (тогда им был А. Удальцов) и сказал, что мы должны отметить эту дату. Но вчерашний матёрый партийный волк, переквалифицировавшийся в «демократа», ответил мне рычанием. Какой

Белов? Да он же антисемит. Он не верит в реформы, он квазипатриот. Мы осрамимся перед людьми.

Единственное, на что этот волк согласился, так это дать *заметку,* в которой, помянув о юбилее, разделать юбиляра за его взгляды. Это попытался сделать один преуспевающий беллетрист. Он сел при мне за машинку и тут же отстукал приветствие не приветствие, некролог не некролог.

23 октября, в день рождения Белова, в *литературной* газете не появилось и заметки. Единственное, что я смог сделать, — отправить автору «Привычного дела» телеграмму, да и то не от газеты, а от своего имени.

Ныне Белову исполняется семьдесят.

Что бы ни писал он в минувшие годы, как бы глубоко ни уходил в тоску, что бы ни говорил порой публично (а в его речах обида всё так же братается с отчаянием), его от славы русского слова не отлучишь. И с литературной вершины не сбросишь.

В это время дискутировали о Дзержинском, спорили — возвращать ему памятник или нет? Есть о чём спорить. Этот герой, судя по его собственной «Автобиографии», до 1917 года нигде не работал, то есть *был тунеядцем сорок лет*.

Чем же он занимался? Агитацией и пропагандой, проживанием по поддельным паспортам, подпольничеством, борьбой за светлое будущее. И ещё всё время откуда-то (то из ссылки, то с каторги) убегал, бегал по России и загранице, а уж когда свершился октябрьский переворот, стал во главе ведомства по мокрым делам.

Про ссылку и каторгу этот герой пишет: *мне стало скучно*, и потому на третий (четвертый или седьмой) день я бежал.

Хочется задать вопрос: почему ни в одной стране нет памятника главе спецслужбы? Почему в Париже нет памятника Фуше, а в Берлине — Гиммлеру? Андрон Кончаловский, защищая на НТВ право Дзержинского оставаться в истории (а стало быть, и в бронзе), много говорил о том, что государство вообще-то всегда зло, но оно необходимо, без него жить нельзя.

Но на государство трудились и Берия и Ежов. Может, объявить конкурс на создание памятников и им? Я бы хотел посмотреть, как бы заговорил этот благополучный сын благополучного отца, если б его хотя бы на одну ночь сунули в Лефортово. Запел бы, я думаю, другим голосом.

Примирения на реставрации *таких* имен не построишь, вдохновляющего толчка народу не придашь. Соединить могут лишь имена достойные, которые никогда не были на стороне зла.

Без этого семья (страна) не спасётся и разрушенье продолжится. Потому что озлобление, как и обман себя (истина принадлежит только мне), ведут в пустоту.

Пусть Дзержинский стоит на аллее монстров (как восковые персоны в музее мадам Тюссо — там всякой твари по паре), а исторические фигуры, от которых шло к людям тепло, займут освободившиеся от таких, как он, места.

К последним принадлежит и сегодняшний юбиляр.

2002

НЕ УБИТ ПОД МОСКВОЙ

Недавно один телевизионный ведущий спросил меня, каких современных писателей я люблю. Я назвал Константина Воробьёва. Мой собеседник удивлённо поднял брови: это имя ему ни о чём не говорило.

Боюсь, что оно мало говорит и нынешнему читателю. А меж тем Константин Воробьёв один из лучших русских писателей XX века.

Век этот, завершившись астрономически, ещё долго будет возвращаться к нам во снах. И, видя их, кто-то будет плакать от счастья, а кто-то от боли, потому что счастливые мгновения не перевесят перенесённых страданий.

Проза Воробьёва саднит и жжёт, как открытая рана, и жжение её не утихает с годами, хотя ужасы прошлого отступают в вечность.

Что сильнее всего потрясло Россию в XX веке? Что выкосило почти половину её народа? Коллективизация и война. И оба этих события прошли через жизнь и прозу Константина Воробьёва.

Он родился в крестьянской хате на Курщине. Хата эта и сейчас стоит на краю деревни Нижний Реутец. Белёные стены, пустота внутри (хотят сделать музей, да никак не могут). Только старая печь смотрит в оконца, из которых видны заливные луга и блестящая на солнце речка. По лугам, как шлемы древних воинов, разбежались свежие копны, и от них волнами накатывают запахи трав.

Воробьёву рано пришлось покинуть эти места. Подвела

любовь к правде. В шестнадцать лет он написал стихи на смерть Куйбышева (1935 год) и послал их в редакцию районной газеты. В эпитафии были такие строки: «Ты не один, в аду с тобою и Сталин будет в краткий срок».

Умные люди, не выдавшие юнкора, посоветовали ему исчезнуть из Курска. Собрав пожитки, Воробьёв отбыл в столицу социализма — Москву. Здесь, переменивши несколько работ, оказался в святая святых новой власти — в Кремле. Его зачислили в роту кремлёвских курсантов. Помогли классический для этой службы рост (1 метр 83 сантиметра) и происхождение «из крестьян».

Воробьёв не только охранял покой товарища Сталина, но и стоял на часах у мавзолея, ненавидя его обитателя не меньше того, кому предрёк дорогу в ад.

Чем бы закончилась служба в кремлёвских курсантах, пробудь он там подольше, сказать трудно. Но началась война, и лейтенант Воробьёв ушел на фронт. Фронт стоял *под Москвой*. Двигаясь к передовой, рота натолкнулась на цепи войск НКВД, приготовившиеся смотреть ей в затылок. За спиной у роты оказались *родные* стволы, а впереди — немецкие танки. Сама она была вооружена винтовками образца 1893 года и бутылками с зажигательной смесью.

Почти вся она полегла в первом бою, а те, кто остался жив, разбрелись по окрестным лесам. Константин Воробьёв попал в плен.

О плене он расскажет в повести «Это мы, Господи!». Её писал двадцатитрёхлетний человек, который к тому времени (1943 год) чувствовал как старик, к тому же воскресший из мёртвых.

В 1988 году мы снимали телевизионный фильм о Воробьёве, и наша группа приехала в литовский город Шауляй, где на одной из улиц, чуть ли не по соседству с гестапо, на чердаке незаметного дома и была создана эта огнедышащая вещь. Партизан Воробьёв только что вышел из леса и находился в Шауляе по случаю «отпуска». За две недели передышки он и написал «Это мы, Господи!».

Повесть перепечатали на машинке, а машинку зарыли в саду, где она и пролежала до конца войны. Появись тогда этот *крик о плене*, литературная судьба Воробьёва

была бы иной. Но писать о том, о чём написал он, было воспрещено. Пленные поголовно считались предателями. Но пять миллионов предателей в первый год войны — это уже слишком! Впрочем, для Сталина предателем мог быть весь народ.

Людям с больным сердцем лучше не читать «Это мы, Господи!». Как лучше не знать, что пережил русский человек в плену. Солдаты других стран имели защиту в лице Женевской конвенции о правах пленных. Подписи под этой конвенцией не поставил один СССР, отдав *своих* на муки, на голод и на смерть. Я знал лейтенанта Красной Армии, который был взят в плен в июне 1941 года. Он был похож на иссохшую ветвь — одни жилы и лопавшаяся от натяжения на кости кожа. В Дахау, где немецкие врачи ставили опыты над русскими, его подвергли стерилизации.

В 1945-м он, конечно, отправился в наши лагеря. Я видел его и его ещё молодую жену: на них страшно было смотреть.

Перед Шауляем мы побывали в Каунасе. И там, стоя на стене форта каунасской крепости на морозном пронизывающем ветру, я понял, что чувствовали люди, загнанные сюда такою же зимой в одних гимнастерках и в какой-то рвани на ногах вместо сапог. Ледяной ветер, ледяные стены камер с прижатыми к ним железными койками и ледяной цемент пола, к которому, кажется, упади на него, прирастёшь навсегда.

Низкие каменные своды, тусклый свет, гулкое эхо: мертвецкая, морг. Здесь вымораживали русских пленных, среди которых был и лейтенант Воробьёв.

Он не был убит под Москвой и выжил в плену. Судьба, вероятно, рассчитывала на него как на очевидца и не ошиблась. Лучшего свидетеля на суде истории она выбрать не могла. Повесть «Это мы, Господи!» и сегодня не имеет себе равных в литературе о плене.

В сорок шестом году он послал её в журнал «Новый мир». Оттуда пришёл ответ, что занятия литературой — не его дело. Ни слова не было сказано о содержании рукописи. А что об этом можно было сказать? Ничего, кроме того, что автор заглянул в преисподнюю.

Годы безвестности после войны, годы захлебывающегося писания без результата, без выхода к людям и одиночество в далеком от России Вильнюсе — такова жизнь Воробьёва в сороковые — пятидесятые, в начале шестидесятых. И вдруг первый прорыв к свету — в 1963 году тот же «Новый мир» (правда, уже под редакторством Твардовского) печатает повесть «Убиты под Москвой», начинающуюся словами: «Рота кремлёвских курсантов шла на фронт...»

На горизонте русской прозы вспыхнула новая крупная звезда. Но почти тут же двери, успевшие пропустить эту повесть, захлопываются. Снимают Хрущёва, и то, что продолжает писать Воробьёв, не способен предать огласке даже журнал Твардовского. Потому что от войны Воробьёв переходит к коллективизации, и здесь его суд над властью становится ещё решительней, ещё неотвратимей.

Повесть «Друг мой Момич» о курской деревне двадцатых годов бракует главный редактор. Упреждая цензуру, он говорит Воробьёву, что тот сгустил краски. Более того, он, Твардовский, лично не приемлет огульного осуждения коллективизации. Сын ссыльных смоленских крестьян, он всё ещё остается советским человеком.

Это страшный удар для Воробьёва. В Твардовского он верил, как в Бога, и расхождение с ним переживает тяжко. Снова приходится бежать в рыбалку, в одиночество, писать в стол, не надеясь увидеть написанное в печати. Местные газеты и журналы его не жалуют, попытки перебраться в Россию, в Псков, заканчиваются неудачей. Но Воробьёв пишет и пишет, и под его пером рождаются такие жемчужины, как повести «Крик», «Почём в Ракитном радости», рассказы «Немец в валенках», «Чёртов палец», «Синель», «Уха без соли».

В Москве выходят тощие книжки, но отклика на них нет: верноподданная критика пишет о лауреатах и депутатах. Но один обнадёживающий голос он услышит при жизни — голос Юрия Томашевского, который первым поймёт значение Воробьёва для литературы. И тот благодарно откликнется на привет из Москвы: писатель и критик станут друзьями.

Сейчас их обоих уже нет на свете. Но в глухие семидесятые мужская поддержка и дружба ценились на вес золота. Я думаю, что дружба-любовь, которая завязалась между этими двумя замечательными людьми, продлила каждому из них жизнь. Скончался Константин Воробьёв в Вильнюсе в 1975 году. А через одиннадцать лет в журнале «Наш современник» были напечатаны «Это мы, Господи!». Повесть пролежала в архиве «Нового мира» сорок лет.

Читатель ахнул: как такое могло лежать под спудом! Как вообще оно могло оставаться неизвестным, а особенно неизвестным тем, кто вместе с Воробьёвым пережил муку плена? Но на эти вопросы нет ответа. Воробьёв всё-таки оказался счастливчиком: судьба не зря берегла его. Его час пришёл.

Есть умники, которые считают, что часы истории далеко ушли вперёд и нечего вспоминать героев прежних лет. Зачем колебать море забвения? Зачем вызывать наверх то, что должно сохраняться на дне? Да, дескать, было время, когда социалистические умельцы лихо мешали увесистую ложь с подобием правды. Да, были люди, которые не делали этого. Но чтоб остаться в литературе, этого мало.

Врёте, господа умники, это много!

В 1988 году мы первым делом отправились на вильнюсское кладбище, чтоб положить цветы на могилу Воробьёва. Перед входом на кладбище стоял высокий щит, на котором были перечислены фамилии знаменитостей, нашедших здесь последний приют. В этом списке я не нашёл фамилии Воробьёва.

Сейчас, слава Богу, прах его вернулся на родину, в Курск, и занял место на почётном воинском погосте. Рядом с ним лежит его фронтовой друг и жена, мать его детей Вера Викторовна Воробьёва.

Она очень хотела, чтоб А. И. Солженицын отметил Воробьёва своей премией. И дело было не в самой премии и уж тем более не в деньгах, а в акте справедливости, которая хоть так могла бы быть воздана её мужу. Теперь её желание исполнилось. Жюри сделало точный выбор. Жаль лишь, что премия поделена между двумя писателя-

ми: Константином Воробьёвым и Евгением Носовым. Носов прекрасный прозаик. Но мастера такого класса должны быть отмечены порознь, ибо коллективной славы не бывает.

Носов, к счастью, не раз премирован при жизни, Константину Воробьёву такого признания не выпало. Сегодня он вознаграждён. Премия, присуждённая ему, вырывает его имя из потёмок памяти и ставит перед зеркалом, высота которого способна вобрать его рост.

Я рад, что дожил до этого возмездия. Возмездия за тяжкую жизнь, за непризнанный дар, за страдания душевные и телесные. И за преждевременную смерть, наконец. Тление не касается таких фигур, как Константин Воробьёв.

2001

АКВАРЕЛЬ С МАКАМИ

Плотно застроенная Москва с деревянными домиками, зелёными двориками, с лесом крестов на куполах, казалось, и строилась мирно, постепенно, медленно прирастая пригородами и слободами.

Петербург возник мгновенно, как призрак из марева, как овеществлённый мираж. И простор ему понадобился не московский, а морской, океанский — окно не только в Европу, но и в бесконечность. И строил его царь-романтик, впрочем, подмешав в мечту политический интерес.

Порыв романтизма, пронёсшись над тремя столетиями, вдруг угас в XXI веке. Он разбился о бетон прагматизма.

Однако в небе над Невой нет-нет да и сверкнёт зарница, говоря о чьей-то отлетевшей жизни. Виктор Конецкий умер год назад, но без его имени нельзя представить Петербург конца XX века. Моряк и писатель, он был одним из последних романтиков этого города.

* * *

Конецкий неотделим от Питера, от его пейзажа, от ветра, гонящего волны по Неве, устремляющейся к морю, куда жадно тянулась его душа, ибо ей было мало одного писательства. И поэтому понять его до конца вряд ли сможет сухопутный человек, каковым я и являюсь.

Его морской китель с погонами капитан-лейтенанта, который Виктор, правда, не так часто одевал, всегда ставил меня на некоторое расстояние от него, говоря, что я

не совсем «свой», хотя обладатель этих погон и золотых пуговиц не так уж плохо относился ко мне.

Имя Виктора Конецкого в шестидесятые годы гремело, фильмы по его сценариям потрясали залы, а прозрачная, лёгкая, весёлая проза тут же поставила его в первый ряд «четвёртого поколения», как назвали пришедших в литературу детей войны.

Наша первая встреча сильно отличалась от трафарета литературных знакомств, возникающих, как правило, на почве взаимных похвал. И выглядят они так. Писатель — критику: «Слушай, старик, ты написал обо мне замечательную статью. Я тебя люблю». Критик — писателю: «Рад, очень рад. Ты, Вася, гений». Пожимают друг другу руки (или — сразу в объятия) и отправляются спрыснуть завязавшуюся дружбу.

Тут всё было не так.

В 1965 году в журнале «Сибирские огни» появилась моя статья «Подводя итоги». Речь в ней шла о «прозе молодых», в том числе и о «Повести о радисте Камушкине», написанной В. Конецким. Тогда уже вышел «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, и проза В. Аксёнова, Г. Горышина и В. Конецкого казалась на его фоне детской игрой.

Больше других в статье досталось Конецкому. О повести про радиста Камушкина я писал: «Трагедия, случившаяся с Камушкиным (имелся в виду арест отца и встреча сына с ним в комнате следователя в НКВД), для него не трагедия. Он одевает ее в экзотические одежды своих псевдочувств, своих полупереживаний. И повесть обваливается, как декорация, погребая под собой героя и автора».

А о свидании Камушкина с отцом, который, для того чтобы спасти сына, признаётся ему, что он настоящий «враг народа» (и сын принимает это враньё за правду), я высказался ещё суровей: «Как это трогательно правдоподобно и симпатично лживо!»

И вот минует какое-то время, сижу я в Центральном доме литераторов и пью кофе. И вижу: ко мне направляется невысокого роста мужчина в морской форме. Подойдя, он вежливо здоровается и говорит: «Я прочитал ва-

шу статью. По-моему, очень хорошая статья». И, протягивая руку, представляется: «Виктор Конецкий».

Я опешил. Обычно автор, обиженный критиком, посылает последнего к чёрту и затаивает грядущую месть. Но Конецкий был не только писатель, но и офицер русского флота. А русский офицер (да ещё моряк) при любых обстоятельствах остаётся мужчиной.

Встретились мы вновь спустя год на квартире у Фёдора Абрамова: и тот и другой жили в одном доме. Присутствовал на этих посиделках и ленинградский критик Адольф Урбан. Адольф был очень смешливый человек, да и все мы оказались не чужды стихии смеха. Конецкий весь вечер был на арене. Шутки, прибаутки, анекдоты, вымышленные и непридуманные истории сменяли друг друга. Это был сольный концерт, которому мог бы позавидовать сам Райкин. О, Виктор был артист!

Говорят, что тот, кто смешит других, сам склонен к меланхолии. И смех лишь защита от этого тяжелого состояния. Лицо Виктора в течение, по крайней мере, четырёх часов, сохраняло полную невозмутимость. Он наблюдал, как хохочем мы, — и это его, конечно, подогревало, но сам оставался твёрд. Когда я с ним познакомился поближе, то узнал, что от вспышек безудержного комизма он способен в минуту перейти к отчаянно-чёрной тоске. Такие перепады были, надо сказать, не редки.

С ним было непросто, но его нельзя было не любить. 1. За благородство. 2. За внутреннюю красоту. 3. За талант. 4. И — при всей внешней суровости — за нежность сердца.

Виктор много лет жил с матерью (отец их бросил), а это особый сюжет. Матери ревнуют сыновей ко всем женщинам и хотят, чтоб дорогие чада оставались с ними и любили *только их*. Наверное, поэтому Виктор так поздно женился. Лишь оставшись один, он решился на этот шаг.

Однажды, разглядывая альбом с фотографиями, он остановился на снимке, где были запечатлены актёры, игравшие в его фильме. И, глядя на лицо одной женщины (она была очень красива), с грустью произнёс: «Я подозреваю, что у меня от неё есть ребёнок. И, по-моему, это

девочка». Я понял, что он очень хотел верить в это, хотя, наверное, это была только мечта.

Летом 1974 года Конецкий пригласил нас с женой погостить у него в Ленинграде. Мы с радостью согласились. Было начало лета, трамваи, проходящие по улице Ленина, где стоял его дом, поднимали в воздух сухую пыль. Как всегда, в городе был тяжело дышать, но окна квартиры, где мы поселились (Виктор отвёл нам пустующую мамину комнату), были широко открыты.

Он почти не поднимался с дивана из-за болей в позвоночнике. Чтоб отвлечься от мучающих его приступов, Виктор постоянно смотрел телевизор. Ему не важно было, что там показывают — новости или футбол, — то была психотерапия.

Несмотря на свой «постельный режим», он заботился о нас, как нянька. Звонил в театр Товстоногову и, называя того «Гогой», просил оставить два билетика. Сводил ещё с кем-то, кто стал бы нашим гидом по Ленинграду. А когда мы возвращались, то на кухне находили сковородку с жареной картошкой и что-то мясное, а также заваренный до черноты чай. Сам Виктор пил почти что чифирь, а к еде был равнодушен. Кружка горячего чая, сквозь маслянисто-черную толщу которого нельзя было разглядеть дна, всегда стояла рядом с диваном на столике. Там же стояли и чиненая-перечиненая пишущая машинка, и пепельница, полная окурков.

Но как-то наш хозяин решил подняться и, вызвав такси, велел шофёру ехать в Новую Голландию. Место это не самое светлое в Петербурге, скорей даже тёмное, угрюмое. Узкий канал обтекает высокую кирпичную стену не то крепости, не то верфи, выстроенных ещё при Петре. Вода в канале илистая, тёмная. В ней отражается с одной стороны нависшая над нею стена, с другой — стоящие напротив неприветливые дома. В одном из них жил во время блокады мальчик Конецкий с матерью.

Мы зашли в подъезд этого дома. Под куполом изогнутого потолка тянулась на второй этаж лестница, а первый был просторен и пуст.

«Вот здесь, вдоль стен, — сказал Виктор, — стояли по

стойке смирно замороженные трупы. Мы поднимали их с пола, потому что они перекрывали проход. И они стояли тут до весны, и хотя это были мёртвые тела, они так высохли, что не пахли».

Я помню рассказ Конецкого, действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Мальчик, подросток, отправляется в поход к отцу, чтоб выпросить у него кусок хлеба. Отец давно не живёт с ними, но он большой начальник и может помочь сыну. Мальчик ползком передвигается по тротуару, пот заливает лицо, а глаза видят только то, что внизу, — шершавую поверхность асфальта. Наконец, его взгляд упирается в стоящие перед ним высокие белые бурки с желтыми кожаными носами. Это и есть отец. И как же, ставши капитаном и писателем, он мог про это забыть? Как мог не возгордиться тем, что не пропал, не сгинул, а выучился и сделался знаменитым? Пусть это гордость ребёнка, но кто из детей войны не сохранил её до седых волос?

Повышенный градус самоуважения естествен для тех, кто знал голод и холод. Кто обретался где-то «внизу» и оттого не страшится оказаться там снова. Оттого им противны те, кто, обдирая ногти, карабкается к славе, ищет её и ею одною только и может быть вознагражден. Таких искателей чинов, особенно среди интеллектуалов (или желающих числиться таковыми), Виктор не любил. При мне он однажды «срезал», между прочим, будущего министра, сказав ему: «А не кажется ли тебе, имярек, что ты сидишь между двух стульев?»

Этот имярек только что публично превозносил его перед большой аудиторией и, конечно, рассчитывал на ответный реверанс. Но в ответ получил то, что получил. И, поскольку дело происходило на людях, это была публичная казнь. Жена будущего министра бросилась в плач, а сам полуинтеллигент полукарьерист стал бледен, как стенка.

Виктор не жаловал таких господ. Вообще он был разборчив в дружбе и подъехать к нему на кривой козе было невозможно. Его не могли обмануть ни писательские клятвы в любви, ни игра в своего в доску простого пар-

ня. У него было безошибочное чутьё на подлинность. Как в прозе он был порой эстетически изыскан, так и в жизни обнаруживал безупречный вкус. Он знал цену трудному пути к вершине.

Судьба, впрочем, наделила Виктора талантом юмора, что всегда смягчало даже его гнев. Я думаю, этот дар вытаскивал его из самых глубоких ям и не давал погружаться в стихию сарказма. Он же в отношениях с людьми уводил от лобовых столкновений.

В молодости он просто купался в юморе. Ранний Конецкий — это и фильм «Полосатый рейс», снятый по его сценарию, и безумно смешные приключения человека (его играл Евгений Леонов), у которого обнаружился тридцать третий — незаконный — зуб (фильм «Тридцать три», сценарий В. Конецкого).

Вначале его смех был почти простодушен (хотя не без некоторых едких намёков), но с годами процент задумчивости в этом смехе рос. И прибавлялся процент горечи.

В ту самую встречу у Абрамова Виктор часа четыре держал нас в состоянии помешательства, потому что так смеяться, как смеялись мы, можно было, по словам Ивана Александровича Хлестакова (тоже короля юмора), лишь «свихнув с ума».

Меня Виктор считал безнадёжно помешанным на Гоголе. Но когда в 1979 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга «Гоголь», он прислал мне замечательное письмо. Не стану его цитировать, но щедрость автора письма была непомерна.

Я получил его в те дни, когда между нами развернулись эпистолярные битвы, касающиеся его собственных книг. Я позволял себе отчасти подшучивать над ними, Виктор откликался уже не шутками, а некоторым рёвом. Мы тогда чуть не поссорились из-за резкого тона, взятого обеими сторонами.

Будучи человеком воспитанным, Виктор мог сорваться в грубость, которая больно ударяла по человеку. В такие мгновенья лицо его делалось тёмным, глаза становились узкими, и бьющий в эти щели лазерный луч насквозь прожигали несчастного. От чего это шло? От ран детства,

которые не заживали? И которые, начиная ныть, заставляли гулять нервы? Надо учитывать и то, что, кроме Высшего военно-морского училища, блокадник Конецкий прошел полный курс улицы и двора.

Грубость и нежность уживались в нём. Бывало, пишешь ему письмо и, что греха таить, пытаешься встроиться в его стиль, в его вольное обращение с адресатом, и в ответ получаешь затрещину. И ещё долго размышляешь потом: а стоит ли с ним переписываться?

После «Радиста Камушкина» я не писал о Викторе. Но вот вышла его книжка «Солёный лёд», и я откликнулся на неё рецензией. Не было там ни возвеличения автора, ни «дружеского» снисхождения к нему. Спасенье на водах, бегства в полярный рейс или в плавание к Австралии, которые Виктор описывал, выглядели как спасенье относительное. Всё равно надо было возвращаться на берег и к той жизни, где вместо океана плескалась пленённая гранитом Нева, где не свистел ураган, а попыхивал по утрам старый чайник и под ногами был паркет или тротуар. И бесстрашного «морского волка» сменял рефлектирующий петербургский интеллигент. В жизни Виктор «качался» между морем и сушей, но и в море, и у себя дома он был естествоиспытателем своей судьбы, а также судьбы человечества (поверьте, говорю это вполне серьёзно).

После рецензии о «Солёном льде» я сделался «специалистом по Конецкому». Мне присылали из издательств на отзыв его рукописи, просили писать предисловия к его книгам. Я любил его прозу (любил и автора), но не привык писать «по заказу». Что-то должно было вырасти в моей душе, прежде чем я брался за перо. И Виктор на мои отказы выполнить просьбы издателей не обижался.

Он был слишком тонок для того, чтобы ставить личные отношения в зависимость от отношений литературных. Он умел ценить чужую суверенность, так же как и свою собственную.

Мы переписывались, конфликтовали в переписке, но переписка, как и встречи, продолжалась. Вероятно, нас соединяло то, что выше литературы: война (святая святых на-

шего детства), безотцовщина, романтизм. Был ли Конецкий мистик? Был ли он религиозен? Он нигде не упоминает об этом, но он писатель, заглядывающий по ту сторону бытия.

Помню, однажды он удостоил меня высшего доверия: подарил написанную им акварель с маками и на обратной её стороне заверил собственным автографом, что отныне та принадлежит мне.

В 1973 году мы целую осень прожили бок о бок в Переделкино. Погода стояла сухая, деревья за окнами меняли цвет, и точно так же менялся он на акварелях Конецкого. Он писал исключительно пейзажи, людей на его картинах не было, и, что ещё страннее, отсутствовало и море. Клёны из прозрачно-жёлтых делались смугло-красными, потом багровыми, лес редел — и как только он окончательно обнажился, Виктор уехал в Ленинград.

Мы тогда виделись на дню по нескольку раз, позже к нам присоединился Григорий Чухрай. Высокий, красивый (ещё без седин), он сразу пленил нас какой-то внутренней деликатностью.

Господи, сколько прекрасных людей жили на нашей земле в те годы!

На беду я пригласил в Переделкино своего приятеля, большого поклонника прозы Конецкого. Приятель — он был намного моложе нас — тут же сел играть с Виктором в шахматы. И всё бы ничего, но гость оказался сыном контр-адмирала, а стало быть, и знатоком морского дела. И, по мере того как они передвигали фигуры на доске, между противниками стал завязываться разговор, очень скоро начавший раздражать Конецкого.

Строптивый отпрыск адмирала мало того, что стал теснить Виктора на доске, но и всё нахальнее вторгался на его — как считал Виктор, только его! — территорию, а этого капитан дальнего плавания снести не мог.

Шахматное сражение грозило перерасти в Цусиму, Виктор (проиграв три партии подряд), вероятно, смахнул бы с доски фигуры, если б не грянуло время ужина.

Наезжая в Москву, он иногда ночевал у нас. Как-то он явился в наш дом в моё отсутствие. Жена сказала ему, что

я скоро буду, но не уточнила, где я задерживаюсь. Она усадила его за стол и стала кормить. А я в это время сидел в номере гостиницы «Россия», беседуя не с кем иным, как с начальником отдела литературы московского КГБ.

Что хотело от меня это ведомство? Пустяка — чтоб я отрецензировал уж два года как выходивший в Париже журнал «Континент». Ведомству хотелось знать моё мнение об этом, безусловно, с его точки зрения, вражеском издании. Был декабрь 1976 года, и до горбачёвской «перестройки» было ещё далеко.

Я ответил кагэбэшнику, что рецензировать «Континент» не буду. Когда я приехал домой и рассказал об этом Виктору, с ним случилась истерика. Он сжал виски ладонями и, качаясь на стуле, как человек, у которого страшно болит голова, приговаривал: «Зачем ты мне это рассказал? Зачем ты мне это рассказал?»

Видать, и ему пришлось наносить подобные визиты. Тогда интеллигенцию с упрямством, достойным лучшего применения, просеивали через это сито. И у каждого, кого, по существу, призывали стать стукачом (в моей жизни это случалось дважды), лежала на сердце гиря. Это был груз стыда и ненависти: стыда за то, что не сразу послал их подальше, и ненависти к себе, всё ещё не изжившему страх.

* * *

Перечитывая сейчас письма Виктора, вспоминая, как мы жили у него в Питере, как возился он со мной, когда меня сбил мотоцикл, как протирал водкой рану и бинтовал мою ногу, а потом весь вечер следил за мной с дивана (так мать не спускает глаз с ищущего её поддержки ребёнка), я спрашиваю себя: почему мы не виделись последние двадцать лет? Почему, приезжая в Питер или проезжая через него по много раз в году, я не позвонил ему и не зашел?

Он-то в Москву не наведывался, да и по Петербургу передвигался с трудом. Моя вина. Моя глупая боязнь, что у него другая жизнь (он женился), что подзабыл меня, что... да Бог знает, что это «что»...

Одно утешает меня: я никогда не увижу его старым, погасшим. Я не увижу его беспомощным и стыдящимся этой беспомощности. Я буду помнить его молодым, весёлым, победоносно-весёлым. Может быть, даже усталым, с натянутой на скулах кожей в мгновенья сердечных вспышек, но зато и со светящимися зайчиками в глазах, обещающими разрядку.

Я буду видеть его таким, каким он был в наш приезд в Ленинград. Он в своей обычной позиции на диване, работает телевизор, а на стенах, на стульях, на всей имеющейся в комнате мебели развешаны или стоят акварели. Пылают огнём маки, солнце пробивает листья клёнов, и всюду веселье цвета, превращающее эту тёмную квартиру в сотворённый рай.

Виктора нет, а его маки горят. У любви, ласки и красоты смерти нет.

2003

КРАСНЫЙ БИЛЕТИК

В ноябре 1976 года в моей квартире раздался звонок. Обладатель незнакомого голоса предлагал встретиться. Я спросил, кто звонит. Мне анонимно ответили: «Из КГБ».

— Если вам нужно, приезжайте, — ответил я.

— У нас это не принято, — сказали на том конце провода.

Я уклонился от встречи, ссылаясь на то, что перегружен работой. Но недели через две тот же абонент позвонил снова. Он очень настаивал, и я поехал в гостиницу «Россия».

Номер на двоих. Чисто застеленные постели. Явка.

Ражий мужик из молодых, в гражданской одежде, протянул мне руку и пригласил присесть у журнального столика. Я попросил предъявить документ. Красные корочки. Фотография сходится. В графе «должность» проставлено: заведующий отделом литературы КГБ г. Москвы.

«Как высоко они ставят нашу профессию!» — подумал я. И спросил, что *они* хотят от меня. Мужик поднял стоящий у его ног здоровенный кейс и раскрыл его. На журнальный столик высыпались и веером улеглись номера журнала «Континент».

Уважаемое учреждение хотело, чтоб я написал на это издание отзыв. Небольшой отзыв на двух-трех страничках.

— Нам это очень нужно, — добавил ражий.

«Континент» редактировал Владимир Максимов, мой друг, с которым мы простились три года назад перед его

отъездом из СССР. Это был не отъезд, а высылка — выброс «нежелательного элемента» за границу.

Теперь «они» хотели нас поссорить, столкнуть лбами, взять на арапа. Но мы недаром прошли через детские дома и колонии. И такие номера с нами, бывшею шпаной, провернуть не удастся.

Я запустил кагэбэшнику «дурочку». Я спросил, читал ли он доклад Л. И. Брежнева на последнем съезде КПСС. Ражий выпучил глаза. «Да, да, читал, конечно». — «А помните, что там сказано?» Пауза. Явно не схватывает, о чём я. «Так вот, в докладе Леонида Ильича сказано, что талант — это национальное достояние и его надо беречь. Что же вы меня не бережёте?»

Отзыв на «Континент» написал тогда, наверное, кто-то другой.

Помню наше последнее свидание с Володей в его однокомнатной квартире на Бескудниковском бульваре. Постоянно хлопала сорванная с замка входная дверь. Володя не успевал чинить её — к нему то и дело наведывались непрошеные гости. При каждом ударе двери он вздрагивал — обстановка была нервная. Мы долго говорили. На прощанье он подарил мне роман Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, Ангел».

Сам он через шестнадцать лет вернулся, но шестнадцать лет — это целая жизнь, которую мы прожили врозь. Изредка от него доходили какие-то известия, на фотографиях, сделанных в Париже, я не узнавал Максимова: он был при галстуке, в костюмной тройке, на лице — литая солидность.

Я познакомился с ним в 1963 году в редакции журнала «Знамя», на Тверском бульваре. Он уже напечатал первые свои повести, имевшие успех, но внешне мало походил на писателя: старенькое пальто, потёртая заячья шапка, вылинявшее кашне.

Тогда по Москве ходила глава из его романа «Семь дней творения». Её читали по ночам, передавая друг другу как особо опасный политический текст. Меж тем, это была прекрасная проза, как бы высеченная из одного куска гранита неколеблющимся резцом. Максимов взял

один двор, один дом и, окольцевав время действия семью днями, прошелся по всей советской истории. Собранные как по заказу судьбы под одной крышей дворники и участковые, водопроводчики и плотники, артисты и тюремщики, зубные врачи и проститутки составили макрокосм романа — тот прообраз социалистической общины (или, если хотите, коммуны), где все палачи и все жертвы.

Роман вышел в 1971 году на Западе и сразу поставил Максимова на родине — вне закона, а по ту сторону границы — на пьедестал славы. И не к отмщению взывала эта книга, а к состраданию по отношению ко всем несчастным. «Я только что кончил читать книгу Владимира Максимова, — писал Генрих Бёлль. — Мне кажется, что мы можем ожидать замечательных сюрпризов из Советского Союза».

Я прочитал главу, а затем и весь роман залпом и понял, как далеко опередил Максимов тех писателей, для которых эпоха Сталина стала темой номер один. Если для них счёты с властью стали альфой и омегой их усилий, то Максимов написал не антисоветский, а христианский роман, что, впрочем, не помешало властям счесть его антисоветским.

В 1975 году его лишили советского гражданства. В указе, подписанном Н. Подгорным, говорилось, что «Максимов В. Е. систематически совершает действия, наносящие ущерб Союзу ССР». Что имели в виду авторы этих строк? Его романы, его независимость и, конечно, выходящий в Париже журнал «Континент».

Уже первые номера «Континента», в редколлегию которого вошли А. Сахаров, В. Некрасов, Э. Ионеско, М. Джилас, З. Шаховская, А. Синявский, а с девятого номера и Иосиф Бродский, вызвали рёв озверения в СССР. По радио и в газетах было объявлено, что журнал «финансируется западными секретными службами», что вокруг него собрались «отбросы эмигрантов».

Листаю сейчас номера «Континента» (подарок Володи — почти полный комплект журнала): на его обложках портреты Максимова, Солженицына, Буковского, Галича, Некрасова. Какие лица, какие прекрасные «отбросы»! То,

что печатал в «Континенте» Максимов, была не «литература пощёчин», как в шутку назвал писания эмигрантов Виктор Некрасов, а литература в высоком значении этого слова. К чести главного редактора, он давал высказаться в журнале не только друзьям и единомышленникам, но и тем, кто не разделял его взгляды.

Смятение произвела статья Максимова в девятнадцатом номере «Континента» — «Сага о носорогах». Это был вызов западной либеральной интеллигенции, замалчивающей ужасы коммунистического режима. Досталось здесь и эмиграции, подпевающей западным «левым».

Печатая «Сагу о носорогах», Максимов вместо эпилога к ней поместил письмо Марии Розановой, жены Андрея Синявского, с требованием «публично извиниться» за эту публикацию. Извинения не последовало, и Синявский вышел из редколлегии журнала.

Талант Максимова был ещё и талант бесстрашия. На родине он не боялся КГБ, на Западе — тех, кто олицетворял «прогрессивную общественность». «Для человека моего склада и характера, — писал он, — первым и, пожалуй, самым мучительным испытанием на Западе явилось полное смешение спектра этических, эстетических и политических критериев, принятых здесь в оценке людей, событий, ценностей». «Моральная эластичность» братьев-эмигрантов, подыгрывающих Западу, тоже не устраивала его.

Он стоял особняком.

Может, поэтому в той же позиции он оказался, когда весной 1990 года приехал в Москву.

Я подолгу бывал с ним рядом в эти дни. И видел, как менялось его настроение, как менялся он сам. Первые мгновения были мгновеньями опьянения: у Максимова — тем, что он *дома*, у пришедших на встречи с ним — тем, что он — среди них.

Полные залы, разговоры за полночь, непрекращающийся звон телефона в квартире, где остановился Максимов. Но ему, обретшему за годы жизни *там* политический опыт, было ясно: шум, поднятый вокруг его приезда, — временный шум. Власть, печать уже захватывали «демократы» — все, как один, члены КПСС. Вчерашние дисси-

денты им были не нужны (живой укор их «компромиссу» с прежней властью), даже враждебны.

Вторая и третья линии номенклатуры выстраивались в прочную стену, призванную преградить путь наверх героям и страдальцам.

Больно ударил по Максимову и раскол интеллигенции. «Правые» с ненавистью смотрели на «левых», «левые» — на «правых». Он ездил и к тем, и к другим. Уговаривал помириться, ибо разъединение ни к чему, кроме как к крови, не приведёт. Но только раздражил и тех и других. Он передал «Континент» другому редактору и, презрев свои литературные планы, бросился с головой в борьбу. Но здесь его ждали те самые номенклатурные цепи.

Глубокое отчаяние от лицезрения плода своих трудов (разве он не положил полжизни на то, чтобы коммунизм пал?) овладело Володей. Думая оказаться в новой России *среди своих,* он оказался *среди чужих.*

Его перестали печатать в «демократических» газетах. Если раньше они заискивающе просили его стать их автором, то теперь его резкие интервью не проходили через «свободную» цензуру. И он, которого коммунисты готовы были повесить на фонарном столбе, вынужден был печататься в «Правде». После его смерти статьи, опубликованные в этой газете, вышли отдельной книжкой, название которой — «Самоистребление» — говорит само за себя.

Одной из страшных зараз, распространившихся в годы свободы, он считал нигилизм, отрицание всего и вся в русской истории. Нашлись люди, которые стали называть наше прошлое «исторической кляксой». Возражая им, Максимов писал: «...в наше время нигде, ни в цивилизованной, ни в нецивилизованной стране, никто и никогда не позволит безнаказанно напечатать и произнести вслух ничего подобного об истории ни одного народа, даже если у этого народа вообще не было истории... я также берусь утверждать, что до бесконечности плевать в лицо целому народу безнаказанно не придется».

Кто из нас не подпишется под этими словами?

Выстрелы 1993 года, когда русские стреляли в русских, попали ему прямо в сердце. Вместе с Андреем Синявским,

с которым Володя не разговаривал четырнадцать лет, он сел и составил письмо Ельцину, где предлагал тому немедленно подать в отставку. Как человек, занимавшийся историей Гражданской войны 1918—1921 годов, он понимал, что нового братского кровопролития Россия не выдержит.

Но не выдержал первым он. Скоротечный рак унёс его в могилу.

Передо мной стоит его фотография, сделанная у дома в Сокольниках, где он когда-то жил. Из него и ушёл после ареста отца и деда — ушёл по тем рельсам, которые и сейчас начинаются от станции Митьково, товарной станции Ярославской железной дороги, где голодные пацаны округи расправлялись когда-то с грузовиками с капустой.

Доброе, припорошенное снегом лицо. Такая знакомая мне улыбка. Последние годы я всё реже видел его улыбающимся.

Но сердце его было полно доброты. Кому он только не помогал — больному Андрею Тарковскому, больному Юрию Левитанскому, не счесть известных и неизвестных имён. Это был русский писатель в полном смысле этого слова. Для него жизнь и литература не стояли на разных полках. Как жил, так и писал, как писал, так и жил.

В детстве под платформами пригородных поездов мы находили билетики, которые пассажиры, подъезжая к Москве, выбрасывали из окон вагонов. Билетики были жёлтые и красные. Жёлтые билетики были билетики для электричек. Красные — для поездов *дальнего* следования. Найти красный билетик, на котором было напечатано: Владивосток—Москва, Хабаровск—Москва, Чита—Москва, считалось удачей.

Мне кажется, Володя нашёл и навек сохранил при себе красный билетик нашего детства.

2000

У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся,
Но на этом далёком свидании
До былой слепоты не унизимся.

К. Симонов

В начале 1965 года во Владимир, где я тогда жил, пришло письмо:

«Уважаемый Игорь Петрович!

Захотелось написать Вам, прочитав в первом номере “Вопросов литературы” обзор прозы 1964 года. Среди всего, что я прочёл, для меня самыми интересными были Ваши соображения. И те, которые касаются общих процессов литературы, в частности военной, и те, которые касаются моей книги.

Я без всякого удовольствия, напротив, с огорчением прочёл тот абзац в редакционном заключении, который касается меня и Вас. С особой скорбью прочел я фразу, в сущности, сводящуюся к тому, что раз критика единодушно отметила, что сей роман “одно из самых значительных произведений года”, то, стало быть, негоже никакому отдельно взятому критику сосредотачивать свое внимание главным образом на том, что в оном романе написано слабо. А почему, собственно, негоже? Почему о романе после нескольких десятков одобрительных рецензий не может существовать иных мнений и вообще и по частностям?

Словом, весь этот абзац в редакционном заключении дискуссии мне показался неправильным по существу. У нас уже есть в литературе несколько неприкосновенных авторов и неприкосновенных произведений. И вдруг промелькнувшая в этом абзаце даже отдалённая возможность попасть в их число меня испугала. Лично мне было инте-

ресно прочесть Ваши критические замечания о моей книге. Я отнюдь не с каждым Вашим словом согласен, но в то же время Ваши замечания наводят меня на мысли, которые мне кажутся важными и полезными для той новой работы, которую я сейчас делаю. За это спасибо.

С товарищеским приветом
Константин Симонов.
Москва. 29 января 1965 г.».

Я никак не ожидал, что мой критический «налёт» на роман «Солдатами не рождаются» вызовет у автора желание объясниться. Поступок Симонова меня тронул. Письмо знаменитого писателя литератору из провинции — такое не часто бывает. Я ответил, что буду рад, если мои замечания помогут ему в дальнейшей работе.

После явного успеха «Живых и мёртвых» (1959) роман «Солдатами не рождаются» воспринимался как ещё один прорыв в литературе о войне. В газетах и журналах писали, что Симонов идёт вперёд. На мой взгляд, он действительно продвигался, но исключительно в наращивании фактов. Мысль его при этом буксовала где-то у них в тылу. Об этом я и сказал в своем выступлении в «Вопросах литературы».

Честно говоря, я думал, что после обмена письмами наши отношения прекратятся. Но через некоторое время раздался звонок из «Литературной газеты». Звонивший мне редактор просил встретиться с Симоновым и написать статью для рубрики «Писатель за рабочим столом». При этом он добавил, что таково пожелание самого Константина Михайловича. Я согласился и поехал в Москву.

Симонов принял меня на своей квартире возле метро «Аэропорт» (теперь на этом доме висит мемориальная доска). Он был радушен, внимателен и настороженно откровенен. Меня это не смутило: всё же мы виделись в первый раз. Я, впрочем, предупредил его, что пришёл к нему не как интервьюер, а как литератор, который собирается писать книгу о его военных романах. Я смотрел на эти романы как на фотопортрет эпохи. И эпоха, как она от-

разилась в его прозе, и эпоха без Симонова интересовали меня более всего.

Первый роман «Товарищи по оружию», посвящённый военным действиям на Халхин-Голе, я отбрасывал сразу. Оставались «Живые и мёртвые» и «Солдатами не рождаются».

О них мы и повели речь.

Вспоминая сейчас эту встречу, я вижу, что говорил по преимуществу не хозяин, а гость. Мне хотелось убедить Симонова, что он подошёл к черте, которую, быть может, никогда не переступал. И что ему нужно её переступить. Я не знал тогда, что требую от него невозможного.

Симонову в ту пору ещё не исполнилось пятидесяти. Он был красив красотой зрелого мужчины. Высокий рост, седина в короткой, молодящей его стрижке, тёмные брови, тёмные усы, трубка, по-дворянски не выговариваемое «р». Запах душистого и, наверное, очень дорогого табака плавал по кабинету.

Не скрою, я волновался. О Симонове я знал с детства. Во время войны по радио читали его стихи. Один за другим появлялись фильмы по его сценариям. Стихотворение «Жди меня» стало чуть ли не фронтовой молитвой. Валентина Серова, которой Симонов посвятил это стихотворение, была любимой актрисой тех лет. Симонова изучали в школе, его портреты не сходили со страниц газет. Вместе с тем я знал, что его верная служба Сталину была оплачена шестью Сталинскими премиями.

Всё это создавало облик человека, о котором вряд ли можно было сказать правду в газете. Но там, очевидно, надеялись, что я задам Симонову вопросы, он на них ответит и потом, когда ему представят готовый текст, отцензурирует.

Мне понравился его кабинет и он сам. Всё в кабинете выглядело по-спартански скромно: полки с книгами, тахта, письменный стол. На столе нет привычного для писателя беспорядка. Он гол, в углу его стоит миниатюрный микрофон. Я слышал, что Симонов надиктовывает свои книги. Маленький кусочек из моей статьи в «Литературной газете» о его кабинете: «Нет шкафов с классиками, нет выстроившихся в ряд собраний их сочинений. На уров-

не протянутой вверх руки — папки, папки и папки. В них документы, факты, выписки из архивов».

Он снял с полки одну папку и положил её передо мной. На ней крупными буквами было выведено: «*О Сталине*». Чувствовалось, что этой папкой Симонов особенно дорожит. Я попросил разрешения заглянуть в неё. Здесь были собраны ещё не известные никому воспоминания о Сталине. Симонов сам их записывал со слов Г. К. Жукова, маршалов и генералов, не раз встречавшихся со Сталиным. Это был, говоря современным языком, эксклюзив.

Он и свои заметки о Сталине хранил здесь. А ему было что вспомнить — всё же он разговаривал с ним шесть раз. Для писателя это более чем достаточно. Может, именно поэтому Симонов так достоверно воспроизвёл обстановку кабинета Сталина в Кремле. Многие потом «списывали» у него то, что не имели возможности видеть сами.

Войну Симонов закончил в тридцать лет. Он ни разу не был ранен, хотя постоянно торчал на передовой. Власть его любила, женщины любили, он был богат, удачлив, впереди его ждала целая жизнь.

Это был в полном смысле этого слова советский барин. С 1917 года у нас народилась такая порода людей. Она была знатна не по рождению (хотя отец Симонова был калужский дворянин и генерал), а по приближённости к власти, по неслыханному по тем временам богатству (ходили слухи, что у Симонова открытый счет в банке), по избалованности славой. Кажется, он мог в этой жизни всё: писать что хочется, ехать куда вздумается, купить что пожелает.

Но это была свобода на привязи, в чём я скоро и убедился.

К тому моменту, когда мы встретились, Симонов стоял перед следующим романом, который должен был завершить его, если считать «Товарищи по оружию», тетралогию. Роман этот, как он мне сказал, будет посвящён окончанию войны, а точнее — сорок пятому году, взятию Берлина и Победе. Я спросил его, что он думает сделать с Серпилиным? Куда пойдет этот человек? Что, наконец, поймёт? Ведь он и так уже подошёл к той черте знания, за

которой его ждёт полный пересмотр прежних верований. Прощаясь со Сталиным в романе «Солдатами не рождаются», он понимает, кто такой Сталин. Он отправляется на фронт, где будет воевать против Гитлера, а Сталин и Гитлер теперь в его представлении одно и то же. Защищая отечество, он, по существу, защищает Сталина и его режим. Как выйти из этого противоречия? Что сказать, по крайней мере, самому себе?

Симонов не знал, что ответить. Помолчав немного, он предположил, что развитие его героя «пойдёт по нарастающей», что в новом романе он покажет его конфликт с особистами, последние дни войны (с тяжкими жертвами за Берлин), покажет перлюстрацию писем на фронте и то, что *армия устала воевать*, что солдаты весной сорок пятого не хотели умирать.

«И всё же, что станет с Серпилиным?» — настаивал я. Симонов снова замолчал. «Может быть, он зазнается», — выговорил он наконец. Я был обескуражен. И это развитие по нарастающей? И это вообще «развитие»? *Развитие* в том смысле, как его понимал Толстой, было чуждо его героям. В лучшем случае они поступали так, как требует идеологическая схема, а не их душа.

Я, наверное, как и его читатели, хотел не событийного продолжения, а качественного скачка, ибо Симонов подошёл к черте, которая была не что иное, как *черта дозволенного*.

Он всегда останавливался перед ней, понимая, что *по ту* сторону его ждёт, может быть, полная перемена жизни. Кажется, его отделял от пересечения границы только шаг, но шаг следовало сделать, а он этого не мог.

Симонов чувствовал, что надо *идти дальше*, но как было идти дальше, если он всю жизнь *шёл вровень*, равнялся на то, что думают наверху? Будучи от природы фактографом, а не мыслителем, он мог добавить к уже сказанному новые факты, увеличить их количество, но *провести историю через человека* было выше его сил. Все его герои — движущиеся модели идей, они внутренне не меняются — меняется лишь обстановка.

Я почти склонял Симонова к тому, чтоб он ступил ту-

да, куда никогда не решался ступить. Он это понял, и ему это не понравилось.

Не понравилась ему и моя статья в «Литературке», где я рассказал о встрече с ним. Наш диалог выглядел не как изложение его взглядов, а как мой спор с его нерешительностью, с тормозящей движение мысли страховкой. На публикацию он не откликнулся.

Прошло четыре года, и вышел роман Симонова «Последнее лето». В нём не было ни особистов, ни усталости армии, ни критики Сталина. И — ничего от прежних идей автора. Действие Симонов перенёс в сорок четвертый год, избавив себя от тяжести изображения конца войны. Стрелки часов на циферблате истории начали вдруг бодро отсчитывать ход назад. В 1966 году честные намерения Симонова уже были не нужны.

Изменилось время, изменился и Симонов. Он не нашел ничего лучшего, как убить Серпилина случайным осколком. Инстинкт конъюнктуры сработал почти автоматически, выведя его на нужные рубежи.

Я никогда не любил его стихов (по большей части зарифмованная проза), но «Жди меня» и «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» приросли к памяти, как собственная жизнь. Недавно один поэт (тоже, как и Симонов, фронтовик) сказал мне: «Неужели ты не видишь лжи в строчках "Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня..."? Сын может поверить, жена может поверить, но мать — никогда!»

Пожалуй, он прав. Но во время войны никто не обратил на это внимания. Солдат тосковал по женской любви: Симонов выполнил заказ его сердца. Но выше заказа сердца для него был другой заказ — тот самый, о котором Михаил Шолохов сказал: «Мы пишем по указке сердца, а сердца наши принадлежат партии».

Нужно было воспевать армию — он воспевал армию (поэма «Суворов», «Ледовое побоище»), надо было дать народу что-то интимное, лирическое (что тоже входило в замыслы партии) — он писал о любви («Пять страниц», «Первая любовь», «С тобой и без тебя»). Тут ему позволялось даже то, что не позволялось другим. «Мы лежали с

тобой в постели...» — писал Симонов, и читатель вздрагивал. Но его фантазии тут же пресекались. Автор продолжал: «...и думали о чём-то не постельном».

В любовных стихах он был житейски близок, телесен и аполитичен. При запрещённом Есенине они казались откровением.

Меж тем он *первый* (в «Живых и мёртвых») написал об отступлении, окружении и провалах в начале войны. Он первый выступил с осуждением повести Ильи Эренбурга «Оттепель», где хрущёвское потепление трактовалось как настоящая весна. И он первый занёс руку на Сталина в романе «Солдатами не рождаются». И вновь первый, поняв, что Хрущёв хочет рассчитаться со Сталиным, превознёс повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Подписанная им рецензия была напечатана в вечернем выпуске «Известий», опередив на одну ночь установочный отклик В. Ермилова в «Правде».

Но политический ветер меняет направление, и в 1973 году Симонов подписывает письмо против Солженицына.

Можно вспомнить и более далекие времена.

1949 год. Идет борьба с космополитизмом, Симонов делает на пленуме Союза писателей основной доклад. Не удовлетворившись им, пишет пьесу «Чужая тень», где громит советских учёных — поклонников Запада.

1954 год. В Ленинград приезжает группа английских студентов. Они встречаются с Ахматовой и Зощенко. Студенты спрашивают, согласны ли те с докладом Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Все знают, что к этой акции приложил руку Сталин.

Ахматова отвечает, что она с критикой согласна, Зощенко отвечает: «Нет».

Из Москвы прибывает делегация Союза писателей во главе с Симоновым. В Доме Маяковского созывается собрание. Симонов дирижирует расправой над Зощенко. Того вызывают на трибуну. Зощенко говорит, что никогда не признает себя подонком. И вообще, добавляет он, жить мне осталось недолго — и уходит со сцены. Поднявшийся из президиума Симонов кричит ему вслед: «Товарищ Зощенко бьёт на жалость!» Собрание клеймит отщепенца, и только две руки поднимаются в его защиту.

* * *

В 1965 году я ушёл от него в полной уверенности, что мы больше не встретимся. Но жизнь судила иначе. Всю осень и зиму я работал над книгой о Симонове. Я решил назвать ее «Цена долга». Цена долга для одних — жизнь, для других — и тут я имел в виду моего героя — право хотя бы на полуправду.

Симоновский текст плосок, обезличен (стёртый язык) и выстроен по чертежу социальной схемы. На недвусмысленно социальное (а почитай что, и политическое) и надо было откликаться недвусмысленно социально. Мне хотелось развить разговор, который начался в доме у метро «Аэропорт». Я погрузился в газеты тридцатых — сороковых годов, Симонов был газетчик — я читал газеты.

Читал, конечно, и его. Он тем временем начал печатать свои военные дневники. Они печатались выборочно, ибо полную публикацию ему не разрешали. Ходили слухи, что если эти дневники выйдут, мы узнаем нечто необычайное о войне.

Часть из них Симонову всё же удалось опубликовать, и отдельные, очевидно, «лояльные» главы были собраны в тонкую книжку. Я прочитал её после того, как неожиданно наткнулся на неизвестную мне повесть Симонова «Лель». Я убеждён, что и сегодня эта повесть не знакома читателю. Она была опубликована в журнале «Огонёк» (ноябрь 1957 года) и больше нигде не перепечатывалась.

А время появления её и сам факт её написания весьма примечательны.

Симонов писал «Леля» в Ташкенте, куда перебрался после печальных событий, связанных с публикацией романа В. Дудинцева «Не хлебом единым». Роман был напечатан в «Новом мире» в восьмом—десятом номерах за 1956 год. А в ноябре того же года в Будапеште вспыхнуло восстание против советской оккупации. Восстание было подавлено нашими танками, а когда стали искать его вдохновителей, то обратили внимание на будапештский клуб интеллигенции, носивший имя «Клуб Петефи».

Интеллигенция никогда не была любима советской властью: поощряла она только покорных. А тут — как раз

накануне событий в Венгрии — на страницах самого популярного (опять-таки среди интеллигенции) журнала «Новый мир» печатается роман, где главный герой интеллигент, изобретатель, который не может пробить брешь в номенклатурном бетоне и дать жизнь своему изобретению. Его гоняют из кабинета в кабинет, над ним смеются, он — изгой в социалистическом обществе.

На обсуждения романа Дудинцева, которые проходили в разных местах Москвы, ломилась та же интеллигенция, и остановить её в отдельных случаях могла только конная милиция.

Власть быстро связала два этих факта — восстание в Будапеште, «Клуб Петефи» и ажиотаж вокруг романа «Не хлебом единым». Симонов был снят с поста главного редактора «Нового мира». Чтоб не мозолить глаза, он укрылся в Ташкенте.

Повесть «Лель» была написана в тот момент, когда Симонов хотел «оправдаться» перед властью. Иначе зачем было брать в герои повести интеллигента и изображать его в столь отвратительном виде, в каком он его изобразил?

Симонов захотел прочитать мою книгу о нём. Я принёс ему рукопись и через некоторое время вновь оказался в квартире у метро «Аэропорт». Он сказал: «Вы использовали меня в лучших традициях русской критики». Сказано это было с разочарованием (всё-таки хотелось разборов, похвал), но и с пониманием моего права на такой подход.

Я действительно использовал симоновский назывной (то есть однозначно толкуемый) текст в своих целях. У критики в то время было два пути — окунуться в поэтическую стихию высокой прозы или, беря как материал легальную беллетристику, говорить о жизни что-то своё.

Симонов листал рукопись (на полях виднелись его пометы, сделанные красными чернилами) и что-то говорил по ходу дела. Но на одном месте он задержался, и я заметил, как лицо его покрылось краской. То было место, где я упомянул о его повести «Лель».

Вот что я написал об этом: «В симоновских дневниках сорок второго года записан случай, который произошёл с

ним в Феодосии. Освободив город, наши бойцы захватили его бургомистра — бывшего директора винного завода. Директор этот оказался предателем и трусом. Он подло вёл себя при немцах, подло вёл и на допросе. При бомбёжке падал со стула, дрожал, говорил, что "ещё оправдает доверие".

Этого директора Симонов в "Леле" превратил в писателя. Он заставил его говорить о "свободе творчества", о "свободе индивидуальности". Он заставил его редактировать газету при немцах, а потом просить у советской власти "прощения" за этот грех.

Писателя этого и звали Лель. После 1956 года он, оставшись в живых, стал писать письма и жаловаться на несправедливость и требовать "реабилитации". Он примазывался к освобождению безвинных, которое тогда началось.

Слишком уж очевидна была в этой повести связь между требованием свободы творчества и предательством, между разговорами об "искусстве для искусства" и продажностью. В повести был намёк: надо, ещё надо разобраться с теми, кого реабилитируют, надо посмотреть, кто они.

Страсти тех лет совершили насилие над правдой симоновских дневников».

«Мне не надо было этого печатать», — сказал он, подняв глаза от рукописи.

На этот раз мы говорили дольше, чем в первую встречу. Симонов завёл меня в смежную с кабинетом комнату, где на полу в папках лежали его военные дневники. Ему так и не удалось их полностью опубликовать. Я полистал некоторые страницы. Геркулесов труд. Тысячестраничная летопись войны. Всё, сбережённое от тех дней, которые, кажется, канули в Лету.

Он не знал, что с ними делать. Всё такой же знаменитый, моложавый, красивый, он был растерян. Похоже, впервые он не мог угадать, куда склоняется время. Поражённый свидетельством его беспрестанного труда (говорю о папках на полу), я почти утешал его. Я считал, что Константин Симонов может позволить себе несколько лет не печататься.

Я тогда не понимал ещё, что он органически не спосо-

бен к молчанию, к какому-то — пусть и недолгому — перерыву в печатании. Он был писатель минуты и, я думаю, в подсознании ощущал, что минута — и есть его век. Годы забвения, ни одной книжки, ни одной пьесы, ни одной статьи — это было не для него. Он должен был присутствовать *здесь и сейчас*.

Когда я сослался на Булгакова, который пятнадцать лет не видел в глаза вёрстки, Симонов тут же, будто ожидая этого примера, ответил: «Ну, Булгаков же написал пьесу "Батум"!» Да, Булгаков написал пьесу о Сталине. Но её писал «арестант», как Булгаков сам называл себя, — арестант, желающий выйти на свободу.

Симонова же назвать арестантом было никак нельзя.

Позже его военные дневники появились на свет, но не стали событием. Временное должно принадлежать своему времени. Переходя в другое время, оно теряет в цене.

А известный циник, бывший зам Симонова по «Литературной газете» и «Новому миру» Александр Кривицкий говорил мне на дорожках Переделкино: «Симонов сверяет показания дневников со сводками Совинформбюро, считая последние исторической реальностью. Смеху подобно! Эти сводки сочиняли мы, работники Агитпропа! И, чтоб не ранить душу народа, делали с картой что угодно: отодвигали, придвигали фронт, а то и просто тыча в нее пальцем, определяли, где наши, а где враг».

Симонов, в отличие от А. Кривицкого, не был циником. Он старался верить в то, что делает. Верил в Сталина, в то, что американцы хотят войны с СССР (пьеса «Русский вопрос»), что учёные-космополиты вредны советской науке, что Зощенко — не наш человек, что среди политических, брошенных в лагеря, не все безвинны.

Конечно, самым чистым периодом его жизни была война. Тут уж не следовало притворяться. Тут был не вымышленный, а настоящий враг, были понятные «наши» и понятные «не наши».

Поэтому, о чём бы он ни писал, он возвращался к годам, проведённым на фронте. К прекрасным мгновениям единения перед лицом смерти. В конце 1970-х Симонов вновь обратился к той поре и стал собирать на телевиде-

нии солдат Великой Отечественной. Немало имён он просто вызволил из забвения, и за это стоит снять перед ним шапку.

Вообще в жизни он был гораздо более человечен, мягок, даже открыт, чем в своих писаниях. Казалось, что литература для него одно (государственное дело, где надо всё выверять, не бросаться головой в омут), а жизнь, люди, отношение к близким и дальним — другое.

Когда я в конце шестидесятых пришёл работать в «Литературную газету», там почти с нежностью вспоминали о Симонове. Будучи главным редактором, он — в отличие от его преемников — всех знал в лицо, приезжая на работу, обходил редакцию, здоровался. Он многим помог — кому с квартирой, кому с телефоном, а кому — делая это инкогнито, — деньгами. Вне политики он был человек, а когда дело касалось её, — солдат партии.

Это портрет не только Симонова, но и многих людей того времени.

Расскажу один случай, который произошёл в конце 1960-х годов. Я тогда жил на Беговой улице в Москве и ходил обедать в ресторан гостиницы «Советская», где кормили недорого и вкусно. И вот однажды сижу обедаю и вижу, что в зал входит Симонов. Он меня увидел и подошёл. Я тут же вспомнил об одной просьбе, которая имела прямое отношение к нему. Юрия Буртина, моего приятеля, критика и публициста, работавшего тогда в «Новом мире», решили забрить в армию. Он получил повестку из военкомата и должен был явиться на сборный пункт. Твардовский, высоко ценивший Буртина и, по-моему, искренне любивший его, обзвонил всех военачальников, которые печатались в журнале. Те ничем не могли помочь. Буртин позвонил мне и спросил, не может ли Симонов, имеющий связи в армии, заступиться за него.

Услышав, что я хочу его о чём-то попросить, Симонов отвёл меня в сторону и внимательно выслушал. Ответ его был таков: «Я могу лишь облегчить его положение в казарме». Мы с Буртиным потом долго смеялись этой фразе.

Говорил ли в Симонове военный, чьим богом была дисциплина, или отошедший от «Нового мира» автор, не же-

лающий брать на поруки незнакомого ему литератора, — не знаю.

С Буртиным всё кончилось благополучно. Разыскали телефон начальника военкомата (простого майора), позвонили ему, и он распорядился оставить Юру в покое.

Встреча в «Советской» была последняя наша встреча. Моя книжка о Симонове была благополучно зарублена. Критик Анатолий Бочаров написал в своем отзыве, что я «преувеличил отрицательное значение культа личности Сталина».

Симонов, конечно, не имел к этому никакого отношения, но люди, «пасущие» его и желающие представить в ином, чем у меня, свете, добились чего хотели. И через год в том же издательстве вышла книжка другого автора, который впоследствии стал литературным душеприказчиком Симонова.

«Последнее лето» читали уже вяло, голод на правду утолял самиздат. Начиналась иная пора, и Константин Михайлович искал в ней места.

Не получалось.

На войне у него родились стихи:

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

Эти строки и сейчас ранят душу. Говорят, он был храбр и удивлял своей храбростью военных.

Ему ещё предстояло пережить падение «Нового мира», смерть Твардовского, высылку Солженицына, к которой он приложит руку, и погружение литературы в цензурную тьму. Слава его начнёт меркнуть, её заслонят такие книги о войне, как «Убиты под Москвой» К. Воробьёва, «На войне как на войне» В. Курочкина, «Пастух и пастушка» В. Астафьева. Перед самой смертью он начнёт печатать в «Знамени» «Записки человека моего поколения». Но не найдёт в себе силы без шор увидеть прошедшее. Он опять будет половинчат, не до конца откровенен, а если и попробует пойти на откровенность, то тут же сам осадит се-

бя. Эта робость, при всей его внешней мужественности, так и останется непреодолённой.

В «Записках человека моего поколения» Симонов расскажет о том, как присуждали Сталинские премии (он входил в комиссию, которая определяла лауреатов), как сам Сталин, беседуя с ними, «интеллигентами», выбирал лучших из лучших. И не почувствует при этом всей ложности своего и других положения, ибо могли ли «интеллигенты» распределять награды, даваемые палачом?

То ли конец 1970-х не давал никаких надежд, то ли встать над собой не хватало таланта, но и в этом последнем своём труде Симонов остался Симоновым.

В память о нашем первом свидании на моей полке стоят три тома подарочного издания трёх романов Симонова. Издание прекрасное: три томика в одном пакете, обложка — цвета гимнастёрки, а на обложке каждого тома знаки различия командного состава Красной Армии: на первом одна шпала в петлице, на втором два треугольника, на третьем — три лейтенантских кубика.

На титульном листе надпись: «Игорю Петровичу Золотусскому на память, дружески. К. Симонов. 20. IV. 66».

2002

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

С Александром Трифоновичем Твардовским я не был знаком. Видел его дважды: один раз, когда учился в Казанском университете (начало 1950-х), — он, только что посетив мемориальную аудиторию Ленина, в окружении сопровождавших его лиц стоял в холле первого этажа. Второй — 13 февраля 1970 года, когда Твардовский, уже снятый с поста главного редактора «Нового мира», покидал редакцию.

Случилось так, что я, пришедший туда по делам, и он, уносящий какие-то папки из покинутого им кабинета, вместе вышли на улицу. Вот что я записал тогда в дневнике: «Он — высокий, сильный ещё, хотя и грузный, в разъехавшейся шапке, широком пальто с воротником из чёрного каракуля, загорелый, глаза синие».

Жить ему оставалось полтора года. Рак скосил его, как вгрызшаяся в ствол пила срезает предназначенное для долгой жизни дерево.

Что бы ни говорили и ни писали о Твардовском, но то, что он сделал за двенадцать (1958—1970) лет своего пребывания во главе «Нового мира», быть может, перевешивает всю его остальную жизнь. Ибо эти двенадцать лет были восхождением к подвигу.

Он дважды вступал в должность главного редактора, и дважды власть изгоняла его. В конце 1953 года он напечатал статью В. Померанцева «Об искренности в литературе», но искренность в те годы считалась крамолой. Вто-

рое изгнание было уже не изгнание, а — убийство. Одиннадцать писателей, иные из которых до сих пор здравствуют, напечатали в «Огоньке» письмо, где потребовали от правительства *покончить* с Твардовским. «В провокационной тактике “наведения мостов”, сближения или, говоря модным словом, “интеграции идеологии” они, — писали его авторы о сотрудниках редакции, — *словно бы* не хотят видеть диверсионного смысла».

Призыв к расправе был услышан.

После этого ни Твардовский, ни журнал уже не могли оправиться. Вскоре один за другим умерли (и от одной и той же болезни — рак) сам Твардовский, заведующий отделом прозы Ефим Дорош, заведующий отделом публицистики Александр Марьямов, заместитель главного редактора Алексей Кондратович. На кладбище снесли полредакции, в погост превратился и новый «Новый мир».

Вот запись из моего дневника от 11 февраля 1970 года: «Исторические дни. Падение “Нового мира”. Сегодня был там. Эвакуация. Вывозят и рвут бумаги. Лихорадка... кривые улыбки, растерянность. Кто-то ещё пытается что-то предпринять, куда-то звонить, но ясно, что это конец. Конец целого периода. В последнее время они дышали на ладан, но всё же дышали. И мы, как через трубку, дышали через них. Последняя *иллюзия общего* истреблена».

Видел я в тот день и Солженицына. Он был оживлён. Даже весел. Для него ничего не кончилось, для людей, окруживших его в коридоре, заплаканных, потерянных, кончилось всё.

Авторы приходили и уходили. Они уносили свои рукописи, уже одобренные редакцией. Это была акция солидарности, акция верности Твардовскому. Не хотели печататься у тех, кого уже назначили на его место. Твардовский страшно переживал, когда узнавал, что кто-то всё же колеблется и готов печататься *уже не в его* журнале. Василь Быков рассказывал мне, как он позвонил Александру Трифоновичу и спросил, как ему быть с лежащей в «Новом мире» повестью «Сотников».

Взбешённый Твардовский ответил: «Ах, вы не знаете, как вам быть?..»

Бросил трубку.

Для него один этот вопрос уже означал измену.

Солженицын в книге «Бодался телёнок с дубом» пишет, что Твардовский был всё же советский поэт и советский человек. А кто из людей того поколения не был им? Твардовского стали ломать с детства, когда вся его семья отправилась в ссылку в Сибирь. Из записок его брата Ивана мы узнали, что дальше стало с ним. Твардовский уже работал в Смоленске в газете, напечатал поэму «Путь к социализму». Его карьера складывалась удачно. И вот однажды ему позвонили с вахты и сказали, что внизу его ждёт какой-то человек.

Этим человеком, тайно покинувшим место ссылки, оказался его отец. И сын сказал отцу: уходи.

Видеть превращённую в пепелище деревню, уничтоженное крестьянство — и писать поэмы о коллективизации, о социализме, получать Сталинские премии, быть депутатом Верховного Совета, кандидатом в члены ЦК — как всё это совместить? Как совместить эту ложь с честной поэмой о русском солдате (я имею в виду «Василия Теркина»), которой восхищался Бунин?

Это судьба наших отцов и старших братьев. Не будем судить их. Постараемся понять их муки.

При Хрущёве Твардовский пишет поэму «Тёркин на том свете», где советская жизнь изображена как преисподняя. Именно туда попадает после своей смерти его герой. Он устраивает ревизию «чёртовому племени», то есть советским бюрократам, и жестоко осмеивает их. Только вмешательство Хрущёва помогло этой сатире явиться в свет.

Финал жизни Твардовского — финал героический, хотя звания Героя ему не дали из-за того, что в год своего шестидесятилетия (к нему и должны были приурочить Звезду) поехал в Калугу навестить содержавшегося в психиатрической больнице Жореса Медведева. Когда его стали отговаривать от этой поездки, ссылаясь на то, что указ о звании Героя уже подписан, он сказал: «Если не я, то кто же? Если не сейчас, то когда же?»

Про Сталина он писал хвалебные стихи, а его наслед-

ников не жаловал. В конце шестидесятых он уже знал, что живёт не в той стране, которую воспевал. Ибо никакой *совет*ской власти (от слова «советоваться») не было и в помине.

Один поклонник Твардовского уверял меня, что автор «Тёркина» не столько поэт, сколько деятель. К тому же, добавлял он, у того нет любовной лирики. Действительно, любовной лирики у Твардовского нет. Даже глава из «Василия Тёркина», которая так и называется — «О любви», слишком обща, чтобы в ней можно было разглядеть какое-либо личное чувство. Что причиной тому? Советская зажатость?

Но в последних стихах Твардовский иной: печально-открытый, исповедально-близкий.

Перевозчик-водогрёбщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону,
На ту сторону, домой.

Всю жизнь он писал большие поэмы. Он был поэт эпический. Прятавший в эпосе то, что едва-едва приоткрывалось в его лирике. Но стихи о перевозчике-водогрёбщике — великие стихи. Это лирика, поднявшаяся на высоту эпоса. На высоту, взятую на пороге смерти.

Твардовский пал как невольник чести. И так же, как и Пушкин в известном стихотворении Лермонтова, «оклеветанный молвой». Его оклеветали те, кто «толпился у трона» и чьи имена давно канули в Лету.

Мы же, жившие с ним в одно время, будем до конца дней помнить о нём. За нами придут другие. И их память, надеюсь, благодарно откликнется на его имя.

2000

РЫЦАРЬ-ОРУЖЕНОСЕЦ

Начну с эпизода, который произошёл незадолго до того, как Юра ушел от нас.

Был поздний час. Гости уже расходились. Я вышел проводить Юру до метро. Когда открылась парадная дверь, мы услышали, как в соседнем подъезде кто-то отчаянно просит о помощи. Кричала женщина. Собравшаяся толпа гудела, кто-то показывал на окна пятого этажа: крики, судя по всему, неслись оттуда. Мы направились своей дорогой (дескать, какое нам дело до чужой драки), как Юра вдруг резко развернулся и двинулся навстречу крикам. Что оставалось делать? Мы пошли за ним.

Нам стали советовать не связываться «с этим хулиганьём», но Юра (он в то время уже хромал и пользовался при ходьбе палкой) решительно рассёк толпу, вошёл в подъезд и нажал кнопку лифта.

Лифт поднял нас наверх. На площадке пьяный мужик таскал за волосы женщину. Они только что вывалились из квартиры, где и началось побоище. Мужик, наконец, бросил женщину на пол и, матерясь, стал рвать на ней лифчик.

И тут Юра встал между ними.

Не стану описывать дальнейшее, скажу только, что пьяный попятился и отпустил жертву, лицо которой было в крови. Та мгновенно поднялась и с ходу принялась защищать обидчика (оказалось, что он её муж), прося нас не вмешиваться. Вероятно, она решила, что мы хотим вы-

звать милицию. Муж, присмиревши, сказал ей: «Идём!», и дверь за ними захлопнулась.

В тот вечер Юра дал нам понять, что он не дрожащий за свою жизнь инвалид, а мужчина. И к тому же бывший офицер, но не из тех, что сегодня продают солдат и глумятся над ними, а из тех, что ещё помнят о законе чести.

Юра рано остался сиротой. Отец его, Владимир Ставский, усыновивший Юру в первые дни войны, погиб на фронте, мама (она была красавица) умерла в 1945-м. Сейчас урна с её прахом и с прахом сына стоит в одной нише в стене Новодевичьего кладбища. В двух шагах от них похоронены Гоголь, Чехов и Михаил Булгаков. Когда я бываю там, то навещаю сразу всех. Булгаков и Чехов лежат рядом с жёнами, а Гоголь — в одиночестве. Юре с мамой: им, кажется, легче вдвоём нести ношу вечности.

Мама его писала (и печатала) стихи, и, наверное, следуя её примеру, Юра не остался в армии, а поступил на факультет журналистики МГУ. По окончании его работал в «Учительской», а потом в «Литературной газете», которая и свела нас.

Когда мы познакомились, он был в расцвете своей красоты (не боюсь так говорить, хотя речь идёт не о женщине). Волнистые каштановые волосы, яркие голубые глаза, нежные губы. Моя квартирная хозяйка называла его «молодой Байрон». Он и вправду походил на Байрона, но стихов не писал, а больше уважал устный жанр, в котором, если иметь в виду чтение рассказов Зощенко, ему не было равных.

Говорят, Зощенко читал свои вещи с отстранённо-серьезным лицом: зал катался от смеха, а автор сохранял самообладание.

Юра не подражал Зощенко, но во время чтения тоже не улыбался, зато я, знающий наизусть ударные места, не мог удержаться от хохота.

Затрёпанная книжка Зощенко всегда была у него под рукой. Когда появлялась пауза, он раскрывал её и приступал к чтению. В его репертуаре особое место занимал рассказ «Аристократка». Юра начинал читать его не спеша и как бы не имея никакого отношения к происходящему,

но внезапно, переходя на голоса двух действующих лиц — пролетария и приглашённой им в театр аристократки, подносил огонь к фитилю готовой взорваться гранаты. И она взрывалась — аудиторию охватывало бешеное веселье.

История о пролетарии и аристократке и смешна и грустна. Ведь дамочка, которую несчастный ухажёр в антракте привёл в буфет, «пожрав» гору пирожных, «пожрала» заодно и его месячное жалованье.

Зощенко Юра обожал, и уже в 1960-е знал о нём почти всё: всё о его жизни, о женщинах, которых тот любил, о его привычках, странностях и характере. И хотя на первых порах это было только хобби, чем более Юра входил в мир Зощенко, тем очевидней делалось, что тут не хобби, а любовь. Его бесцельная до этого жизнь приобрела цель: он призван был защитить Зощенко, возвеличить Зощенко, поднять его на вершину, где обитали гении русской литературы.

В начале 1970-х он принялся рыскать по «букам», по частным лицам, обменивать дорогие книги из своей библиотеки на любую тощую брошюрку с заметками Зощенко о мастерстве или его короткими рассказами. В копилку шли книжки, вышедшие в библиотечке «Огонька» и в библиотечке «Крокодила», книжки для малышей и книжки для взрослых. Лет через пятнадцать на стеллаже в его кабинете толпились бесчисленные прижизненные издания Зощенко. Позже вдова Юры Тамара за символическую плату передала эту коллекцию музею-квартире в Петербурге.

Юра долго не решался писать о своем любимце. Он желал знать о нём больше и больше и прежде всего (что может показаться причудой человеку нашего времени) заслужить право на это писанье. Не сразу он познакомился и с женой Зощенко Верой Владимировной и его сыном Валерием. Когда знакомство состоялось, Юра стал своим человеком в их доме.

О том, как к нему относился сын Зощенко (внешне — точная копия отца), я сужу по одному вечеру, проведённому вместе с ним и с Юрой в Театре имени Гоголя. Там давали пьесу Зощенко «Парусиновый портфель». Валерий

Михайлович, смуглый, черноволосый, застенчивый и с такими же, как у отца, маленькими детскими ручками, весь спектакль просидел молча. Он лишь изредка благодарно оглядывался на Юру, приведшего его сюда. В его глазах была и благодарность, и печаль. По выходе из театра он покорно пошёл за Юрой, кивнув мне на прощанье.

Не будь моего друга, у Зощенко не было бы музея, не было бы изданий множества его книг, в своё время изъятых из библиотек или просто неизданных. Некоторые из них по-прежнему состояли под запретом, поскольку ни доклад Жданова 1946 года, где Зощенко был объявлен «подонком», ни постановление ЦК ВКП(б) по этому докладу не были пересмотрены. Надо было пробивать Зощенко через цензуру и через заградотряды, состоящие из рецензентов, редакторов, главных редакторов и так далее.

Под музей удалось отбить квартиру Зощенко в доме на Екатерининском канале. Дом этот одной стеной выходит на печально знаменитую набережную, где террористы убили Царя-Освободителя, а другой — на улицу, которая до недавнего времени носила имя вдохновительницы этого злодеяния — Софьи Перовской. Сегодня на доме две мемориальные доски: одна с именами известных писателей и историков литературы, живших здесь, вторая — посвящённая только Зощенко. Я думаю, это справедливо.

Осенью 1992 года с телевизионной группой, снимавшей передачу о Зощенко, я побывал в этом доме. Юра, участвовавший в нашей передаче, в Петербург не поехал, но в музей мы вошли с его рекомендацией.

Молодые сотрудники разрешили нам снимать всё. Они боготворили Юру не меньше, чем самого Зощенко. В те годы он уже считался признанным правопреемником автора «Голубой книги» — естественно, не юридическим, а по праву преданности и бескорыстия.

В литературе Юра был однолюб — к счастью для объекта его любви и к собственному счастью. Как этот мальчик, бравый офицер, а в прошлом сын двора и улицы смог стать тем, кем он стал? Ведь в учёном мире его, не имеющего степеней, признали авторитетом номер один в зощенковедении. К нему обращались за консультациями, ему

писали и звонили из разных стран, приглашали читать лекции, вести вечера памяти Зощенко. Ни одно событие, связанное с Зощенко, не совершалось без его участия.

Он дважды побывал с лекциями в Америке, а когда Юры не стало, его коллега из США, позвонившая мне, спросила: кто теперь в России будет главный специалист по Зощенко? И по сей день, когда речь заходит о Зощенко, тут же вспоминают Юрия Томашевского. Их имена прочно срослись, как срослось имя Дон Кихота с именем его оруженосца.

С седьмого класса Юра ушёл в военное училище. После смерти матери он жил с отчимом, главным редактором «Крокодила» Сергеем Александровичем Швецовым, которого ласково называл «Серёжа». Когда Сергей Александрович женился, Юра покинул родной дом. Окончив одно училище, он поступил в Рязанское артиллерийское и в двадцать два года стал лейтенантом.

Известно, чем жива офицерская среда (Юра служил в Черняховске): карты, вино, женщины. Что касается женщин, то они пленялись им с первого знакомства: остроумный, весёлый, интеллигентный (хотя и с крепким солдатским словцом в разговоре), он прекрасно вальсировал, любил песни Вертинского, Козина, знал уйму анекдотов. К тому же ему было дано природное благородство — он никогда никому не завидовал, не ревновал к чужому успеху, а, наоборот, радовался, когда кто-то из его знакомых удостаивался признания. Он только одного желал при этом: чтоб успех был закреплён порядочностью.

Юра считал, что одного таланта мало, надо ещё и душевно соответствовать ему. Как соответствовали такие любимые им современники, как Константин Воробьёв (Юра первый написал о нём), Владимир Тендряков, Гавриил Троепольский. Он и в Зощенко чтил несгибаемость, бесстрашие, не расходящееся, впрочем, с болезненной деликатностью.

Юра и сам был таким.

Он ценил Твардовского (фотография, запечатлевшая похороны Твардовского, стояла на его книжной полке), преклонялся перед Солженицыным. Позже благоволил к

Ю. Алешковскому, Сергею Довлатову. Помимо чуткости к слову у него был абсолютный слух на звучание нравственной струны.

Из людей его поколения, пошедших в филологию, вышло не так много сортировщиков литературных мелочей (именуемых литературоведами). Большая часть подалась в критику, которая в те годы была и исповедью и проповедью. Скрыть себя за ширмой эстетических пассажей здесь было нельзя. Критик той поры писал не столько о писателе и его книге, сколько о себе и о времени. Он пропускал и книгу, и время через себя. Может, поэтому его статьи и читали, не в пример нынешним дням, когда аудитория критика сократилась до узкого круга лиц.

Юре, как многим из его поколения, был дан шанс проверить свой символ веры на деле. И он этот шанс не упустил.

В 1956 году Юра вступил в партию. Хрущёвская оттепель не одного его привела в её ряды. Хотелось верить, что это надолго. А когда ударили заморозки, Юра перешёл исключительно на чтение самиздата. Оттого благонадёжность его была решительно подвергнута сомнению. Он не только читал непозволительные рукописи, но и охотно давал их читать другим.

В конце концов, поработав в «Литературной газете», в издательстве «Советский писатель», в журнале «Смена», он остановился на Литературном институте, где вёл курс по мастерству и где быстро завоевал сердца студентов.

Уже после кончины Юры я обнаружил на его столе заполненный бланк заявления о присвоении доцентского звания. Он хотел жить, хотел работать, несмотря на то, что однажды, когда я провожал его от моего дома до метро, сказал: «Ты знаешь, я, наверное, в этом году умру». Он, действительно, плохо себя чувствовал в тот вечер и всю дорогу останавливался, чтоб положить под язык таблетку нитроглицерина.

Я пытался возразить ему, но он молча подтвердил своим взглядом: «Да».

Слава Богу, он прожил дольше, но не намного дольше, на несколько месяцев разойдясь с роковым сроком. Бук-

вально за три недели до того, как исполнилось его предчувствие, он был у нас на даче в Переделкине и был не один, а со своей американской знакомой, как и он, занимавшейся Зощенко.

У меня сохранились фотографии, сделанные в тот день: на одной моя дочь Маша, Юра и я. Юра о чём-то шутит с Машей, улыбается, поднеся к губам сигарету, в руке у него палка; на другом снимке — мы трое и его коллега из США на «аллее Пастернака». Аппарат зафиксировал в углу карточки день: 7.8.95.

Юра на этих снимках весёлый, каким он и был в тот солнечный, тёплый летний день. Господи, говорю я себе, почему друзья покидают нас? Почему оставляют жить без них, с одними воспоминаниями, которые только терзают душу? Эти воспоминания не утешат и не оправдают разлуки. Говорю «разлуки», потому что надеюсь на встречу.

Юра не верил в жизнь после смерти. Мы никогда всерьёз не касались этой темы, но я знаю: он ушёл, прощаясь с нами навсегда.

После него осталась тоненькая книжечка критических статей, изданная в 1975 году в Воронеже. Мог написать больше? Мог. Но — не хотел. Он с трудом, принуждая себя, садился за стол. Долго ходил по комнате, курил, заглядывал в какую-нибудь книгу, отвлекаясь, включал телевизор. Затем нехотя снимал чехол с машинки.

Он принимался за сочинительство только тогда, когда нельзя было не приняться. Когда торопили редакторы или данное им самим слово. Но даже при явной удаче Юра не переставал повторять, что писанье для него каторга, что ему больше по душе составительство, собирание текстов, работа в архиве.

Писал он чисто и ясно и лишь тогда, когда избранные им автор или книга были близки сердцу. А уж когда дело касалось Зощенко, то требования к себе поднимались на сто градусов выше. О Зощенко следовало писать *только очень хорошо*, и никаких поблажек тут не могло быть. Он черкал и перечёркивал, выстукивая на стареньком «Олимпе» бессчётное число вариантов, пока не добивался того, чего хотел.

Из-за нелюбви к «маранью» Юра оттягивал и написание биографии Зощенко. Он, наконец, начал её писать, но не дошёл и до середины. Эта биография стала бы главной книгой его жизни, если б не день 25 августа 1995 года, когда Юра, собирая грибы, вдруг упал в лесу на землю от страшной боли в желудке. Он долго полз в сторону дороги, надеясь, что хоть кто-то (машины редко проезжали здесь) подберёт его.

И чья-то воля послала машину, добрые люди подобрали и отвезли в больницу в Калязин. Здесь ему сделали операцию: оказалось — инфаркт кишечника. Юра жил ещё несколько дней. Реанимобиль доставил его из Калязина в Москву. В Боткинской больнице была сделана ещё одна операция.

И сердце моего друга остановилось.

Но что это я всё о страшном, тяжёлом? Ведь Юра, когда мы собирались, своими шутками, хохмами, неподражаемым передразниванием выговора генсека ЦК КПСС (чудная смесь мата с официозом), чтением Зощенко отгонял всё хмурое, что набегало на душу, заставлял вспомнить, что мы ещё молоды, а «те», «они» (так называли мы власть) пусть подохнут.

Часто, оставшись вдвоём, мы начинали мечтать. Тогда главным редактором «Литературной газеты» был Александр Чаковский. И мы — оба литгазетовцы (я появился в «ЛГ», когда Юра ушел оттуда) — не питали к нему приязни. Чаковский называл себя «цепным псом коммунизма», а мы недолюбливали и коммунизм.

Сидим, режемся в «аппендаум» (такая карточная игра), и вдруг Юра спрашивает: «Ну что, берём власть?» Я отвечаю: «Берём». — «А кого сделаем премьер-министром?» — «Нет, уж лучше генеральным секретарём». — «Ну, генеральным секретарем». Находим подходящую кандидатуру: Юра Буртин.

Буртин, как и мы, критик, замечательный парень, редактор отдела публицистики «Нового мира» и наш приятель.

«Представляю картину, — говорит Юра, — кабинет на Старой площади или в Кремле. За столом Буртин. Он — в кожанке. Перед ним на столе маузер.

Вводят Чаковского.

Буртин вежливо здоровается и переходит к делу: "Мы тут посоветовались (при этом его рука ложится на маузер)... и решили, что вы, Александр Борисович, будучи опытным газетчиком и патриотом родины и... партии, окажетесь полезны на отстающем участке".

"Где?" — спрашивает дрожащий Чак (его редакционное прозвище).

Буртин встаёт, подходит к висящей на стене карте СССР, и его палец упирается в какую-то точку в районе Чукотки: "Вот здесь".

Вернувшись за стол (и не пригласив сесть Чаковского), он поясняет: "Вакантно место редактора 'Чукотской правды'. Трудный участок, но почётный. Желаю удачи".

Скрипя кожею, Буртин встаёт и, не подавая Чаковскому руки, говорит: "Вы свободны".

Чака, бледного, как стенка, выводят из кабинета».

Нас корчит от смеха. Взрослые мужики, мы радуемся этой воображаемой победе добра над злом. Мы и сами смешны, конечно. Но нам хорошо, мы в ударе, мы торжествуем. И мы — живём.

Так, кажется, мы просмеялись с Юрой полжизни. Половину той жизни, которую прожили бок о бок. Мы редко расставались, разве когда разъезжались в отпуск или в командировки. Я с семьей ездил в Коктебель, в Дом творчества, Юра предпочитал деревню, речку, рыбалку. Однажды, поддавшись моим уговорам, он с женой и дочерью посетил Чёрное море, но и там искал место потише, где можно было укрыться от людей. В конце концов, уйдя в степь, он нашел какое-то озерцо, поросшее по берегам камышом, и пристроился там с удочкой. Писательский отдых (лежанье на пляже) был не по нему.

Выросши в Москве, он был городским человеком, но редко наведывался в театр, в консерваторию и уютней всего чувствовал себя дома, в своем прокуренном, пропахшем запахом дешевой «Примы» кабинете. Там смотрел футбол (болел за московское «Динамо»), читал, принимал друзей.

«Приму» он покупал оптом, сразу по двадцать—

тридцать пачек. И клал их на батарею, чтобы подсохли. Курить ему было нельзя, но Юра, попробовав однажды перейти на леденцы, махнул рукой и вернулся к старой привычке.

* * *

Одно за другим выходили в свет подготовленные им издания Зощенко: трехтомник, детские рассказы, пятитомник, урезанные, а затем более полные «Воспоминания», книга «Лицо и маска Михаила Зощенко», где Юра собрал его статьи, отрывки из писем и записных книжек. Здесь же он впервые опубликовал составленную им (и до сих пор не имеющую аналогов) «Канву жизни и творчества Зощенко».

Составил он и том Александра Вертинского «Дорогой длинною», которого, как я уже сказал, любил и пластинки которого собирал с детства. В газетах и журналах выходили статьи Юры, а коллекция книг Зощенко в его библиотеке продолжала расти. Готовя «Воспоминания», он многое записывал сам, обходя людей, которые знали Зощенко, были соседями по дому на Екатерининском канале. Этих авторов он просто открыл и ввёл в литературу впервые.

И он был счастлив, что застал их в живых.

Может показаться, что в девяностые годы всё это легко шло в печать, так как грянула «перестройка». Но и тогда редакторы, воспитанные при советской власти, вынимали из воспоминаний о Зощенко целые абзацы, а то и выбрасывали весь текст, от чего Юра страдал не меньше, чем от взявшей его в тиски стенокардии.

И хотя издание получилось замечательным, он, помню, вернувшись из Петербурга, ещё на вокзале, где мы его встречали, сказал, что убит самодеятельной правкой и изъятиями, сделанными без его ведома. У Юры любое непрошеное прикосновение к Зощенко вызывало боль.

Может быть, эта способность ко всему, что он делал, относиться с сугубо личным чувством и сделала его жизнь состоявшейся.

Иван Ильин назвал модернистскую культуру XX века «бессердечной».

То, что писал, редактировал, комментировал Юра, принадлежит к «сердечной» культуре. В воспоминаниях М. Мухранской, появившихся в книге о Зощенко благодаря розыскам Юры, есть эпизод, в котором как в капле воды отразились два человека: Михаил Михайлович Зощенко и мой друг. Как-то в квартиру мемуаристки залетели два голубя. Пользуясь попустительством хозяйки и её постоянного гостя (то есть Зощенко), они остались и свили здесь гнездо. Когда самка отложила яйца и пара поочередно согревала их, всякое приближение человека вызывало у них желание ущипнуть наглеца. И Зощенко, передвигаясь по тесной и маленькой кухне (а дело происходило именно там), совершал немыслимый по отдалённости от гнезда обход, чтоб только не потревожить беззащитных родителей.

Эта деликатность по отношению ко всему живому, а тем более, слабому была свойственна и Юре. Он был человек тонкой организации.

Когда у меня умер отец, я тут же позвонил Юре. Он приехал и провёл со мной все дни вплоть до похорон. Он ночевал у меня, водил меня обедать, отвлекал, как мог, и, конечно, присутствовал на всех скорбных мероприятиях. Я, как сейчас, вижу его лицо среди лиц, пришедших проститься с отцом, и оно мне говорит: «Не отчаивайся, я с тобой».

Эх, если б это «я с тобой» продолжалось вечно! Если б я слышал его и сейчас!

Не услышу. Но, когда встретимся за земною чертой, скажу ему: «Юра, мы вместе».

2003

Часть III

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: СМЕНА ВЕХ

ПРОЩАЙ, XX ВЕК

В Москве на рекламных щитах три слова: «Прощай, двадцатый век». Без восклицательного знака в конце. Без восторга. И — без сожаления.

Я проношусь мимо этих щитов на машине, и, по мере того, как стихает скорость (плотность автомобилей на улицах всё растёт), глазам моим представляется иная Москва — та, которую застал я, много лет назад появившись на свет.

Включается проектор памяти, и на невидимом полотне возникают тени детства, чёрно-белый фильм тридцатых годов, когда треть века уже была прожита, а прошлое казалось стёртым, как ненужная плёнка. «История возможна только тогда, тогда только возможно восприятие истории, если мировой процесс воспринимается как процесс катастрофический», — писал Бердяев. Может быть, как никогда ранее, это определение истории сделалось очевидным в XX веке. Если прежде, в конце столетия, ждали обвала Страшного суда, и его приход регламентировался высшими силами, то сейчас спровоцировать на земле апокалипсис может сам человек. Без второго пришествия и без воскрешения мёртвых.

Можно сказать, что в XX веке Бог отвернулся от нас или, точнее, мы отвернулись от Бога. Революции, массовые убийства — несомненный итог тотального обезбоживания народа. Взламывание замков, сторожащих тайны природы, — от того же. И отсюда — страшный ответный

её бунт (Чернобыль). Наконец, вражда Запада и Востока, кровавый счёт Востока Западу, предъявленный на исходе столетия (вызов мусульманского мира миру христианскому), — от падения веры.

Что дал XX век в философском плане? Безудержный рост материального начала. Идеал наслаждения возобладал над идеалом самоограничения. Если XIX век взошёл под солнцем романтизма, то через сто лет оно стало светить всё слабее и вскоре, вероятно, погаснет. Это не исключает того, что на каждом новом витке будут иметь место романтические элементы, но кривая духовной температуры человечества пошла на *снижение*.

Жить — по крайней мере, в развитых странах — стало комфортнее, но не веселее.

«Блаженны нищие духом» — сказано в Евангелии. Под нищими духом подразумеваются не нищие в прямом смысле слова, то есть стоящие на паперти (или в метро) и просящие подаяния, а те, кто сознаёт собственное несовершенство и оттого не подвержен гордыне.

Чудовищное разрастание гордости — одна из примет XX века. Право силы, силой же отнятое у природы, вскружило нам голову. И мы дошли до мысли, что выше (и, естественно, лучше) нас на свете нет ничего. «Поразительно, — писал Гоголь ещё в 1847 году, — в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другою дорогою, с другого конца входит в мир — дорогою ума...»

Окончательная победа ума над разумом, а уж тем более над сердцем совершилась именно в XX веке.

Слава Богу, что растут церкви на Русской земле. Теперь надо дождаться, когда Тот, во имя Кого они выстроены, вернётся в их стены. Когда Он вернётся в семьи, в школы, во всё, чем мы живём, только тогда мы избавимся от химеры своего превосходства над Провидением.

В создании орудий уничтожения XX век превзошёл все предыдущие столетия. Лучшие умы были заняты по преимуществу производством смертоносных машин. Баланс между знанием гуманитарным, напрямую связанным с воспитаньем духа, и знанием практическим, прикладным, при-

носящим незамедлительную пользу, нарушился. Стрелка весов сдвинулась в сторону *выгоды*, не имеющей человеческого лица. Эта зараза материализма — одна из самых опасных по последствиям болезней ушедшего века. Я бы поставил ее на одну доску со СПИДом и раком.

Впрочем, там, где болезнь, там и исцеление. Исследования человеческого мозга, проведённые недавно в Америке, обнаружили в нём участок, «отвечающий» за религию. Возбуждается он лишь во время молитвы. Эта предусмотрительность природы меня потрясла. «Участок Бога» находится в нас самих, а мы ищем спасения на стороне!

Были в XX веке минуты просветления: победа над Гитлером в 1945 году, смерть Сталина, первые выходы в космос (тогда десятки стран становились как бы одной страной). А начинался он в России с упадка, с проигранных войн, распада искусства (несмотря на то, что были живы Толстой и Чехов и всходила — правда, задёрнутая болотной мглой, — звезда поэзии серебряного века), с крушения идеалов.

В 1945-м дохнуло надеждой. Казалось, что если преступники наказаны (в Нюрнберге состоялся первый за всю историю суд над ними), то войн уже не будет. Но войны начались снова, правда, локальные, правда, без такого количества жертв, но от доказательств своей правоты посредством уничтожения несогласных никто ещё не отказался.

XX век стал для России томлением по свободе. Свобода мерещилась как врата, которые, открывшись, пропустят всех в рай. Последнее десятилетие разрушило и эту иллюзию. Мы получили «свободу, эх-эх, без креста». Одна за другой рухнули иллюзии XIX века. Иллюзия о всеразрешающем чуде свободы. Иллюзия о науке, которая спасёт мир. Иллюзия о народе как о столпе истории.

Народ как объединение людей, имеющих одну историческую цель, одну корневую систему культуры, перестал существовать. Он поменял имя «народ» на имя «население».

«Не узнав горя, не узнаем и радости», — говорит пословица. Горя мы узнали в XX веке с избытком. Придёт ли радость? Конечно, у истории свой сюжет, а у каждого из

нас — свой. И, переходя из века в век, мы лишь переступаем календарную черту. Мы не можем обновиться в мгновение ока или хотя бы начать всё сначала, потому что срок, отпущенный нам, невелик.

Но сейчас, глядя в спину ушедшему веку, мы можем сказать, что он кое-чему нас научил. Он ещё раз вернул человека к самому себе как к источнику зла и источнику преодоления зла.

Если мы поможем Богу, то и Он нам поможет.

Прощай, XX век, или, говоря словами Байрона, «если навсегда, то навсегда прощай».

2000

ОТКРОВЕНИЕ О ГУЛАГе

Погружаясь в эту книгу, я — в который раз — погружаюсь в собственную жизнь.

В середине августа 1941 года пожилой милиционер с кобурой на боку вывел меня из ворот московского приёмника-распределителя ГУЛАГа НКВД. Наш путь лежал через весь город на Павелецкий вокзал, оттуда на станцию Барыбино, а далее — тридцать километров пешком до села Большое Алексеевское. Там он должен был сдать меня в детский дом № 3 Мосгороно.

В приёмник я попал после ареста матери (отец мой уже четыре года находился в неволе) и не знал тогда, что каменные стены, обнесённые поверху колючей проволокой, и церковь, на холодном полу которой стояли привинченные к плитке кровати, есть не что иное, как самый старый в Москве Даниловский монастырь, превращённый в начале тридцатых в детскую тюрьму.

Не знал я тогда и того, что насчёт таких, как я, имеются особые указания, запечатлённые в секретных циркулярах и оперативных приказах НКВД. Один из них — от 30 июля 1937 года — гласил: «Все семьи репрессированых взять на учет и установить за ними секретное наблюдение». Другой — от 15 августа 1937 года, названный «Об операции по репрессированию жён и детей изменников родины», — прямо касался меня. «При аресте жён, — говорилось в нём, — дети у них *изымаются*». Слово «изымать», имея корнем старославянское «имати», означает «брать», «хватать».

Так выхватили у мамы и меня.

Читая полвека спустя её «дело», я был поражён совершенством машины учёта, которая бессменно работала даже тогда, когда немец стоял чуть ли не под Москвой. К толстой пачке бумаг было в том числе подшито письмо, адресованное начальнику 1-го спецотдела НКВД тов. Башкатову, где сообщалось, что я «взят на воспитание в детский приёмник-распределитель».

С какой стороны мог интересовать этих людоедов десятилетний пацан? Что им было до него?

И опять-таки я не знал тогда, что уже включён в «именные списки», что на меня, как и на мать, собирались «установочные данные и компрометирующие материалы». А по прибытии в приёмник, и позже в детдом, за моим «политическим настроением» будет вестись наблюдение.

Обо всём этом мне поведала книга «ГУЛАГ (1918—1960)», выпущенная Международным фондом «Демократия» и издательством «Материк» в серии «Россия, XX век» (М., 2000).

Около тысячи страниц откровения о самом, может быть, закрытом из учреждений советской карательной системы. Начиная с первых (1918) приказов ЧК о «красном терроре» (доминирующая строка: «расстрелять немедленно») и кончая хрущёвскими послаблениями.

Статистика: с 1921 по 1938 год осуждено четыре миллиона восемьсот тысяч человек. Из них к высшей мере наказания приговорено около семисот тысяч. Три миллиона осудили бессудные «тройки» и коллегия ОГПУ. В то время как «средняя обеспеченность жилплощадью»(!) в лагерях составляет 2,1 квадратных метра, начальники ГУЛАГа катаются на автомобилях марки «форд», «шевроле» и «паккард». Приказ НКВД от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию... антисоветских элементов». Операцию закончить в четыре месяца. Дана разнарядка на аресты и последующие приговоры. По приговору первой категории (ВМН* — расстрел) — столько-то, по приговору второй категории (от восьми до десяти лет) — столько-то. На каждую область, каждую республику — отдельные цифры.

График подобен графикам, составляемым для выполнения плана по углю, по зерну, по отгрузке вагонов.

---

* Высшая мера наказания. (*Прим. авт.*)

По Московской области расстрелять пять тысяч человек. По второй категории посадить тридцать тысяч. Не названы ни имена, ни фамилии. Просто план.

Всего по Советскому Союзу расстрелять семьдесят пять тысяч да ещё в лагерях десять тысяч. «Сохранять в тайне место и время приведения приговора в исполнение». А вообще «сообщать устно», что расстрелянные «умерли в местах заключения».

Подробные инструкции, как сажать, как судить («Дело слушается без участия сторон», просьбы о пересмотре приговора не принимаются, приговор немедленно приводится в исполнение).

И ещё один пункт потряс меня: «Аресту не подлежат... жёны осуждённых, разоблачившие своих мужей и сообщившие сведения, послужившие основанием к разработке и аресту». Какой соблазн остаться в живых! И какой подлый взнос за него! К счастью, миллионы жён не пошли на это.

Может, потому к концу войны их количество в лагерях возрастает и перекрывает число зэков-мужчин. Статистика ГУЛАГа бесстыдна: с 1941 по 1944 год «агентурно-осведомительная сеть» в лагерях «возросла на 186 %», причём ряды агентов — на 302 %, а резидентов — на 225 %. Всего же их армия составляет почти сто тысяч единиц. Делим два миллиона (официальные данные о количестве заключённых) на сто тысяч, получается: на двадцать человек один стукач.

Вот она где, сила советского строя! В повязывающей весь народ сети доносительства, в страхе каждого перед каждым, что сильнее страха перед властью, перед государством. Далее и насчет нас, детей, имеется абзац: «Приступить к вербовке агентурно-осведомительной сети из числа... старших возрастов несовершеннолетних. Каждую вербовку тщательно подготавливать. Личных дел на завербованных не заводить, а ограничиться отобранием подписки о неразглашении, не указывая в ней о привлечении к секретному сотрудничеству. Особое внимание уделить *агентурному обслуживанию* детей репрессированных».

Стоп. Приехали.

На карте страны — кружочки, обозначающие «дислокацию» ГУЛАГа. Не только Сибирь, Дальний Восток, Север, но и Центральная Россия как будто побиты чёрной

оспой. И всюду, где какая-нибудь стройка века, ГЭС, завод, алюминиевые или никелевые гиганты, каналы, новые железные дороги, шахты, где нефть, газ, золото, молибден, уран, — эти самые оспины.

Дорога на Воркуту, Куйбышевская плотина, самолётные заводы, аэродромы, радиостанции, целлюлозно-бумажные комбинаты, железнодорожные мосты, заводы по производству подводных лодок, лес, рыба, уголь — и повсеместно колючая проволока, вышки, особые лагеря, штрафные зоны, карцеры и бесплатный труд голодных рабов.

Недавно я прочитал в журнале «Наш современник» (2000. № 3): «Советский строй сложился в определённых природных и исторических обстоятельствах. Исходя из них, — утверждает автор статьи С. Кара-Мурза, — поколения, создававшие советский строй, определили главный критерий выбора — сокращение страданий».

Что можно сказать по этому поводу, кроме того, что сказанное — ложь. Конечно, народ не может стремиться к увеличению собственных страданий, но «создатели строя» как раз к этому стремились, считая страдания благом, закаляющим советских людей.

Сокрушительное тому свидетельство — свод документов ГУЛАГа, которые, явись они лет двадцать пять назад, могли бы произвести взрыв, подобный тому, что случился в Степном лагере в мае 1954 года и поставил на уши всех — от высших чинов МВД до вождей партии.

Сейчас мы уже, кажется, привыкли к оглашению страшных фактов и цифр и оттого, когда речь идет о прошлом, делаемся глухи к не нашей боли, к не нашему страданию. Но они наши. Потому что изживать их придётся нам. Мы носим эту боль и этот страх в подкорке, как неминуемо носим вину перед мёртвыми.

Иногда мне кажется, что я хожу не по земле, а по костям, и они, попираемые мной, кричат: «Помни!»

Изживание боли — не линька и не сбрасывание кожи, которая у некоторых видов укладывается в минуты, а душевный труд нескольких поколений. Мы никогда не будем счастливы, если станем жить по принципу «однова живём».

2000

НЕ ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО КАК САМОГО СЕБЯ

Я с удовольствием смотрю на РТР передачу «Простые истины». Умный и остроумный ведущий, роясь в алфавите, выхватывает какую-нибудь букву и разбирает начинающееся с неё слово. Если, скажем, это «л», то речь идет о «любви», если выскакивает «д», выбирает «думу».

На днях, дойдя до буквы «в», он решил потолковать о «воспитании». И сказал: надо научить детей работать локтями. Ибо в противном случае толпа их сомнёт. Надо ориентировать их на то, чтобы они были *первыми* и только первыми. Хватит поставлять родине «идеалистов», пора растить «реалистов».

Похоже, ведущий смотрит правде в глаза. Похоже, что всё к этому и идёт. И завтра школа сделается похожей на ринг, где «сильные» будут класть «слабых», а судьи (учителя) займутся фильтрацией детского контингента.

Такой, кстати, её представляет бывший заместитель министра образования г-н Асмолов. На одном телевизионном шоу он объявил, что цель школы — выявлять «сильных», пренебрегая «слабыми». Христианские заботы о «ближнем» — утопия и сказка. Мы будем пестовать индивидов, а не коллективы.

Но если Жванецкий, как я подозреваю, желает видеть детей сильными по доброте душевной, то за г-ном Асмоловым стоит *теория*, и она посуровей, чем все советские педагогические регламентации.

Да, классическим образцом советского общежития бы-

ла коммуна, лагерь, отряд. Но как ни калечила порой ребёнка коллективизация, он привыкал жить *среди людей*. Я до сих пор с добрым чувством вспоминаю пионерский лагерь. Наши палатки, наши костры, наши игры. Если там и не возвышали до любви к ближнему как к самому себе, то, по крайней мере, «ближний» был всегда рядом. И его дыхание, хотя и теснило иногда, но и согревало.

В школе и в пионерском лагере на каждой стене висели лозунги, на подъеме флага мы клялись быть верными делу Ленина—Сталина, нас то и дело водили в строю и приучали к грядущей войне. Но поскольку мы были вместе, нам легче было это переносить. И *жизнь сообща* стала для нас *привычкой*.

Нынешние реформаторы ставят во главу угла личность. Личность и только личность способна поднять экономику, вытянуть страну из кризиса и ввести её в цивилизованный мир. Цивилизации без личности не существует. Если мы будем делать ставку на массу (как делали до сих пор), нам из ямы не вылезти. Можно было бы сказать, что всё это взято у Ницше, но тогда получилось бы слишком серьёзно: Ницше всё же страдал от своего богоборчества, то была трагедия, а здесь никакой трагедии нет. Есть жёсткая ставка на всё новое. Новое, которое автоматически отменяет всё старое. Есть тезис, что «всё, что было до нас, надо переделать». Одним словом, революционная чесотка.

Взгляните на нашу историю: служение «миру» и жертвенность у нас в крови. Отсюда цена побед в сражениях, жалость к каторжникам, самоотвержение и терпение, которых не знал Запад. Отсюда и культ матери, высшего образца самоотречения.

Конечно, её имя осквернено матом, конечно, нигде, как в России, женщина не терпит столько от побоев и пьянства. Но я вспоминаю рассказ участника Курской битвы. Это был ад, говорил он, всё было в огне, в дыму, в грохоте железа. Люди сходили с ума от ужаса, а по полю между немецкими «тиграми» и нашими танками метался уже немолодой солдат и кричал, обращаясь к невидимому небу: « Мама! Мама! Мама!»

Но вернёмся к школе.

Советская власть рухнула, и педагогические козлища (уже свободные от шор) задумались, куда же вести стада свои. Раз не советское, рассуждали они, так антисоветское, коренным образом не советское, а значит, или традиционно русское (о котором они ничего не знали), или международно-европейско-американское.

Выбрали европейско-американское.

Русскую историю переписали по принципу «наоборот». Цари. стали святыми, а декабристы опустились на уголовный уровень. Авторы, вчера славившие коммунизм, стали славить Христа. В новом-старом гимне Сталина цинично поменяли на «Бога».

По всему пространству образования, воспитания и поиска идеала началась охота за «стереотипами». К ним были отнесены: вина интеллигенции перед народом, возвеличивание «маленького человека» (камень в огород русской литературы), а также совестливость, стыд и вера в «прекрасное и высокое».

Над этой верой в свое время зло посмеялся герой повести Достоевского «Записки из подполья». «Свету ли провалиться, — вопрошал он, — или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить».

Достоевский назвал этого мизантропа «антигероем». Словечко весьма современное. Мне кажется, вся литература, да и идеология сейчас держатся на этом «анти». Отними у них эту приставку, и они окажутся голыми. Вот и педагогика взялась выращивать «антигероя». Такова основная посылка новейших педагогических разработок и руководств.

Заглянем в одно из них.

Передо мною «Билль о правах», выпушенный издательством «Генезис» и рекомендованный (б виде плакатов) для оформления кабинета учителя-психолога. Учащийся, как сказано в нём, имеет право «не обращать внимания на советы окружающих», «совершать ошибки», «ставить себя на первое место». Что до его обязанностей, то он «*никогда* не обязан»: «делать приятное неприятным ему людям», «любить людей, приносящих ему вред», «выбиваться

из сил ради других», «чувствовать себя виновным за свои желания», «жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было», «отдавать что-то, что ему на самом деле отдавать не хочется», «отказываться от своего “я” ради чего бы то ни было».

Очень может быть, что сей документ составлен г-ном Асмоловым, который, как известно, является психологом по образованию и заведует кафедрой психологии в МГУ. Та же апология «Я», та же гелиоцентрическая схема поведения: «Я» — солнце, всё остальное вращается вокруг меня.

Правда, солнце, в отличие от героя «Билля о правах», поступает как раз так, как тому запрещено: тратит себя на других, ради них выбивается из сил, жертвует собой и отдаёт то, что ему, может быть, не хочется отдавать.

Понятие «ближнего» в этой схеме отсутствует. «Ближний» — лишний, он только раздражает, он что-то там думает о тебе и потому мешает тебе думать только о себе. У него есть какие-то желания, с которыми ты должен считаться. Он, может быть, даже претендует на то, чтоб занять твоё время, не говоря уже о том, что (и это уже посягновение на твой «внутренний мир») ему вдруг захочется иметь нечто, чем ты не желаешь поделиться.

От чего же станут освобождаться наши внуки? От жалости к слабому, от сострадания? От того, что наряду с насилием, злобой, чёрствостью сердца я часто видел в жизни и что, признаться, меня спасало — от доброты, способности поделиться последним, протянуть руку и обогреть?

Я вспоминаю детский дом. Война. У одних родители на фронте, у других — в лагерях. Обиженное и по всему обязанное быть озлобленным детство. Но через щель в двери карцера кто-то просовывает тебе огрызок сахара, крошки от пайки. А выйдешь — набросит на тебя ночью рваную одёжку, чтоб не пристыли мослы к ледяному топчану.

Давайте взрастим сильных, холодных, пекущихся только о себе. И где окажемся? И *с кем*? Со страною, распавшейся уже не на регионы, а на миллионы мерзавцев, за порогом дома которых — запретная зона, охрана, овчарки.

«Старая» педагогика и «старая» культура предлагали

личности движение *от себя к ближнему*, господа реформаторы видят только один путь — *от себя к себе*.

Мне кажется, что в такой стране, как Россия, у них вряд ли что-то получится. Ибо это значит: наплевать на заветы предков, похерить всю русскую литературу, порвать с христианской традицией, всегда бывшей у нас не формальной, а очень личной, порвать с историей, наконец, с природой, которая наряду с подпольем (а оно в каждом есть) даёт человеку шанс встать над собой.

В «Зимних заметках о летних впечатлениях», посвящённых поездкам по Европе, Достоевский писал: «Что же, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я. Не только не надо быть безличностью. Но именно надо стать личностью. Даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принуждённое самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности. Высочайшего её могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костёр, можно только сделать при самом сильном развитии личности».

Если строители новой школы возьмут за образец толерантного общества такую личность, я проголосую за них.

2001

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: СМЕНА ВЕХ

Недавно одна дама, занимающаяся исключительно революционной деятельностью (в которую она окунулась чуть ли не с пионерского возраста), пустила в ход понятие «светильники», позаимствовав его у Н. А. Некрасова. «Светильником разума» назвал тот рано умершего Н. Добролюбова. Ныне в «светильники разума» были произведены журналисты НТВ.

Не слишком ли высокая оценка их вклада в историю?

Почему-то наша интеллигенция всегда хорошего мнения о себе. Если что-то в отечестве идет не так, то тут же выплывает ответчик — Кремль или безымянные «они», от которых весь вред.

Миф о том, что интеллигенция, как жена Цезаря, чиста и невинна, нашёл себе место и сегодня. Победа в революции 1991 года поставила победителей над правительством, над президентом, над государством. Отныне журналисты, как сказал один из них, могли ногой открывать Спасские ворота. Из слабых и подвластных они переквалифицировались в сильных и властвующих, как, впрочем, и бывшие завлабы, диссиденты и нижние чины ЦК КПСС.

Вместе с ростом «прав» росло и благосостояние интеллигентской верхушки. Если в СССР самыми оплачиваемыми категориями были полярники, лётчики, шахтёры и академики, то теперь больше всех зарабатывали обозреватели телевидения и газет. Эта близость к большим день-

гам, которую ощутили и интеллектуалы, двинувшие во власть, весьма скоро начала влиять и на их самоощущение, и на то, что они говорят и пишут.

Я помню рёв Жириновского в Думе, когда тот, брызгая слюной, клеймил репрессированных стариков и старушек, называя их симулянтами. После этого он садился в «мерседес» и укатывал со своею шайкой. Даже радетели народа — коммунисты как-то подозрительно стали округляться и наращивать животы, крича с трибун, что Россия катится в пропасть.

В среде интеллигенции завёлся новый персонаж — «политик». Это, как правило, человек малообразованный и неделикатный. Для него хамство — синоним достоинства, а запас его слов скуден, как завтрак бомжа.

Мы печалимся об упадке литературы. А отчего она пала? Оттого, что пал язык. Даль предупреждал: «Не... должно писать таким языком, какой мы себе сочинили, распахнув ворота настежь на запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего... если же мы, в чаду обаяния, сами отсечём себе этот источник (речь о народном языке. — *И. З.*), то нас постигнет засуха».

Пал язык, пал дух, а стало быть, пал и авторитет «властителя дум».

Не на ком остановить глаз, некому открыть душу. К Толстому ходили, к Чехову ходили, к Короленко ходили. Но пойдешь ли со своей бедой к какому-нибудь умнику, у которого стальные глаза и который, если ты не в состоянии заплатить за свет, отключит у тебя не только электричество, но и дыхание? Или к поэту, который звал на баррикады, а сейчас отсиживается в Оклахоме?

Спросите их, кто виноват в том, что случилось с нами. Хором ответят: Кремль. Кремль растоптал мечту о социализме, Кремль потопил мечту о переброске России в лагерь капитализма.

И вряд ли к кому-нибудь из них наведается мысль, что и они — на скамье подсудимых.

Возьмите Горбачёва. На его совести: 1. Сумгаит. 2. Лопатки в Тбилиси. 3. Захват вильнюсской телебашни. 4. Враньё с Катынью. 5. Враньё с пактом Молотова—Риб-

бентропа. И — ни слова раскаяния, ни следа стыда. На всех интеллигентских тусовках — желанный гость. Произносит речи. Принимает изъявления уважения.

Старая интеллигенция была недовольна собой. Лучшие её люди мучились этим, стыдились своего достатка, если он у них был, строили школы, работали на голоде, старались подкормить крестьян или бедных студентов. Вечная вина перед народом — таково было внутреннее состояние всякого, кто благодаря образованию и таланту поднимался наверх.

Наши предшественники — интеллигенты начала XX века — не так, как мы, смотрели на историю и на себя. На страницах «Вех» (1909) и сборника «Из глубины» (1918) они сурово осудили себя. Они заявили (в «Вехах»), что революция 1905—1906 годов была интеллигентской и ответ за её последствия должна держать интеллигенция.

Революция 1991 года (а до нее горбачёвская перестройка) также были интеллигентскими, поскольку их идеологически готовили мы (автор не отделяет себя от тех, о ком пишет), и на их знамени были начертаны слова, составленные интеллигентами 1960—1970-х годов.

Чего мы желали? Прежде всего свободы. Свободы любой ценой и сей же час. Ждать мы устали. Наши отцы и деды свободы не видели. За неё их расстреливали и пытали. Вместе с мечтой об освобождении мы копили месть. Нам не терпелось рассчитаться со всем, на чём стояло клеймо: советское.

Свобода, как золотой ключик в сказке, должна была открыть заветную дверь.

Но как мы понимали свободу, как рисовали себе её облик? Прежде всего как *свободу слова*, свободу митингов и демонстраций, которую демагогически обещала, но не дала сталинская конституция. Отталкиваясь от неё, мы строили нашу мечту по методу «от противного». И оттого она кровными узами связалась с советской ложью, советским воспитанием, советской нетерпимостью.

Отсюда — спешка, забегание вперёд, попытка пришпорить историю.

Но ещё Андрей Платонов советовал: дайте истории от-

дохнуть лет пятьдесят, и всё само собою образуется. Ибо — и тут он был провидчески точен — «природа победит революцию».

Трагедия сына железнодорожного слесаря Платонова состояла в том, что он верил в насилие, как его предки верили в Христа. Насилие он рассматривал как инструмент для построения земного рая. Но, увидев опустошённую революцией страну, создал эпос горя и покаяния.

Разве неясно теперь, что свобода, обретённая в 1990-х, оказалась *свободой только для нас?* Для наших амбиций, нашего «самовыражения», нашего желания свести счёты с властью. Свобода вскружила нам головы: мы ликовали, что можем беспрепятственно хулить, обличать, «ставить к стенке». И кого ставили к стенке? Собственную страну.

Советскость этого отмщения была очевидна.

Тютчев полтора века назад писал: «...удалось с помощью припева, постоянно повторяемого настоящему поколению при его нарождении, почти удалось, говорю я, эту... державу преобразовать в чудовище для большинства людей нашего времени, и многие, уже возмужалые умы не усомнились вернуться к простодушному ребячеству первого возраста, чтобы доставить себе наслаждение взирать на Россию, как на какого-то людоеда...»

Но, кроме расправы с властью, была и ещё одна мечта: самим стать властью. То есть держать в руках руль корабля. На Западе интеллигент ставит пьесы, преподаёт в университете, сидит в лаборатории. Он занят каким-то *одним* делом, как правило, тем, где он мастер, профессионал. Правительство и президент погружены в политику, финансы и так далее, у интеллигента — другое призвание. И ему этого призвания вполне хватает. Мы же, как правило, берём выше.

Взять уровнем ниже мы не в состоянии. Это — значит понизить градус мечты. Свести обязанности к исполнению долга, к хорошо сделанной работе — значит опошлить идею.

Максимализм русской интеллигенции застрял у нас в мозжечке рядом с антисоветским идеалом.

«Для проформы» (вновь цитирую Гоголя) кто-нибудь

«чмокнет в щёку инвалида, желая показать... как нужно любить своего брата». Но «дело не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы, в самом деле, взглянуть... на человека как на лучшую драгоценность». Наш интеллигент сегодня «всё человечество готов обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мненьях, — он уже не обнимет его».

Конечно, в любви к «прекрасному и высокому» нет ничего плохого. Правда, если это любовь к тем, кто окружает нас. Кто существует в реальности, а не на облаках.

Наша любовь была прописана на облаках, как, впрочем, и наш кумир — свобода. Мы верили, что с её приходом поля станут давать урожай, экономика скакнёт вверх, аппаратчики сделаются херувимами, а народ перестанет пить и в мгновение ока поменяет менталитет.

Жгучая была мечта, но, увы, не сбылась.

Представьте себе премудрого пескаря, которому вдруг разрешили стать щукой. Что станет делать несчастный пескарь? Он от испуга закопается в нору или, страшась, что его обратно превратят в пескаря, сделается такой щукой, которая и самих щук начнет гонять по реке.

Мы на какое-то время превратились в освобождённого пескаря. Опьянённые тем, что «всё позволено», мы стали охотиться за большой рыбой, позабыв о тех, ради которых всё и затевалось, — о «малых сих», о народе.

Народ нищал, опускался в холод и хаос, а мы топтались на презентациях, бегали в Кремль за премиями и не чурались брать деньги (тоже в виде премий) от воров, почему-то переименованных в олигархов.

Как бы сегодня взглянули на нас интеллигенты старых времён? Я думаю, не поверили бы тому, что видят. И авторы знаменитых «Вех» вряд ли бы подали нам руку. Хотя они были люди верующие и, вероятно, пожалели бы нас. Пожалели бы за наш бедный советский — антисоветский идеал, который и продиктовал столь тощее представление о свободе.

Интеллигенты старой России — во всяком случае, лучшие из них — знали, что смысл свободы не исчерпывает-

ся свободой слова. Что свобода не наращивание прав, а прирост обязанностей. Что с расширением зоны свободы утяжеляется ответственность за неё. Есть свобода с Христом, говорили они, и есть свобода с дьяволом. В первом случае мы говорим нашему произволу «нет», во втором — «да».

Я думаю, мы сказали *своему* произволу «да» и бросили *свой* народ.

«Мы» — это, естественно, не вся интеллигенция, а «верхний» её слой, так называемая «элита», которая пришла с Горбачёвым, кантовалась при Ельцине и теперь прилепилась к Путину. Её дистанцирование от народа очевидно. Даже в советское время так не было. Сегодня элита жёстко сосредоточилась на *собственных* нуждах, далёких от нужд большинства. Мы сделались свидетелями свирепого эгоизма «избранных».

И это в то время, когда интеллигенты, условно говоря, находящиеся внизу, честно исполняют свой долг. Библиотекари, учителя, врачи, работники музеев (святые люди) по-прежнему *служат народу* и, иногда голодая, помогают ему. Имена их никому не известны, но я не знаю, что стало бы с честью нашего сословия, если б не они.

Таких интеллигентов особенно много в провинции, может, ещё и потому, что соблазн больших денег туда не проник. А может, потому, что они, как и старое земство, не снисходят к народу, а пребывают в нём.

Незачем далеко ходить за примерами падения интеллигентского «верха». Они у всех на виду. История с НТВ и её печальный конец сорвали лавровые венки со вчерашних запевал свободы. *Игры денег*, объявленные борьбой за «права человека», поведали нам, о каких «правах» речь.

Естественно, о праве «зашибать бабки».

Некий не стыдящийся цинизма тип, отталкивая от кассы циничного, но притворяющегося праведником журналиста, говорит: я отнимаю твои деньги. Журналист, хватаясь за те же деньги, уплывающие из его рук, кричит: в России нет свободы!

Личный счёт в банке он отождествляет с «демократическими ценностями», а того, кто покушается на него, клеймит как реаниматора тьмы.

Недавний сюжет с НТВ — не только история конфуза на одном телевизионном канале, но и конфуз целого периода в жизни современной России, начавшегося с фанфар августа 1991 года и перешедшего в торжество жиреющего на глазах интеллигентского «высшего света».

Посмотрите, кого защищает элита адвокатуры. Только богатых. Какого-нибудь мужичка, с тоски запившего и кому-то сломавшего нос, они защищать (как это делали в старину русские адвокаты) не будут: мужичок гол как сокол. Другое дело — невинный миллиардер. Душка, и за гонораром не постоит.

А какие пиры закатывает на своих юбилеях истеблишмент! Столы в «Метрополе» и «Яре» ломятся от дорогих закусок. Поют цыгане, поёт попса. Церемонию показывают по телевидению, описывают (с иллюстрациями) в газетах, и никому не приходит в голову, что это позор.

Наш советский интеллигент-люмпен, обиженный прошлым режимом, жаждет реванша, и потому его гуляния так публичны, так открыты: пусть видят все, кем я был и кем стал!

Он всю жизнь ненавидел советскую власть, но был кость от кости и плоть от плоти её. Поразительно, что многие из интеллигентов, считавших себя в советское время инакомыслящими, как только дело дошло до иных, чем у них, мыслей, тут же обнажили советский оскал. Не ушедшие с НТВ журналисты были названы, как в приговорах «троек» НКВД, «изменниками» и «предателями».

Такова метаморфоза «светильников разума», чья свеча стала стремительно коптить и наконец погасла.

Как это могло произойти? *Советский* интеллигент плохо знал русскую историю, в прозрениях доходил только до идей нэпа, начертанных полупарализованной ленинской рукой. И оттого видел перед собой лишь один пример — пример Запада с его рынком, его свободой и его комфортом.

Прыжок к этим благам был совершен по-ленински — в одночасье и с блицкригом в центре Москвы. То, что русские стреляли в русских, соответствовало большевистскому Новому Завету: кто не с нами, тот против нас. И, стало быть, подлежит устранению.

И никто не попросил прощения за пролитую кровь. Наоборот, радовались и гордились победой. В среде победителей пышно разрасталась гордыня. Евгений Киселёв, обращаясь к нуворишу, бросает реплику: «У меня не такая репутация, как у вас». Можно подумать, что в его лице на землю спланировал ангел, а не офицер перестроечного спецназа.

Нас поразила болезнь идеологического снобизма.

Мы, как по-писаному, воспроизвели в себе пороки, запечатлённые ещё в «Вехах»: атрофирование чувства греха, самообольщение и героизация своего поведения, презрение к отцам, преувеличенное сознание прав и пренебрежение обязанностями, отсутствие *личной* нравственности, «всё идет мимо русской культуры, ума, гения», в литературе порнография и кощунство.

Превратное понимание свободы привело к тому, что мы потеряли целое поколение, а может, и не одно. Да, оно поёт, что хочет, курит, что хочет, оно не читает Толстого и сидит на американской «культурной» игле. Оно пляшет, как дикое племя, под *свою* музыку и... плюет на «отцов». Оно плюет на Карамзина, на Пушкина, на всю эту, с его точки зрения, «дребедень», оставаясь один на один с настоящим, которое есть его бог и его потолок. Что за ним, оно не знает: за ним — похмелье и туман.

Отрыв от прошлого грозит нашей смене полным одиночеством и полною потерей цели.

Если начнут ускоренно уходить старики (а отмена льгот насильно толкает их в могилу), на кого обопрутся те, кто хотел бы связать себя с преданием и с самой историей? На разломе земной коры не воздвигнешь сильного государства. Оно, как и его предшественник, полетит в пропасть.

К кому же станем обращаться со святыми истинами, оставленными нам в наследство? Город смотрит на Запад (тоже нашими стараниями), в деревне — пустые избы. Кто воспримет мысли о любви к отечеству, о служении ему, о жалости к слабым? Кто начнет возрождать русскую государственность?

Писатели, пишущие только для писателей? Чиновни-

ки? Да прикажи им завтра отбуксовать в социализм, тут же отбуксуют. С плачем, с болью в сердце (так грабить, как при «капитализме», не удастся), но совершат экстрадицию. От больших идей отказываться легче, чем от больших денег. Такова уж природа человека.

Я, конечно, не надеюсь, что после моей статьи интеллигенция выйдет на площадь и, подобно Родиону Раскольникову, упадёт на булыжник и воззовёт: «Простите меня, люди, виновата!» Дескать, мне не столь страшен суд, который ждёт меня в будущем, сколь то, что вы перестали верить в меня.

Не упадёт. Не воззовёт.

Значит, правы были авторы сборника «Из глубины»: «...Как будете жить дальше, вы, духовные виновники всего этого беспримерного нравственного ужаса? Что будет слышаться вам отовсюду?

Когда вы будете думать об одурманенном и увлечённом вами в пропасть народе, не будете ли вы слышать роковые слова: горе тому, кто соблазнит единого от малых сих...

Когда вы будете вспоминать обо всей той крови, которая пролилась благодаря вашему духовному попустительству... не будете ли вы слышать вокруг себя: “Каин, Каин, что сделал ты с братом своим?”»

2001—2004

ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА

Недавно я стал свидетелем разговора двух представительниц «галантерной половины человечества», как назвал женский род Гоголь.

Женщина-художник по костюмам и женщина-гримёр (дело происходило в гримёрной ОРТ), оказавшаяся по совместительству портнихой, рассуждали о типах белья, которое носили их бабушки, потом мамы, а потом и они сами. Образцы этого белья были разложены рядом со мной на диване. И наш век предстал перед моими глазами в эволюции лифчиков, корсетов, ажурных панталон и тому подобного.

Отчасти стесняясь, я старался сделать вид, что думаю о чём-то своем, но разговор был настолько интригующ, что я рискую часть его передать читателю.

Я и раньше, конечно, знал, что мода меняется вместе с эпохой, но не подозревал, что и история в некотором роде зависит от моды. Изменения женского гардероба предсказывают события, которые должны случиться в будущем.

Например, когда женщина максимально обнажается, это дурной знак. Дурной знак не только в отношении нравов, но и оттого, что он, как правило, предшествует войне. Мужчина как будто чувствует её приближение и заранее отходит от женщины, настраиваясь на серьёзную «мужскую работу». И женщина готова на всё, чтобы вернуть его.

Когда же мужчина расслаблен, отдыхает, женщина, со-

знавая, что опасность отступила, вновь делается строга в одежде.

XX век в этом смысле не исключение. Так было перед Первой мировой войной (достаточно вспомнить кинематограф), перед Второй (даже в СССР женщины почувствовали себя вольнее), так, судя по всему, будет и в XXI веке.

Теперь о веке ушедшем. Он привёл к решительной утилизации женской одежды и прежде всего того, что составляет тайну женщины — её интимного убранства. В этом повинна невиданная по меркам других эпох эмансипация, давшая, с одной стороны, освобождение женщины, с другой — лишившая её загадочности, главного козыря в борьбе за мужчину.

Недаром говорят и пишут, что женщина стала похожа на нашего брата: стрижка, брюки, жесты, речь.

В начале XX века ещё носили длинные белые платья, шляпы с цветами — одежда женщины была украшением, скрывающим в ней то, что следовало скрыть, и обнажающим то, что обнажало её нежность, жантильность и поэзию её природы.

В этой связи вновь вспоминается Гоголь, так хорошо знавший, что такое наряд женщины и в чём его скрытая стратегия, призванная обольстить (или прельстить) мужчину. Вот пассаж из «Мёртвых душ» о женщинах на балу в городе Эн: «Всё у них было придумано и предусмотрено с необыкновенной осмотрительностью, шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше, каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала, по собственному убеждению, что они способны погубить человека, остальное всё было припрятано с необыкновенным вкусом».

Что и говорить, нынче женщина не очень заботится об этой тайне, без которой ещё недавно не могло завязаться ни одного романа, ни одной любовной игры, которая хоть и летуча, но разнообразит жизнь.

Утилизация женской одежды — устранение из неё всяких рюшек, фестончиков, кружев и прочих «скромностей» — имеет прямую связь с утилизацией отношений, со снижением, понижением градуса поэзии, которая уступает

место неметафорической прозе. Заметьте, уже мужчину и женщину, когда речь идёт об их отношениях, называют не мужчиной и женщиной, а «партнёрами» — термином спорта, бизнеса, но не любви.

Это *упрощение* и прагматизм сильно сокращают путь сближения и узнавания, который всегда был слаще, чем сам роман. Стандартизация «тайного», его бесстыдный выход на люди, на улицу (ларьки возле метро) сделали взгляд мужчины нечувствительным по отношению к тому, что в прежние века волновало его.

Брюки съели красоту женских ног, красоту походки, смена женской моды на мужскую выставила угол или прямую линию там, где должен быть овал, окружность или волнообразность форм.

Впрочем, всё это касается исключительно города, потому что представить публичную торговлю лифчиками в деревне я не могу. Деревня всё ещё сохранила стыд, скромность — то, что всегда привлекало в женщине. Правда, женщина в деревне уже в тридцатые годы была мало похожа даже на крестьянку XIX века. А уж когда на её плечи пала война и она, кажется, навсегда переоделась в телогрейку, то о какой её красе можно было вести речь?

Русская женщина, которую всё чаще стали называть бабой, в XX веке превратилась в ломовую лошадь истории. Она и пахала, и сеяла, и валила лес, и таскала на себе всё, что раньше взваливал на спину мужик, и не просто мужик, а здоровый и сильный работник. Вспомним повесть Фёдора Абрамова «Пелагея» о женщине — деревенском пекаре, у которой вечная мозоль на плече от лопаты, — вот портрет русской бабы XX столетия.

И если теперь женщина сидит за рулём автомобиля, она тоже подменяет собой мужика, так как крутить руль особенно на наших «жигулях» или «волгах», — тяжкий труд и не женское дело.

Что же взял и что дал XX век, если смотреть на него сквозь изменившийся облик женщины?

Он огрубил отношения женщины и мужчины. Сблизив их по части трудовой нагрузки, он отдалил их как возлюбленного и возлюбленную. Освободив женщину внешне

(хотя бы в одежде), он закабалил её внутренне, ибо соревнование с мужчиной в обладании максимумом прав пожирает её силы. И её женственность.

Свобода женщины (в данном случае свобода от любви) привела к тому, что ей уже не нужен мужчина, она готова рожать, но не связывать себя семейными узами. Мужчина для неё агрегат, который можно включить и выключить, — включить при зачатии плода и выключить, когда необходимость в этом отпала.

Конечно, это ещё не повсеместно и, может быть, не навсегда. В некоторых странах сексуальная революция в конце концов укрепила семью. В Америке, где женская эмансипация чуть ли не бог, семья относится к числу национальных идолов. Помню, как в 1987 году я читал лекции в Бостоне, и студентки — все сплошь феминистки — когда я заговорил о первенстве мужчины в семье, стали стучать ногами об пол, но к концу не только смирились, но и бросились обнимать меня.

Тянет, тянет женщину к гнезду. Тяга к гнезду — великая тяга. Меня поразила только что прочитанная книжка о волках: те верны своим подругам до смерти, выбирают их на всю жизнь, как, впрочем, и многие другие братья меньшие — бобры, лебеди и другие.

Сможет ли технологическая революция, призванная упростить всё в мире, победить эту тягу? Человек, конечно, менее целомудрен, чем тот же волк, но и полная потеря инстинкта любви, привязанности, нежности по отношению к близкому грозит ему полной потерей себя.

XX век расставил перед ним бессчётное число капканов и ловушек. И, может, самый опасный из соблазнов, подстерегающих его, — соблазн обольщения наукой. Последняя, кажется, способна переделать природу человека. Социальные теории (тот же феминизм, агрессивность которого я ощутил в Соединенных Штатах) — это та же наука, расшатывающая традиционное сознание, внушающая голому разуму мысль, что твердыни, установленные предками, требуют реконструкции.

Идея свободы, опьянившая в XX веке умы, перешла через край, вырвалась на простор *свободы от всего* — и в

первую очередь от *свободы самоограничения,* позволяющей человеку балансировать в заряженном злом мире. Полюбить ближнего своего — это уже самоограничение. А полюбить его как самого себя граничит с самоотречением. Но именно так трактует идею свободы двухтысячелетняя христианская мысль. И не только мысль, но и практика.

В идее свободы, понятой превратно, искажённой, оболганной, просматривается свирепая «гордость ума», эта главная гордыня уходящего века. Ей было принесено немало жертв, и в том числе жертв, принесённых женщиной.

Её нежный облик поблек, её желание освободиться от опеки мужчины (а заодно и от его любви) не принесло прекрасной половине человечества счастья. Взгляните на наших женщин-деятелей — везде утрата женского начала, очарования, даже кокетства — этого неотъемлемого дара женщины играть с мужчиной и просто играть, как играют блики солнца на текущей воде.

Интрига жизни, её красивый обман (ибо всё преходяще) исчезают при этом отказе женщины от данного ей Богом предназначения.

Мы входим в век ещё более железный, чем тот, который прожили, ещё более неромантический, позитивистский, где поэзия целого (её и представляет женщина) всё ожесточённее станет дробиться и превращаться в неутешительную поэзию частностей, мелочей, в «труп красоты», как ещё в 1909 году назвал Сергей Булгаков модернистские опыты Пикассо.

Может быть, и не один век понадобится, чтобы изжить этот искус свободы без границ, чтобы, пожав всё, что можно от неё пожать (например, безудержное раскрепощение женщины), одуматься и вернуться к равновесию с природой, с Богом и с самим собой.

2000

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОТРЯС МИР

Не могу смотреть американские фильмы. Не могу слышать, как мою крышу утюжат взлетающие над Переделкино самолёты. Начиная с 11 сентября 2001-го пошёл какой-то иной отсчёт сознания.

Кажется, Америка сама накликала на себя беду. Сколько раз на экране вертолёты, ракеты и астероиды таранили небоскрёбы. Сколько раз падали они вниз, погребая под собой людей и улицы.

Уже в 1950-х американцев пугали атомной войной, затем высадкой русских десантов, нашествием терминаторов. Правда, под занавес зритель жестоких триллеров получал *happy end*.

Но новый исторический сюжет, в который силой втолкнули Америку (а с нею и мир), не сулит счастливого конца. Сюжет этот образовался не вчера. Оказавшаяся в числе победителей во Второй мировой войне — и почти ничего не заплатившая за победу — Америка стала наращивать свое превосходство, в том числе над Россией, вышедшей из войны обессиленной и голодной.

Как по ступеням, поднималась Америка к вершине самообольщения, начиная от Хиросимы и Нагасаки (не отмщёнными со стороны Японии) и продолжая водворением в Европу, Азию, господством на суше, на море и в небе, дойдя до попрания устава ООН, чей небоскрёб также мог быть снесён 11 сентября.

Кажется, один из самолётов, захваченных террористами,

должен был ударить по нему: тогда цепь поражённых объектов (а на самом деле, символов) замкнулась бы. Сокрушено было бы финансовое величие США (Всемирный торговый центр), военное (Пентагон), политическое (Белый дом) и международное (ООН).

Террористический акт 11 сентября помимо устрашения («террор» по-латыни «страх», «ужас») имел и метафорическую подкладку. Круг нанесённых ударов должен был увенчать благословившую их идею — идею полного расчёта с американским прошлым. То был удар по настоящему, на наших глазах превратившемуся в прошедшее: на месте дерзкого вызова Америки небесам остались развалины.

Поняла ли — или хотя бы почувствовала — это она? Не берусь судить. Да и невозможно понять такое в первый день, в первую неделю, в первый месяц. Когда рана горит, не хочется думать ни о чём, как только о ней. Но проходит время, и боль физическая переходит в душу, раздирает и мучит ум. Как много лет вспухал, прорывался, а затем залечивался вьетнамский нарыв (синдром поражения), так и 11 сентября не скоро сделается *болью сознания*.

Но лишь эта боль способна помочь Америке понять, что произошло. И — выйти из потрясения обновлённой.

Пока её ответ традиционен и стар: око за око. Но прав был тот американец, который спустя три дня после взрывов вышел на улицу с плакатом: если мы постоянно будем повторять «око за око», то скоро ослепнем.

Пока Америка одушевлена местью. Пока она хочет *показать* всем, какая она. Самая-самая. Самая сильная. Самая умная. Самая непобедимая.

Поэтому русские спасатели, готовые лететь в Нью-Йорк, остаются в России. И кровь, сданная русскими для пострадавших, остаётся там же. Конечно, в Америке хватает и донорской крови, и спасателей. Хватает денег и техники. Но разве в этом дело? Принять помощь от бедной (с точки зрения Америки) России — не значит обнаружить слабость. А пока Америка более всего страшится, что её сочтут слабой. Даже в горе её не покидает гордыня.

Помощь — не подаяние, а желание *разделить беду*, как делят её в семье.

Та военная поддержка, которую Америка получит от других стран, будет получена по её настоянию, почти диктату. Это не рывок сострадания, а послушание сильному. Это не голос сердца, а голос страха (я говорю, например, о Пакистане).

Все поступки Америки говорят о том, что она непременно хочет остаться страной номер один, страной, которую слушаются и боятся. И военные победы, где бы она их ни одержала, могут вновь вскружить ей голову и заставить затушевать урок 11 сентября. Они способны её опять вознести на высоту, с которой она, кажется, сошла в тот роковой день.

Мир сомкнулся вокруг её горя (всюду у американских посольств цветы), но никто не видел цветов у российских посольств в сентябре 1999-го, когда два дома в Москве вместе с людьми превратились в пыль. Тогда это было для Америки не её, а *наше* горе, теперь настала пора понять, что беда вошла в общий дом.

Несчастье соединяет, роднит, счастье эгоистичнее — у каждого оно свое.

Превосходство Америки было не только военным, финансовым и политическим. За последние полвека она покрыла мировое пространство своими штампами. Именно она ковала идеал, лепила стереотипы массового сознания. Не зря нападение на Нью-Йорк было совершено в её трафаретах, по наводке американского кино, подсказавшего злу крупные планы, сюжет и эстетику. Налёт 11 сентября был совершён с расчётом, что его *увидят все,* и вместо *благополучного ужаса,* тиражируемого Голливудом, американцы получат ужас, который будут помнить века.

Игры со смертью опасны. Они заразительны. Это как прием наркотика: сначала кайф, а потом гибель. В один час с небоскребами рухнула и индустрия устрашения, безопасного упоения жестокостью. Пишут, что американские киностудии закрывают очередные проекты боевиков, осознав их неуместность перед лицом не виртуального горя.

Надолго ли?

Говоря, что начался новый отсчет времени, мы должны уточнить: мы вошли в *эпоху спасения*, когда всё, что раз-

деляло нас, — границы, богатство, бедность, идеология, религия, перевес в военной мощи, наконец, культура и псевдокультура — попросту прах перед лицом того, что произошло.

Я думаю, наглядевшись на наши раздоры, наши игры в смерть (нынешнее искусство), Тот, кого сейчас не только Америка, но и все мы молим о защите, исчерпал своё терпение.

2001

ДЖОРДЖ БУШ И ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Мировые агентства сообщили, что Джордж Буш едет в Москву, вооружённый знанием потёмок русской души. Накануне визита г-жа Кондолиза Райс посоветовала ему прочесть роман Достоевского «Преступление и наказание». Выбор показателен и для представлений Америки о современной России традиционен.

Во-первых, это роман *о преступнике* (русская мафия!), во-вторых, — роман *о преступлении*, совершённом к тому же по идеологическим мотивам (недавняя русская история).

Любопытно, что такая — безусловно, духовная — рекомендация была дана президенту не советником по культуре, не специалистом по русской классике, а лицом, отвечающим за безопасность Соединённых Штатов. Стало быть, смысл её сводится к следующему: «Преступление и наказание» способно просветить хозяина Белого дома относительно угрозы, которая может исходить со стороны России.

Раскольников в конце романа раскаивается в своем кровавом поступке, но не это раскаяние запоминается читателю, а ход злодейского умысла, разработка плана по его исполнению, а также психология идеологического оправдания преступления.

Русский человек — преступник? Русский человек ненадёжен? Даже образованный русский (а герой Достоевского студент) мечтает о топоре?

Получается так, и никто в романе, кроме проститутки

Сонечки Мармеладовой (ее фамилия слишком сладка), не в силах подвигнуть убийцу на сдачу полиции. Кто ещё может оспорить действия *типичного русского*, которого, вероятно, увидела в Раскольникове Кондолиза Райс?

Свидригайлов? Но и он преступник, растлитель девочек. Старуха-процентщица? Паук, пожирающий кровь бедноты Петербурга. Господин Лужин? Тоже из семейства пауков. Мармеладов? Пьяница.

Не от хорошей жизни отец Сонечки пьёт, но такой персонаж для американца *не работник*.

Разве что следователь Порфирий Петрович в состоянии убедить читателя, что среди русских есть и *трезвые люди*, но и Порфирий Петрович для делового американского сознания чересчур сложен, ибо не столько полицейский, сколько философ.

Если ещё поскрести роман, то можно указать на мать и сестру Раскольникова, женщин бедных, но честных, на столь же честного (но весьма бледно представленного) Разумихина, а также на ни в чём не повинного, но оговаривающего себя мастерового, но всех их затмит *сюжет об убийстве,* взявший в плен воображение автора и его героя.

У Достоевского это — западная идея (взятая, кстати, у Наполеона), но американец найдёт здесь чисто русский сюжет, однажды, как известно, в громадных масштабах реализовавшийся на деле. Американец никогда не поставит себя на место Раскольникова, ибо убеждён, что подобный проект чужд его менталитету.

И даже, имея за спиной бомбёжки Югославии, он этого не сделает. Ибо Раскольников грешен, а он, *как ему кажется*, праведен.

А теперь отступим от этой темы и спросим себя: хорошо или плохо, что президент Буш (с которым нам придется иметь дело, по крайней мере, три года) прочитал роман Достоевского?

Хорошо прежде всего то, что ему положили на стол Достоевского. А не, скажем, Виктора Ерофеева. Всё-таки это уровень и большое художество (я — о Достоевском). Хорошо, что в качестве справочного материала по России он воспользовался не одними выкладками ЦРУ (за кото-

рыми, конечно, тоже дело не стало), а показаниями русской классики.

Она уже лет десять как перестала быть авторитетом в делах познания России. Её объявили плодом фантазии, не имеющим никакого отношения к действительности. Её влияние, соперничающее в прошлом с влиянием религии, низведено нынче до уровня забавы праздных умов, тешащих столь же праздную публику.

Никто всерьёз не считается с мнением тех, кто пишет романы, пророки в нашем отечестве сегодня политические болтуны и шулеры всех родов знаний. В одном месте «Преступления и наказания» Свидригайлов говорит Раскольникову: «Вы — Шиллер, а я шулер». Но он, если можно так выразиться, шулер высокого класса, гений разврата, а наши пророки, как правило, вчерашние номенклатурщики.

И они не могут соревноваться даже с Голливудом — этим демиургом великой Америки.

Раньше менталитет народа изучали по книгам его писателей, по созданиям высших выразителей его духа, ныне — по диссертациям университетских профессоров (они же консультанты госдепа), статьям журналистов и воспоминаниям агентов спецслужб.

Не хочу умалять их таланты, но эти ребята очень хорошо знают, за что им платят деньги.

Какая же глубина русской ментальности открылась Джорджу Бушу в романе Фёдора Достоевского? Постиг ли он неистовую мечту автора о единственно возможном спасении человека — спасении через любовь к ближнему своему?

Постиг ли он личную любовь русского человека к Христу — не как к символу и священному знаку, а как к сыну земной матери и потому ближе, чем все прежние боги, стоящему к нашему сердцу?

Судя по недавнему интервью Буша, данному ОРТ, он долго и внимательно изучал Библию. Он даже был увлечён ею. Если это так, то он не мог не засечь, читая роман Достоевского, капитальную идею его.

Ведь над грязью, подлостью и падением здесь главенст-

вуют *чувство вины* (родовая мета всей русской литературы) и желание искупить её. Отсюда жертвенность и готовность спасти если не только себя, то хотя бы других.

Россия всё ещё не эгоистическая страна, несмотря на то, что западный (и американский) эгоизм пролез к нам через все щели и современная словесность подчинилась ему.

Дай Бог, чтоб президент США, вряд ли до этого погружавшийся с головой в Достоевского, это почувствовал и, пусть отчасти, но пережил.

Слушая его интервью, я думал, что он стопроцентный статистический американец, семьянин, спортсмен, патриот, реалист. Не Томас Вулф, не Брэдбери и не Фолкнер были его кумирами, а скорее герои массового сознания и массового вкуса. Его магистерская диссертация посвящена бизнесу. Поэтому Достоевский (если его читать поверху и без подготовки) может внушить мысль, что порочность есть едва ли не врождённое свойство русских и что её надо обуздывать. И прекрасная, свободная от подобного генетического наследства Америка призвана это сделать.

Раскроенный череп старушки и зарубленная Раскольниковым беременная Лизавета слишком ярко горят в памяти. Как полыхает в памяти всех, кто жил в XX веке, 1917 год. Тут уж не отдельный убийца, а целая страна должна сесть на скамью подсудимых.

«Гордость чистотой своей» (слова Гоголя), на мой взгляд, не меньший грех, чем любое другое прегрешение. И этот грех способен покрыть пеленой глаза читателя «Преступления и наказания».

О Достоевском на Западе написаны горы книг. Кое-какие из них я читал, кое-какие доклады о Достоевском, произнесённые на международных симпозиумах, слышал. И скажу без утрировки: более всего западного читателя захватывает в Достоевском описанное им *подполье*. Та затаившаяся на дне человеческой души темнота, куда, зажегши фонарь, спустился без страха автор «Бесов». И неслучайно «Бесы» — самый читаемый *там* роман.

Но такая же темнота и подполье есть в душе француза, немца, итальянца, американца. Это отнюдь не только русские ужасы и русский мрак.

Россия, как и герой Достоевского, уже, кажется, повинилась за свои преступления. Повинилась, правда, не вся. Красные горлопаны кричат, что эпоха Сталина и его последователей была чуть ли не раем для народа. Что каяться не в чем и некому. И притом бахвалятся тем, что шестьдесят процентов коммунистов веруют в Бога.

Но никто из них никогда не падёт на колени перед своими согражданами (как это сделал Родион Раскольников) и не попросит у них прощения. Боюсь, что и новые русские не сделают этого.

Наказание за содеянное Россия устроила себе сама. Она дорого заплатила за пролитую кровь. Это, впрочем, не значит, что она окончательно очистилась.

Но она страдала.

А тот, кто жестоко страдал, уже отбыл свою каторгу.

11 сентября 2001 года сблизило Россию с Америкой не потому, что у них появился общий враг — терроризм. А потому, что пострадавшая (может, впервые в таких масштабах) Америка получила шанс понять много страдавшую Россию.

Было ли 11 сентября для неё наказанием? И за что? Пусть она разберётся в этом без нашей помощи. Впрочем, Достоевский может ей в этом помочь. Если Джордж Буш, читая его роман, направил критический взгляд и на себя, то шанс, о котором я говорю, будет использован.

2002

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАСТОРАЛЬ

Странное дело: сидим в трактире «Шериф» и где же? В доме на углу Столярного переулка и знаменитой «канавы», то есть Екатерининского канала. Трактир в подвале: несколько ступеней вниз, а над входом вывеска — две физиономии американских стражей порядка с бляхами на мундирах.

Отчего в доме, где жил Гоголь, где писались «Вечера на хуторе близ Диканьки», эти заокеанские лица?

Актер БДТ А. Романцов читает монолог из «Преступления и наказания». Он в крылатке, одет «под Достоевского» и, забившись в угол, шепчет слова из романа, стараясь уйти от звуков открываемых пробок и галдежа посетителей.

Из динамиков несётся, заглушая его голос, победоносный рок. Молодые люди пьют пиво, ублажают себя чем-то и покрепче, в задней комнате трактира — бильярд: всё, как в Америке (и в её фильмах), только ущербнее, беднее.

Столярный и прилегающие к нему Мещанские улицы забиты домами, где проживали знаменитости. Дом Зверкова (где происходит описываемое событие) поминается в «Записках сумасшедшего» и в «Преступлении и наказании». В двух шагах от него, на углу Столярного и Малой Мещанской, с 1864 по 1867 год жил Достоевский. Здесь он написал роман о Раскольникове.

Каморка последнего — под крышей здания наискосок, а в глубине переулка, упирающегося в Большую Мещан-

скую, — дом каретника Иохима, где в одно время снимали жилье Мицкевич и Гоголь. Впрочем, на фасаде лишь *одна* мемориальная доска (о Мицкевиче), сама же Большая Мещанская всё ещё именуется улицей Плеханова.

Не знаю, может, это и правильно, что на иных петербургских улицах висят таблички с разными названиями: на одной стороне Столярного написано, что он Столярный, на другой — переулок Пржевальского. Такова демонстрация мирного сосуществования эпох — советской и постсоветской. Как долго продлится это сосуществование, не берусь судить, но кажется, постсоветская ещё лет сто будет отчасти советской.

В Петербург наша телевизионная группа приехала снимать фильм о Достоевском. Снимали в Петропавловке, в бывшем публичном доме, в Музее-квартире Достоевского, у Храма на Крови, во дворах и на перекрестках. Снимали на лестнице, по которой спускался с топором герой «Преступления и наказания».

Не прошли мимо и дома Шиля на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской, где в апреле 1849 года был арестован автор ещё ненаписанных «Бесов». Сегодня здесь офис голландской авиакомпании KML — позолоченные ручки у дверей, евроокна, охрана. На ярко-жёлтой побелке фасада ни царапинки, ни пятнышка.

Петербургские контрасты криком кричат о себе.

Стоит отойти два шага от Невского, как город из выставки превращается в трущобу. Горбатые тротуары, провисшие, вот-вот готовые упасть балконы, облупившиеся стены домов и стойкий запах помойки из подворотен, грязь и отбросы в подъездах, и всюду, где можно что-либо изобразить красками, — мат, мат и мат.

Четыре года назад, стоя на лестнице, ведущей в каморку Раскольникова, я читал по бокам её надписи, сделанные школьниками. Куражась, ребята призывали «мочить» старух, восхищались поступком «Роди», а Достоевского называли «козлом». Но мата на стенах не было.

Старая женщина вышла из подъезда и, увидев нашу камеру, возмутилась: «Зачем вы это снимаете? Срам! Срам! И откуда только взялись эти выродки?» При прежней

власти, по её мнению, никто бы не посмел превратить лестницу в сортир.

Старики склонны обелять прошлое. К тому же большая часть жизни этой женщины пришлась на сильную власть. Но не от этой ли власти пошла нынешняя зараза? Старая ложь породила новую — ложь протеста, ложь «самоплевничества», как сказал Достоевский. Отверзлись сточные воды и потекли не по канализационным трубам, а поверх земли.

В бывшем публичном доме вблизи Сенной по каменной галерее гуляет ветер, кружит остатки пищи и бумаг. Стекла в полукруглых окнах выбиты, а под ними — сюрреалистический двор. Там всё под один цвет — мокро-грязно-серый.

Лишь в Петропавловской крепости чистота и порядок. Камеры в Трубецком бастионе выглядят не хуже номеров в Октябрьской гостинице. У входа в бастион лотки, торгующие ширпотребом. Чем же торгуют? Шарфами с изображением Ленина. Заказ иностранных туристов, или *протест*, насмешка над человеком, имя которого ещё вчера носил Петербург?

Тогда сделаем из «Авроры» кабак (благо, плавучие кабаки уже покачиваются на Неве) или придумаем что-то похлеще, вроде того, что учудил один предприимчивый петербуржец: в помещении общественного туалета на Лесном проспекте открыл ресторан, а аренду платит не как за пункт питания, а как за отхожее место.

В Трубецком бастионе в свое время сиживали Вера Фигнер, Александр Ульянов и другие террористы. Гид водит по коридору экскурсии. И что же он говорит об этих персонажах? Хорошие были люди, боролись за народное счастье, стоит брать с них пример. А Раскольников, между прочим, по сравнению с ними — дитя. Он одну старушку порешил (и её сестру с ребёнком), а эти всю Россию залили кровью.

Ещё недавно рядом с тем местом, где бомба разнесла на куски Царя-Освободителя, находились улицы, носившие имена его убийц: Софьи Перовской и Андрея Желябова. Слава Богу, их догадались убрать. Но на карте города не

стерты имена Хо Ши Мина, Жака Дюкло, Давида Сикейроса. Что они сделали доброго для России? Отличился только Сикейрос, изрешетивший из автомата ранчо Троцкого в Мексике. За что и отбыл в тюрьме двадцать с чем-то лет.

Память о Троцком, конечно, не взывает к возмездию, но и он — лицо историческое, и если есть улица Сикейроса, то почему бы не окрестить именем Троцкого какой-нибудь тупик?

Как известно, в Москве нет музея Гоголя. Нет его и в Петербурге. Уже Набоков получил часть своего дома на Большой Морской, но Гоголю, который написал здесь почти все свои веши, не воздано в культурной столице страны. Много лет назад на Марсовом поле был заложен камень, на месте которого должен вырасти памятник автору «Ревизора». На Марсовом поле не получилось, поставили на Конюшенной. Я смотрю на него и думаю: кто же передо мной? Студент-революционер, спешащий на маевку, или приготовившийся взлететь в воздух артист балета?

А возле Музея Достоевского на Кузнечном — новый памятник создателю «Карамазовых». Добрый дедушка из сказки, присевший на пенёк, чтоб передохнуть и погреться на солнышке. И невдалеке от него, прямо против окон музея, мигает разноцветными лампочками магазин «Интим», предлагающий прохожим услуги секс-сервиса.

Как всё это грустно! Как тосклива безвкусица, кровосмешение стилей, пустота новизны! На фоне бессмертной красоты знаменитых ансамблей, набережных, мостов, Биржи, петровских коллегий оголтелый модерн, прижившийся в бесстильной Москве, похож на бомжа на царском балу.

Сейчас Петербург перекрыт, перерыт (по случаю грядущего 300-летия) — идёт подготовка к его выходу на сцену. Ему красят щеки, пудрят нос, приделывают брови и затирают морщины. Так накладывают румяна и белила на лицо старца.

Он, и вправду, не юноша.

Но, несмотря на этот очередной макияж (завтра краски осыпятся и поблекнут белила), когда проплываешь под его изогнутыми мостиками или крыльями разведённых

мостов, когда с одной стороны движется шпалера дворцов, с другой — Петропавловка, Академия художеств, Кунсткамера, дом Меншикова, на глаза набегает слеза.

Скачущий на Сенатской площади Пётр указывает рукой на Запад, в сторону Финляндии. Глядя на него, вспоминаешь Карамзина, Гоголя и Достоевского, с поправками принимавших этот призыв. На Запад? Да. Но хорошо бы развернуть державный жест в сторону глубины России.

2001

КАЗАНСКИЕ АРАБЕСКИ

Почти полвека я не был в этом городе и полвека назад окончил находящийся в нём известный на весь мир университет.

Я говорю о Казани.

Когда я учился там, мы все — русские и татары, чуваши и евреи — в общежитии и на лекциях были вместе. И по сей день, вспоминая прошлое, думаем друг о друге с незамутнённым чувством.

Меня встречал на вокзале однокурсник из параллельной татарской группы Альберт Яхин. Он — автор учебников по литературе, преподаватель университета, а в прошлом редактор знаменитого сатирического журнала «Чаян».

К сожалению, мы не смогли как следует поговорить, так как Альберт в тот же день уезжал в Набережные Челны. Он постоянно ездит по Татарии, встречаясь с теми, кто учит детей по его книгам. Но даже в те минуты, в которые нам удалось перебросится словами, я не нашёл в товарище по юности ни отчуждения, ни того, что называют национализмом. Он был так же доверителен и гостеприимен, как и много лет назад. Миф о том, что в Казани свирепствует исламский фанатизм, не подтвердился. Не подтвердился он на улицах, в трамваях и автобусах, в гостях у татар-однокашников, в университете.

И только сооружение, воздвигнутое недавно посреди древнего кремля, смотрелось как его материальное воплощение. То была огромная мечеть. Её остроугольные ми-

нареты вспарывали нависшее над Казанью зимнее небо, а когда опускались сумерки, в окнах-бойницах мечети вспыхивал ядовито-зеленый свет, отражая направленный на них луч прожектора.

Мечеть с высоты сурово озирала город и, вглядываясь в каждого прохожего, кажется, вопрошала: кто ты? Стены кремля, его башни и главы церквей в соседстве с нею сразу сделались ниже ростом, и было ясно, что символ-гигант поставлен над ними не зря: каждый, стоящий у его подножия, должен был знать — он не где-нибудь, а в столице бывшего Казанского ханства.

Зато всё, что под мечетью, было советское, порушенное советское. Нижняя Казань лежит в развалинах. Чуть отъедешь от вокзала, как попадаешь в старый город — город мёртвых домов и улиц. Окна забиты досками или железом, крыши сорваны, стропила стоят торчком, как будто их вывернул и оставил в таком положении ураган.

Фонари через полкилометра, мостовые с провалами. Троллейбус еле проплывает по этой реке забвения. Да и верхняя часть Казани оставляет желать лучшего. Только там, где стоят кремль и университет, порядок. Но стоит свернуть с Кремлёвской улицы (она в городе главная), попадаешь как будто на кладбище. На днях здесь снесли дом, в котором жил Лев Толстой.

Кремлёвская была и улица Чернышевского, и Ленина, а на фронтоне главного здания университета всё так же сияет золотыми буквами имя Ульянова-Ленина, хотя последний ничем не осчастливил Казань — через несколько месяцев после поступления в университет был изгнан из него за участие в студенческой сходке.

Пристойнее назвать нашу *alma mater* именем Николая Ивановича Лобачевского, который девятнадцать лет (с 1827 по 1846 год) был её ректором. В 2004 году университету исполнится двести лет: может, тогда и прозреют те, кто ведает топонимикой города, и воздадут по заслугам творцу неевклидовой геометрии.

Впрочем, к тому времени сменится в Татарии и самая высшая власть. Состоятся выборы президента.

И тогда новые элитные дома станут заселяться новыми

хозяевами. Потому что элита в Казани, как и в других городах, привыкла жить в домах улучшенной планировки и, конечно, в центре. Остальным гражданам предоставлено право обитать вдали от начальства. Где-нибудь в «соцгороде», например. Где стоят силикатные пятиэтажки со сбитыми лестницами, сорванными дверями, с неистребимым банным духом в подвалах. Основное население отброшено за реку Казанку, через которую проложена дамба, и добраться по этой дамбе, а до неё по улицам этого района до центра можно, только имея крепкое здоровье и терпение.

Надо пересаживаться с троллейбуса на трамвай, с трамвая на троллейбус, потом опять на трамвай. Причём ожидание очередного транспортного средства (все они поношены и дряхлы) занимает больше времени, чем перелёт из Казани в Москву.

Я держался за поручни в троллейбусе и думал: что же такое национальная идея? Что это — введение латинского алфавита вместо кириллицы (слава Богу, на днях это нововведение отменено), мечеть в кремле и двойные названия улиц (на татарском и русском языках), тюбетейки, сабантуи (существовал праздник сабантуя и при нас), национальная кухня?

Нужна ли она кучке людей наверху, которые «контролируют» природные ресурсы, торговлю и тому подобное, или представляемой ею нации, перебивающейся от зарплаты к зарплате? Или национальная идея это просто *сносная жизнь* и сознание того, что именно благодаря идее и стало жить легче?

Пока же на просторах нашего многоязыкого отечества я чаще вижу тюбетейки, флаги и прочую атрибутику, а не радение о народе, о его достоинстве, напрямую связанное с устранением социального унижения.

Сколько раз я смотрел по телевидению на М. Шаймиева и уверял себя: вот сильный человек, вот кто поднимет Татарию. Но страшно состарившаяся при нём Казань рассеяла эту иллюзию. В тридцать два года этот человек был министром, затем секретарем обкома, а с 1991 года — президент республики. Почти полвека стоит он то у одно-

го, то у другого руля, а ведомый им корабль никак не выйдет в большое плавание.

Оказавшись в городе моей юности, я понял, что национальный вопрос — не вопрос самолюбия, не вопрос, подразумевающий прежде всего наличие собственного парламента, а вопрос человеческий, вопрос отношения к ближнему.

В получасе езды от Казани расположен Раифский мужской монастырь. За стенами его — дома, где содержатся несовершеннолетние нарушители закона. Монахи заботятся об их учении и их исправлении. Вот пример нелицемерного — и не рекламируемого — участия и сострадания.

Впрочем, реклама всё-таки есть. У входа в монастырь на стене висит памятная доска, на которой указаны имена тех, кто так или иначе облагодетельствовал обитель. И на первом месте в этом списке, естественно, президент Татарстана, а где-то в середине — Анатолий Чубайс. Истинное добро, как известно, не ищет огласки, а стало быть, *награды*, искание которой противоположно природе добра.

Каким теплом пахнуло на меня в домах моих однокашников! Наши милые девочки, наши красавицы, теперь уже бабушки, и их мужья были заботливы и нежны, как будто пролетевшая вечность не разделяла нас. Как ни скромно завершается их жизнь, как ни ограничены они в средствах (пенсия и более ничего), их столы были щедры, а такт и забота грели душу.

На человеческий отклик мне в этой поездке повезло. Я ощутил его в аудитории филфака, где читал лекцию, на встрече со студентами на кафедре русской литературы (где нет ещё классового разделения, а есть бескорыстная любовь к слову), в Музее Горького, в котором собрались гости, пришедшие на вечер, посвящённый выходу книги стихов моего сына.

Была музыка, были сердечные речи, была окрыляющая доброта, исходившая от вчера ещё незнакомых людей. И — позднее сидение за круглым столом с вином и бутербродами, с нелицемерным вниманием и пониманием.

В 1954 году мы покидали университет бунтарями. Под занавес пребывания там мы устроили дискуссию по статье

В. Померанцева «Об искренности в литературе», опубликованной в «Новом мире». И на эту дискуссию, состоявшуюся в актовом зале только что отстроенного здания химфака, собрался весь город. Мы били по казенщине, по лжи, по схоластике, морочившей нам голову (особенно при штудировании политических наук) все пять лет.

Нас вызывали в парткомы и комсомольские комитеты, стращали, но нам было не страшно: мы ни за что не цеплялись — ни за Казань, ни за аспирантуру, ни за научную карьеру. «Бунтовщики» разъехались по России и стали сеять в народе доброе, вечное.

Многих из них уже нет, но ни об одном я не слышал недоброго отзыва. Не нажили палат каменных, но не нажили и дурной славы, и кто знает, сколько крепких колосьев взошло на ниве, засеянной ими.

Имя таким, как они, — легион, и это единственная надежда, что мы выживем. Выживем и поднимемся. Сегодня «бунту» я предпочитаю тихую работу. Медленный труд просвещения в благодарность за то, что кто-то когда-то просветил и меня.

Прощаясь с Казанью, я знал, что жизнь есть везде. Жаль только, что она так коротка.

2002

ТВЕРСКИЕ ЗАРИСОВКИ

1. Романтизм и романтики

Много раз проезжал я по Санкт-Петербургскому тракту, и как только на указателе появлялось имя «Тверь», машина сворачивала на объездную дорогу.

Мимо Торжок, мимо Старица, мимо Берново. Да и Волга, возникая то по правую, то по левую руку, вдруг исчезала, блеснув на прощанье упавшим в неё лучом.

В старину ни один экипаж не миновал Твери, а если то был царский поезд, возницы притормаживали у Путевого дворца, выстроенного при Екатерине II.

Дворец воздвигли против Спасо-Преображенского собора, помнящего времена Михаила Тверского. Ныне на его месте стоит бронзовый Калинин, о котором в новейшем «Российском энциклопедическом словаре» (2001) сказано: «Входил в ближайшее окружение И. В. Сталина, санкционировал массовые репрессии 1930—40 гг.».

В Твери по-прежнему чтят революционеров. Музей Пушкина в Торжке находится на улице... Дзержинского. *Многотысячный* Ленин тычет в прохожего указательной дланью в любом мало-мальски населённом пункте.

Пушкин, по крайней мере, воспел пожарские котлеты, а чем осчастливил древний городок железный Феликс? Тем, что в июле 1937 года его восприемники прислали в Тверь секретный приказ, предписывающий расстрелять по городу и области тысячу человек, а на срок до десяти лет осудить три тысячи?

Фамилии жертв не назывались. Право на выбор лиц,

подлежащих уничтожению, предоставлялось местным отделам НКВД.

В тёмных проходах Путевого дворца (где теперь располагается Тверская художественная галерея) я вспомнил, что именно здесь в 1811 году Николай Михайлович Карамзин предупредил Александра I, что *это* в России может произойти.

«Записка о древней и новой России», поданная им царю, тогда раздосадовала Александра, но позже тот понял, что историк был прав. Западный путь к свободе усеян терниями, писал Карамзин, и диктатура свободы страшнее, чем власть законного самодержца.

«Дайте волю людям — они засыплют вас пылью! — восклицал он. — Самовольные управы народа бывают для Гражданских обществ вреднее личных несправедливостей и заблуждений государя». Мы должны заимствовать у Запада, но делать это «без порывов и без насилия, как бы нехотя, применяя всё к нашему и новое соединяя со старым». Новости же «ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям произвола».

И далее совсем нелиберально: «Для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надо готовить человека исправлением нравственным».

То был голос консерватизма, но голос, идущий из глубины знания русской природы. Подгонять историю не следует, считал Карамзин. Только длительная работа просвещения может освободить человека от внутренних уз.

Александр открыл в России лицеи. В этих лицеях выросли люди, составившие гордость государства. Но республиканские мечты царя привели к 14 декабря 1825 года.

С тех пор противостояние общества и монарха сделалось константой русской жизни.

Портрет Александра I кисти Степана Щукина украшает тверскую галерею. Он выполнен в 1809 году и запечатлел взлёт Александрова царствования. И хотя за спиной у царя и согласие на убийство отца, и позор Аустерлица, лик его светел. Мягкость черт придает ему обаяние женственности, но слабая, нераскрывшаяся улыбка говорит о другом — о тайне неопознанных чувств.

Художник написал типичный *портрет двойственности*, ставшей роковой для последующего развития России.

Александр взошёл на трон с желанием дать стране конституцию, а оставил его, разочаровавшись и в конституции, и в России. По легенде он не умер, а ушёл в люди, чтобы искупить грехи своего царствования.

Романтическая эпоха завершилась *сказкой* — в народных преданиях возник образ властителя, добровольно отказавшегося от власти.

. Портрет Александра в числе других живописных творений, составляющих гордость тверской галереи (здесь и Боровиковский, и Тропинин, и Сильвестр Щедрин, и Айвазовский, и Венецианов), был с успехом экспонирован на выставке «Романтическая Россия», которая прошла во Франции.

Романтизм, как известно, родился не у нас, но на наших просторах был практически испытан до конца.

До кровавого конца, добавим.

Умный Запад осёкся на термидоре, но русскую тройку нельзя было остановить. Она неслась вскачь, пока не встала, как вкопанная, посреди собственных обломков.

Да и встала ли?

По обочинам дорог, как верстовые столбы, врыты в землю пирамидки и кресты. На них полинявшие ленты и засохшие цветы. Это — жертвам быстрой езды. Не той, о которой писал Гоголь («И какой же русский не любиг быстрой езды!»), а той, когда в голову залита подпольная водка (двенадцать рублей бутылка), самогон или разбавленный этиловый спирт. От такой заправки скорость делается бешеной и гонка завершается катастрофой.

Есть романтизм веры и есть романтизм сорока градусов. И если пред первым можно снять шапку, то что скажешь о втором?

«Эх, пить будем / И гулять будем, / А как смерть придет, / Помирать будем!» Такова философия русской удали. Философия презрения к смерти, а точнее, к жизни, которая у нас (где и людей много, и земли хватает) никогда не *ценилась* высоко.

5 июня 2002 года «Кашинская газета» (Кашин — рай-

онный центр в Тверской области) напечатала письмо женщин «Нас замучило пьянство наших мужиков!». Женщины пишут: «Спиваются целые семьи, спивается молодёжь, отцы, мужья, сыновья... Тот, кто спивается, уже ничем не дорожит, и потому эти люди воруют, не выходят на работу, тащат из дома и из совхоза всё, что только можно...»

Они обращаются за заступничеством к администрации. Но ей пьянство народа — *самое оно*. Ибо не она в ответе, а он. И — водка.

Проезжаю через речку Медведицу. Заповедные места. Высокий бор по берегам. Рядом — родина Калинина, село Верхняя Троица. В былые времена — совхоз-миллионер, дотации, асфальтированные аллеи в парке. И — дом восстановления сил для номенклатуры.

Сейчас номенклатура строится отдельно. В соснах над Медведицей прячутся её особняки. С дороги можно рассмотреть один из них — особняк директора кашинского винного завода. Здесь водка бьёт не в голову, а золотым ручьём стекает в кошелёк.

На русской шири одна формация сменяет другую. На смену романтизму советского образца пришёл стиль «экшн». Стиль натиска, напора, работы исключительно на себя. И — никакой жертвенности, никакого самоотречения.

Песнь современного романтика: пусть помирает *другой*. Помирает тот «ближний», которого старая религия учила любить, как самого себя. Церкви на наших просторах растут, но чистоты нравов от этого не прибавляется. Религия эгоизма и безудержной воли рук растёт ещё быстрее.

Надо любить «дальнего», — говорил Ницше. Дальний — это человек будущего. Что же касается ближнего, то если он слаб, столкни его с дороги. Предшествующая формация поступала именно так.

И внезапно от всепоглощающей любви к будущему мы перенеслись к столь же всепожирающей любви к настоящему.

Русский романтизм упёрся, как в тупик, в супермаркет.

2. Сатира и сатирики

Кто не видел затопленной под Калязином колокольни? Много лет назад её снял в «Калине красной» Василий Шукшин.

Стоит она и ныне, и накат волн не может поколебать её остова. Она наклонилась, как Пизанская башня, но, думаю, перестоит и её. И сделается памятником социализма, как бронзовые ленины и дзержинские.

Вот кто уважал сатиру, так это они. И был у них любимый сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, чей смех не оставлял после себя ничего живого. Россия была для него не Россия, а город Глупов, населённый головотяпами, губошлёпами и рукосуями. И умели они только есть, пить и размножаться, а посему обязаны были кончить плохо. Налетела на город чёрная туча и погребла навеки как недоразумение.

Совсем другая история государства Российского получилась — не как у Карамзина. И тон повествования совершенно иной: что с таким государством делать? Его не перевоспитаешь, не накормишь речами карася-идеалиста. Его можно только подорвать, как пороховой погреб, а на его месте расположить другое. А существующее как недоразумение — непременно удалить.

И, как сказано в финале летописи города Глупова, «история прекратит течение свое». Хоть и не отличался автор благочестием, а процитировал Апокалипсис.

У Щедрина на Верхней Волге два музея: один — в Твери, другой — в селе Спас-Угол. Есть и третий — в Талдоме, но это уже на въезде в Московскую область. Говорят, и в Вятке его в этом смысле не обидели.

В Твери он вице-губернаторствовал, в Спас-Угле родился, в Вятке служил, а Талдом — тоже территория его родины. Только в Рязани, где он также был вице-губернатором, насчёт музея не озаботились, зато не забыли руководителя: дали ему прозвище Вице-Робеспьер.

Видать, суров был не только на бумаге, но и в действительности.

В Спас-Угле музей сатирика располагается в церкви.

На одной половине — служба, на другой — музейная экспозиция. Из-за невысокого занавеса, отделяющего две половины, видны Царские врата и иконостас. Храм Спасо-Преображения построила бабка Щедрина. У стен храма — родовое кладбище Салтыковых. Здесь покоятся отец Михаила Евграфовича, два его брата и две сестры. В самом музее хранится пенсионное удостоверение его сына, дожившего до советской поры.

Если среди русских писателей искать правоверного христианина, то вряд ли искатель остановится на Щедрине. Слишком много желчи в его смехе и слишком недостает милосердия, а милосердие — первая заповедь верующего.

Правда, начинал он с чувствительных строк преимущественно божественного содержания. В его стихах и ангелы, и «небесные девы». Ангел-ребенок умирает, и другой ангел уносит его душу на небо. «Небесная дева» не отвечает поэту взаимностью, а «всё, что чисто и прекрасно... минутно на земли». И о себе он пишет: «...мнится мне, что... я умру в разгаре юных сил». Впрочем, не забывая и о «резвых нагих наядах».

Буколика. Эклога. Элегия. И — никакой желчи.

Зато смех зрелого Щедрина — сплошной сарказм. Кому из предков обязан он этим даром? Евграф Васильевич Салтыков, его отец, был незлобив, во всем повиновался своей молодой жене. Он взял её четырнадцати лет из купцов, в то время как ему — обедневшему дворянину — было сорок. Она увеличила его состояние в десять раз.

На фотографии в музее в Спас-Угле матушка Щедрина запечатлена на закате лет. Но какой закат! Сколько мощи в её фигуре! Какой неохватный телесный объем! Взгляд, разворот плеч, посадка — всё говорит о том, что перед тобой *хозяйка*, с которой шутки плохи.

Тяжелое лицо, тяжелый характер.

Что же до батюшки сатирика, то процитирую эпитафию на его надгробном камне, которую, как говорят, сочинил он сам: «Прохожий, ты идёшь, а не лежишь, как я. / Постой и отдохни на гробе у меня, / Сорви былиночку и вспомни о судьбе. / Как Ты, был жив и я. / Умрёшь и Ты, как я».

Сентиментальная «былиночка» не устраняет ядовитого напоминания: «Умрёшь и Ты...» От этого безвинного стишка отдаёт могильным холодом.

Нет, не так-то прост был отец нашего героя. Умел посмеяться над другими и над собой. Да и его сын, безусловно, не таков, каким его представляют на музейных стендах. Там он — воплощённое наказание, огнедышащий гений, сжигающий нечисть крепостничества.

Меж тем в переводе с греческого «сарказм» означает «рву мясо».

Чье же мясо рвал смех Щедрина? Редкий случай в русской смеховой традиции: смех у нас по большей части снисходителен. Бывают, конечно, и иные порывы. Но всё же юмор в русском смехе берёт верх над сатирою.

Вспомним Фонвизина, вспомним Гоголя, вспомним Зощенко.

Щедрин стоит в нашей литературе наособицу. В его смехе нет юмора, а значит, нет и влаги (ибо «юмор» — это «влага», «жидкость»), он чёрств, сух и оттого не животворит, не поит.

Как раз за непреклонность его и почитали всегда.

Но давайте вчитаемся в двадцать томов его прозы. Опустимся на её глубину. И вглядимся в последние фотографии русского Свифта. Да, черты лица строги. И тесно сжаты сухие губы. Но глаза, если и не полны слез, глаза несчастливого человека.

В них есть что-то страдальческое, взывающее к пониманию. И — никакой победоносности, никакого истребительного огня.

Взглянем же теперь на щедриных XXI века. Совсем другой человеческий тип. Тип человека, довольного собой и обстоятельствами.

Нынешние щедрины жируют, их увенчивают премиями, а простодушная публика верит, что они болеют за народ.

Вы не обнаружите на их лицах страдальческого отпечатка.

Да и где и в какой стране власти носили сатириков на руках? У нас носят.

Новейшие пересмешники вернули слову «сатира» его

первоначальный смысл. На французском «сатира» — «десерт», «блюдо после насыщения».

Браво, братья-обличители! Вас кушают на десерт, вами заедают жирный обед.

3. Эпилог

По дороге в Москву мы каким-то крюком оказались в Угличе. И я увидел *храм на крови*, воздвигнутый в память о царевиче Дмитрии. Храм восстает из праха. Надеюсь, в нем не будет музея, а будет дом милости и прощения.

Нам так надо научиться прощать. А значит, и любить.

Больше мне добавить к этим заметкам нечего. Разве что слова Данте: «Отвергнув желчь, взыскую яблок сада».

2002

ПУТИН И КУЛЬТУРА

В связи с обострением отношений новой власти с массмедиа многие задают себе вопрос: а что будет с культурой вообще? В какие отношения с нею войдёт команда прагматиков, воцарившаяся в Кремле?

Попробую пофантазировать на эту тему. На днях я прочитал очередное интервью В. Путина. Рассказывая журналисту, каких писателей он любит и что читает, он назвал Толстого, Достоевского и Набокова.

Если вспомнить, что любимым писателем Б. Ельцина был Петр Проскурин, то налицо прогресс.

Впрочем, Путин как человек современный и хорошо ориентирующийся в ценах на духовный продукт не мог назвать другие имена. Он хочет вернуть Россию в число держав первого ряда, а Толстой, Достоевский и Набоков — это первый ряд.

Значат ли его слова, что нас ждет расцвет высокого искусства? Конечно, нет. Слова политика лишь слова, хотя по ним можно судить о культурной осведомлённости президента. Пресса как-то не заметила, что, будучи в Туркменистане и получая мантию доктора наук, он скромно обронил: я горжусь тем, что удостоен этого звания в университете, где учился Андрей Дмитриевич Сахаров. Опять-таки этому заявлению можно верить и не верить, но факт есть факт.

Сегодня в Путине видят олицетворение сильной власти и боятся её. Ибо одно дело реформирование государствен-

ной вертикали, наказание воров и взяточников, другое — диктат в литературе, кинематографе или театре. Кинематографисты уже получили горький урок — у них отобрали Госкино. Как ни возмущались звёзды экрана, как ни бастовали принародно, ничего не вышло, а точнее, вышло по Путину: проглотил Госкино министр культуры Швыдкой.

Безусловно, по облику министра, назначенного, может быть, на месяц или на два, нельзя судить, какова будет завтра культура, но личность симптоматичная: и нашим и вашим, кому хошь спляшем.

В дни Международного кинофестиваля в Доме кино прошёл симпозиум, который назывался «Сильная власть: последствия для культуры». В вопросах, которые были предложены к обсуждению, чувствовался скрытый страх.

Но разберёмся в том, что такое сильная власть. Власть, которая бессильна, не может считаться властью. Ещё Владимир Даль, определяя смысл слова «власть», писал: власть — это «право, сила и воля над чем». Истинная власть сильна, но «сильная» — не аналог эпитетов «зверская», «людоедская» и «злодейская». Есть власть сильная, и есть власть зверская — последняя терзала Россию, её культуру три четверти века. Отсюда — страх повторения, страх реставрации. И страх этот — залог того, что власть сможет позволить себе вновь обрести образ зверя.

С сильной властью, впрочем, можно говорить на равных. Хотя вряд ли этот разговор нужен: власть существует сама по себе, культура сама по себе. Сильное (в данном случае — высокое) искусство не зависит от сильной власти и тем более не подчиняется ей. Мне могут сказать, что это фраза, а на самом деле писателей ломали, композиторов преследовали, художников линчевали.

В. Путин не только признался в своем уважении к А. Д. Сахарову, но в День Победы открыл мемориальную доску, где среди кавалеров ордена Победы выбито и имя Сталина. Он начал свою речь, обращённую к выстроившимся на Красной площади ветеранам, со сталинских слов, сказанных в июле 1941 года: «Братья и сёстры»...

Слишком прозрачное заимствование. Слишком большая амплитуда маятника: от Сахарова до Сталина.

На симпозиуме в Доме кино многих беспокоило: а как власть обойдётся с андеграундом и постмодернизмом? Не загонит ли их опять в подполье? Я думаю, этих мастеров ходить на руках и стоять на голове никто не тронет. Идейная литература для власти — головная боль, а трюки постмодернизма — возрастная глупость. Опасны не они, а те, кто видит в культуре религиозную цель. Двух Церквей в России быть не может, двух господствующих идеологий — тоже.

Мы страшно идеологизированная страна. Когда иностранца спрашиваешь, в чём его духовность, он отвечает: в том, что я хорошо делаю своё дело. Их духовность — труд, обеспечивающий, кстати, и хорошую жизнь.

Религия жизни — вот бог западного человека. Нам подавай нечто высшее: то спасение всего человечества, то идею Святой Руси. *Религия идеала* — вот в какую сторону показывает стрелка компаса русской культуры.

Существует предубеждение, или даже парадокс, что великая культура создается в сопротивлении сильной власти. Вызывая в художнике отпор, она побуждает его создавать шедевры. Но разве Пушкин, Тютчев, Гончаров, Лермонтов, Толстой, Чехов противостояли власти? Нет, они противостояли человеку: его безбожию, агрессии, его цинизму. Каждый из них противостоял при этом прежде всего себе, а получалось, что и нам.

Пушкин мог танцевать во дворце, но он не был поэтом власти Николая I. Достоевский читал свои сочинения царской семье, но не сделался апологетом Александра II. А при слабом Николае II Толстой был больше, чем царь, потому что к нему прислушивались все на Руси.

Конечно, человеку, восстанавливающему целостность государства (а именно этим хочет заняться Путин), вряд ли придётся по душе всё, что работает на разрушение. Хотя, как признаётся президент в уже цитированном нами интервью, он в детстве выучил наизусть сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Став «большим принцем», откажется ли он от главной идеи этой замечательной сказки — идеи любви?

В. Путин хочет навести в России порядок. Он говорит о

диктатуре закона. Страх перед законом полезен (если нет страха перед Богом), страх перед людьми, олицетворяющими закон, грозит обществу и культуре оскоплением.

Сильное государство не может обойтись без ярких имён, *унылый* порядок годился разве что для Гитлера или Сталина.

Так что же нас ждёт? Эпоха прогрессирующего упадка или время взлёта талантов, мира между властью и культурой, ведущего к вершинам художественных достижений?

Ответ находится и у Путина, и у нас. Пока президент вручает ордена деятелям искусств. Говорит им: вы — цвет общества. Если он на самом деле так думает, не произойдёт того, чего боится интеллигенция, — повторения пройденного.

Но для этого ей ещё придется постоять за себя.

2000

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДОН КИХОТ!

Я вспоминаю сухую ламанчскую долину, начинающуюся вскоре после Толедо и долго, заунывно тянущуюся на юго-восток через всю Кастилию.

Родина Дон Кихота, славного Рыцаря печального образа, имя которого будут помнить до тех пор, пока существует земля. Недавний международный опрос подтвердил это: лучшим, самым совершенным и читаемым творением мировой литературы был признан роман Сервантеса. Он без труда вышел на первое место.

Сервантес напечатал начало романа в 1605 году — когда ему стукнуло пятьдесят восемь лет. До этого он писал и печатался, но, как заметил в одной из глав «Дон Кихота», то было лишь учеба и приготовленье. В старину авторы не стеснялись упоминать о себе в своих сочинениях, и одна из книг Сервантеса даже была в каталоге библиотеки его героя.

С библиотеки-то всё и началось. Не будь в доме Дон Кихота комнаты, забитой рыцарскими романами, на которые он тратил последние деньги, не было бы и его истории, не было бы и его самого.

В данном случае книга породила книгу, замысел оттолкнулся от печатных строк, и на ламанчском скудном плоскогорье явился тип, затмивший собою не только бесчисленных испанских идальго, но и Гамлета и Фауста вместе взятых.

Кастильская земля уже в мае выгорает до желтизны.

Пересекая её, не веришь, что где-то за ней — плодоносные долины, а за ними — море. Но вдруг, на каком-то взлёте дороги, взору открывается раскинувшаяся во все стороны цветущая Андалузия. Её рельеф мягок, покрытые оливами холмы плавно спускаются под гору, а затем взмывают вверх, чтоб затем опять, как морская волна, опасть ко дну.

Именно в эти райские кущи и направил Росинанта Дон Кихот. Тоска по дыханию влаги, по животворному изобилию переполняет его сердце — сердце вечного дитяти, который никогда уже не сделается взрослым. Наверное, за это мы и любим его. Ибо в наш практический век доброе сердце — великая редкость. Он готов оделить своей добротою всю Испанию. Да и что говорить, не одну Испанию, а всё человечество.

Когда мы произносим слово «дитя», то представляем младенца на руках матери или маленького человека, едва вставшего на ноги и всё ещё держащегося за материнскую руку. Дитя — это мольба о помощи, о защите, о сочувствии и снисхождении. Оно — плод любви двух смертных существ и беспорочное творение Бога.

Дитя есть в каждом из нас, сколько бы мы ни прожили, какие бы обиды и несчастья нам ни пришлось перенести. Таков Дон Кихот Ламанчский. И именно поэтому он бессмертен. Смеясь над ним, мы смеёмся с радостью, как улыбаемся, наблюдая игры ребёнка. Так же подтрунивает над ним и Сервантес. В одном месте книги он говорит, что шутка, которая приносит боль, уже не шутка.

И ещё. Нет ничего прекраснее самоотвержения, самоотречения, бескорыстной траты душевной, которая для такого человека, как Алонсо Кихана Добрый (как зовут его в родной деревне), не потеря, а приобретение и награда, стоящая выше всех зримых отличий.

За нею — открытость, доверие, всепоглощающая жалость и вера.

Дон Кихот — Рыцарь *печального* образа, но означает ли это, что доброте уготована лишь такая участь? Что её ожидают разочарования, порождающие печаль. Конечно. Но происхождение слова «печаль» идет от глагола «печь», то есть гореть, пылать. Дон Кихот пылает любовью, его

сердцу жарко, и он хотел бы этот жар рассеять среди людей. Он, как солнце, сгорает, отдавая животворное тепло другим.

Дон Кихот мог бы остаться в деревне и, никуда не уезжая, довольствоваться виртуальным чувством жалости к ближнему. Но он уходит в мир, не страшась побоев и смеха, которыми тот отвечает ему. Но не ответ важен, а порыв, ибо добро, гордящееся тем, что оно добро, уже не добро.

Пока Дон Кихот веровал (речь о его мечте), он жил. И пусть его мечта была химера, фантазия, сказка, как только она была побеждена, он не захотел жить. Он умер не как рыцарь из книжки, кончающий свои дни на бранном поле, а как простой смертный, в собственной постели, и причины его ухода названы Сервантесом: «уныние», «тоска», «огорченье».

Так умирает идеальность, которую неусыпно стережёт торжествующая материальность. Она, как смерть с косой, поджидает за углом и показывается из-за него в роковую минуту.

Перечитывая роман Сервантеса, я невольно устремлялся по пути его двух смешных персонажей (одного костлявого, высокого, другого полного и короткого) и, как и они, устремлялся мысленно к открытому финалу — к выходу к морю. К морю, которое увидел Дон Кихот с холмов Барселоны.

Это было похоже на выход к истине.

И оттого здесь-то и был сражён Дон Кихот Ламанчский (сражён Рыцарем Луны, а на самом деле своим односельчанином бакалавром Карраско, желающим вернуть земляка в лоно реальности), и воскрес Алонсо Кихана Добрый, каким он и был на самом деле.

И вновь вспомнились мне Испания, Барселона в мареве жаркого майского воздуха, колонна в порту, на которой стоит собрат Дон Кихота Колумб (тоже мечтатель), и, повернувшись лицом к городу, я стал искать облик того, что не мог с этой позиции увидеть глазами: парящие в небе главы собора Саграда Фамилия, в которых божественная идея пересилила реальность.

Вся подземная, земная и надземная мощь мечты, напрягшись и скользя по чешуйчатым поверхностям башен, напоминающих обожжённые початки кукурузы, устремляется вверх, соединяя общую тягу человека и природы к Богу.

Таково создание ещё одного Дон Кихота, великого барселонца Гауди, чьё не похожее ни на что в мире строение устремляется ввысь не за разгадкой материи, а желая постичь тайну невидимого.

Гауди, которого, может быть, считали, как и героя Сервантеса, неудачником, погиб под колёсами трамвая (тоже прозаическая смерть), но его душа, вселившись в камень, дала ему силы взлететь над Барселоной.

Созерцание подвига идеального вызывает дрожь в сердце, и, кажется, всё лучшее, что есть в нас, отделяясь от бренного тела, уносится вместе с его духом вверх. Оставаясь во власти материального (тоже тяга, но тяга земная), всё же переносишься и *туда*, и, кажется, — безвозвратно, навек.

Что это — памятник безумию или славе безумия, не считающегося с доводами расчёта? Впрочем, как это ни странно, памятники безрассудству ставятся чаще, чем монументы в честь выгоды и успеха.

В кафедральном соборе Севильи стоит памятник-надгробие духовному брату героя Сервантеса адмиралу Христофору Колумбу, в чьи мечтания открыть новый континент тоже мало кто верил.

Но безрассудный моряк отплыл из Севильи в свою первую экспедицию в 1492 году, играя ва-банк. И, не будь этого, он не открыл бы Америку.

Колумба похоронили сначала в Санто-Доминго, а затем на Кубе, и лишь в конце XIX века его останки вернулись на родину. И здесь с ними поступили так, как хотел Колумб. Они лежат не в земле (ибо покойный не хотел быть погребённым в земле страны, которая так долго не верила ему), а в саркофаге, который несут на руках четыре короля — король Кастилии, король Леона, король Наварры и король Арагона.

Земная власть покорилась власти мечты и склонила перед ней голову. Она признала её первенство.

Те, кто привык быть господами всего земного, сделались слугами духа.

Санчо Панса вернулся на родину хоть с небольшими, но деньгами, Дон Кихот — побеждённый не столько Рыцарем Луны, сколько самим собой. Перед последним въездом в родную деревню его оруженосец пал на колени и воскликнул, обращаясь к «желанной отчизне»: «Раскрой объятья и прими сына своего Дон Кихота; его одолела рука другого, но зато он преодолел самого себя, а ведь это он же мне и говорил, что более доблестной победы нельзя себе пожелать!»

Почему в центре Мадрида стоит памятник Дон Кихоту, а не, скажем, какому-нибудь начальнику тайной полиции? Почему могила Франко вынесена далеко за город, хотя и видна издалека и поражает своими размерами?

Наверное, потому, что мы, погружаясь в минутное и смертное, всё же чтим святость? И почему эта святость прячется по монастырям, уходит от людей в пустыни? Ей, как свидетельствует пример ламанчского идеалиста, место на улице, в толпе, среди слабых, обиженных. Пусть над ним постоянно смеялись, пусть называли сумасшедшим, пусть, наконец, он терпел за свою неуклюжесть, но хотел он хорошего. Заступиться за слабого, сам будучи слабым, — что может быть выше этого?

Дон Кихот подал миру пример безрассудного идеализма, без которого, однако, этот мир вряд ли устоит хотя бы час или минуту. Но отвлечёмся от мира и вернёмся в наше отечество.

Как никогда оно переживает кризис отсутствия идеального. Сегодня у нас герой не Дон Кихот, а какой-нибудь Яго или маркиз де Сад.

Кем бы ни была на самом деле дама сердца испанского идальго (а Дульсинея Тобосская пасла свиней), он превратил её в первую красавицу и готов был пасть за её честь в поединке. Он свинарку, грубую крестьянку возвёл в перл красоты.

Современная цивилизация раздела женщину. Даже Россия, всегда стыдливо относившаяся к женской наготе, стала срывать с неё сокровенное. По этому случаю пора

возводить на наших площадях памятники слугам дьявола. Ибо они слуги идеала содомского, одержавшего (надеюсь, временный) верх над идеалом Дон Кихота.

Книга, написанная Сервантесом, зовёт нас не в Средневековье, не в сумасшедший дом, где, похоже, только и может быть определена сегодня на место жительства мечта, а туда, куда тянутся конические стрелы собора великого Гауди.

Ибо, как пишет, завершая свою эпопею о Дон Кихоте, его автор, тот покинул наш мир «так спокойно и так по-христиански».

Но мы крикнем, как кричали когда-то, когда умирал король: «Дон Кихот умер, да здравствует Дон Кихот!»

2002

С ПУСТЫМ ЗАГАШНИКОМ

Нет убедительности в поношениях,
и нет истины, где нет любви.
А. Пушкин

Что скажут потомки о нашем времени? Как назовут его?

Время отчаяния? Время безудержного куража сытых и слёз обворованных? Время обожествления денег и падения святынь? Время национального унижения? Время торжества пошлости? Время свободы, сделавшейся свободой разоблачений и сведения счётов?

Я — о разоблачениях и разоблачителях.

Начну с цитат.

«Я никогда не выдавал себя за пророка и отвергал попытки (немалочисленные) моих почитателей приписать мне дар ясновидения (в других ясновидцев тоже не верю, включая Иоанна Богослова)» (с. 18). «*Можно и нужно смеяться над верой*» (с. 115), «Солженицын антисемит и мало чем отличается от организаторов процесса над врачами-убийцами» (с. 55), он «не очень умен», «большого ума не высказал» (с. 56, 57), «себя породил, себя и убил» (с. 78), «очевидный эгоист» (с. 88), «препятствовал публикации на Западе повести о Чонкине» (с. 94), «самозванец» (с. 100), из той же породы, что и аятолла Хомейни (с. 116), апологет диктатора Франко (с. 117), «в манере держаться» есть «безумное самомнение, лицемерие и ханжество» плюс «передергивание» (с. 118), «приехав на Запад, стал окружать себя людьми, чьё мышление и мораль на уровне Кабанихи» (с. 120), «превратился в пародию на самого себя» (с. 128), «сегодня смешон» (с. 129), поездка по России в 1994 году напоминает рейсы «бронепоезда Троцкого», а возле три-

бун, с которых он выступал, «стояли местные сатрапы и кагэбешники» (с. 173).

Цитаты взяты из книжки Владимира Войновича «Портрет на фоне мифа» (М.: Эксмо, 2002).

Портрет на фоне мифа — это портрет А. И. Солженицына. Портрет, что называется, нелицеприятный, а проще сказать, разоблачительный. Как видит читатель, Солженицыну предъявлены обвинения, которыми, как писал Гоголь в ответе Белинскому, «не хватило бы духа запятнать последнего мерзавца».

Читая книжку, я не верил своим глазам. Человек, преследуемый властью, клеймит собрата по судьбе. Но ещё более изумился я, когда прочёл, что он думает о себе: «...меня уже сравнивали с Гоголем, Щедриным, Свифтом и чаще — с Гашеком» (с. 184), «покойный Вячеслав Кондратьев пытался поставить меня на место (из-за «Москвы, 2042». — *И. З.*), на что я ему посоветовал не писать статьи в газете для взрослых, а идти в детский сад» (с. 71). Обижаясь на то, что в списки преследовавшихся советской властью зачислены Солженицын, Можаев, Искандер, а его, обличителя, фамилии там нет, Войнович уточняет: «В прямом конфликте с государством состояли и специально преследовались не они» (с. 169), «В октябре 1973 года после нападения на Сахарова я одним из первых оказался в квартире Сахарова и именно я на своих “жигулях” возил Сахарова», «когда Сахарова выслали в Горький, я написал по этому поводу открытое письмо, одно из прозвучавших наиболее громко» (с. 156), «одному *маленькому* литератору сказал с нарочитым высокомерием: “если я должен знать разницу между Солженицыным и собой, то и вам следует подумать о разнице между мной и вами”» (с. 140).

А это о своем романе «Москва, 2042»: «Пройдёт время, люди будут читать роман, а выискивать прототипов будут литературоведы» (с. 133).

Несоответствие того, что говорится о Солженицыне, с тем, что Войнович говорит о себе, создаёт комический эффект. И отравленные стрелы летят обратно — к тому, кто их послал.

Я помню Войновича восьмидесятых. Тот Войнович мог

посмеяться не только над другими, но и над собой. Он как-то не очень носился со своею персоной.

Войнович «Портрета» совсем не такой.

Что же произошло с ним? Что подвигло его на эту истребительную акцию? Поветрие времени? Обезумевшая от избытка прав свобода? Или причины личные?

О личном судить не берусь: я не исповедник Войновича и не его домашний врач. Я — читатель. И как читатель вижу, что всё у него покатилось вниз: язык, юмор и мысль. Налицо обидное *падение уровня,* налицо кухонная разборка, поданная как идейное несогласие.

Всё претит Войновичу в Солженицыне — и то, как тот живёт, и какую музыку слушает, и какая у него борода: он «отращивал бороду, чтобы приспособить лицо к западным телеканалам» (с. 38). Другие попрёки в том же духе: «...получил от власти роскошную квартиру и построил хоромы в номенклатурном лесу» (с. 74), а «премию свою учредил в долларах».

Конечно, А. И. Солженицын простой смертный, и у него есть черты, над которыми не грех подшутить. Но можно ли шутить над жизнью? Над плутаниями по путям судьбы? Здесь драма Солженицына (а то и трагедия), а не фарс.

«Кто грешил против нравственности, стремясь к нравственности, — писал Белинский, — тот нравственнее того, который родился и умер нравственным, точно так же, кто заблуждался в истине, стремясь к истине, больше любит истину, нежели тот, который родился и умер правым против неё».

Когда человек завершает жизнь, над ним вряд ли стоит смеяться. Пусть что-то в этой жизни было *не так*, как хотелось бы, скажем, Войновичу, но я бы на его месте предпочел молчание злорадству.

Смеются над теми, кого смех может поднять, изменить, но здесь дело сделано, и делать шута из того, кто подошёл к роковой черте, бесчеловечно.

Но Войнович нас предупредил: смеяться можно надо всем и в том числе над верой.

Есть вера и вера. Есть чистое чувство, сердечный порыв (и он свят), и есть деспотизм веры, которая уже не вера, а

«основное учение». Учение, требующее от инакомыслящих духовной капитуляции.

Смейся над фанатиком, над лицемером, но как смеяться над чистым чувством? Это всё равно что смеяться над любовью.

Это первое.

Второе. Если берёшь себе в оппоненты фигуру масштаба Солженицына, то и соблюдай масштаб. Обнаружь запас знания, соответствующий запасу противника. И на телеге «образованца» к нему не подъезжай.

Войнович подъезжает. И оттого у него, что ни абзац, то конфуз теоретический, исторический или вкусовой.

Вот его тезис об абсолютном *первенстве прав:* «Оказывается (у Солженицына. — *И. З.*), прежде прав должны быть обязанности. Вот с чем никак не соглашусь. *Сначала должны быть права*. Бесправный человек есть раб...»

Типичный перекос из арсенала борца с тоталитаризмом. Если нам *не дадут* прав, мы и обязанности исполнять не будем. То есть перестанем работать, кормить семью, помогать слабым. Для того чтобы всё это делать, нам нужны конституционные права.

В старой России (как писали в советское время) у граждан не было никаких прав, но строились города, производился полезный продукт и была великая литература.

Откуда они взялись?

Есть права, установленные законом, и есть — установленные свыше. И *эти* права выбираем мы сами. И именуются они внутренней свободой, которую А. Блок, например, называл свободой тайной: «Пушкин! Тайную свободу пели мы вослед тебе».

Права, данные тайной свободой, записаны в сердце, а не на бумаге. Войнович же печётся о правах политических. Он их возводит в божество. *Но, боготворя права, можно стать и рабом прав*. Рабом добровольно принятых обязанностей сделаться невозможно.

Истину эту открыл не Солженицын, её две тысячи лет исповедует христианский мир.

Автор «Портрета» выходит на ринг с пустым загашником. Подготовка — средняя школа. Все примеры — из

школьной программы. Все умозаключения — оттуда. «Окружение Кабанихи» взято из учебника по литературе для восьмого класса. Причём учебника времён царя Гороха.

Вот что пишет Войнович о Пушкине: в перерывах между писанием стихов «жил суетно» (с. 89). А вот о Гоголе: «...прожигал жизнь всеми возможными способами» (с. 90) и только потому написал «Игроков». Хотел бы я знать, какими это «всеми возможными способами» (какой язык!) прожигал жизнь Николай Васильевич?

С Пушкиным и Гоголем всё ясно, но как быть с современниками? Солженицын сокрушён, он до великой прозы недотягивает, «деревенщики» (то есть Астафьев, Распутин, Абрамов, Можаев, Евгений Носов, Белов) — тоже. Они были «обласканы властью», «сидели в президиумах», и ещё надо посмотреть, «как у них насчёт языка, сюжетов, метафор и образов?» (с. 72, 73).

По интонации вопроса можно понять, что *у них* с образами — *плохо*.

Все, кто не принял «Москву, 2042», — «большого ума не высказали». Это Лидия Чуковская, Жорж Нива, Алик Гинзбург. А княгиня Зинаида Алексеевна Шаховская причислена к людям, «чьё мышление и мораль на уровне Кабанихи».

Кого же, простите, Войнович жалует?

Вячеслав Кондратьев? Детский сад. Владимир Максимов? Привычка к штампам. Варлам Шаламов? «Рассказы Шаламова слишком беспросветны, чтоб восприниматься как факт большой литературы» (с. 78).

А что же тогда «Ад» Данте? Или «Гамлет» Шекспира? Или, на худой конец, «Бобок» Достоевского?

Достоевский, по тарификации Войновича, «писатель провинциальный». Почему? Потому что стоял исключительно за русских. Читаем: «Подчеркивая постоянно свою русскость и свою заботу только о русских, он (Солженицын. — *И. З.*) уже одним этим разжаловал себя из мировых писателей в провинциальные» (с. 62).

В таком случае в тот же список попадают и Пушкин (вспомним «Клеветникам России»), и Гоголь, и Тютчев. Да и все наши великие писатели. Поскольку, по словам

Н. Ильина, «всякий гений национален, всякое величие почвенно».

Как-то один питерский литератор, не привыкший ломать шапку перед «классиками», сказал Войновичу: «А вы не заметили, что всю жизнь прожили вне критики? Вас поносили партийные проработчики, но их хула была слаще мёда, она возносила вас в глазах честных людей. Вас берегли, вас лелеяли. А сказать было что: и что вы повторяетесь, что вторая часть "Чонкина" уже не смешна, а биографический запас, из которого вы до сих пор черпали, истощился».

Войнович был потрясён. Он настолько привык жить в ореоле похвал, что укор не со стороны какого-то чинодрала, а человека порядочного стал для него ударом грома. Ведь до этого ругали враги, а друзья превозносили. И не заметил он, как произошло то, в чём он сам винит сейчас Солженицына, — движущаяся масса превратилась в бетон. И на нём, как на пьедестале, обосновалась гордыня.

Вот почему любое замечание в адрес «Москвы, 2042» показалось ему посягновением на заслуги, на сам прогресс. Ибо последний давно был присвоен им, приватизирован и сделался его личным достоянием.

Всё это трудно согласуется с признаниями Войновича, что «Пушкин читал свою жизнь с отвращением, Толстой сомневался в ценности своих книг и уличал себя в тщеславии». Хорошо бы следовать им! Но себя Войнович бережёт: «Не обязательно каяться публично и бить себя кулаком в грудь. Можно устыдиться чего-то, оставить это в себе, но для себя сделать из этого вывод» (с. 70).

Мораль: бей кулаком в грудь другого, а себя не тронь. Себя оставь при себе. Может, ты не экстраверт, а интраверт.

Но писатель всегда экстраверт. Он выносит то, что переживает в душе, на люди.

А насчёт того, что себя не тронь, есть хорошая пословица: «Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой». Имей отвагу и себя не пожалеть.

Свои филиппики в адрес Солженицына Войнович

оправдывает тем, что хочет просветить народ. «Я о России думаю», — пишет он. Но при чем тут Россия? Она давно уже не поклоняется Солженицыну. Она давно не смотрит на него как на ставленника Бога на земле. Она не больна ни «идолофренией», ни «измофренией», ни «солжефренией» (неологизмы из книжки).

И это печально. Потому что хотелось бы, чтоб мы были не беспамятными бродягами в человечестве, а, говоря словами Н. Бердяева, виновными сынами. «Лишь виновные сыны, — писал он, — а не обиженные рабы, свободны».

Но мы всё ещё обиженные рабы, и книжка Войновича — тому подтверждение. В ней обида не только на конкретное лицо, но и на понятие величия вообще. Не нужны нам великие, — настаивает автор. — Хватит, натерпелись уже. Все великие — тартюфы и нечего им поклоняться.

Но великие люди нужны народу. Без них он как стадо без пастуха. Без Пушкина народ был бы другой. Без Солженицына, я думаю, тоже.

Я не падаю пред ним ниц, но я уважаю его.

Говорят, для камердинера нет великого человека. Для него есть только хозяин. «Хозяин» у нас уже был. И не хозяина я бы хотел видеть над нами, а нового Пушкина и Толстого. Верю, наши женщины не заставят себя ждать и родят России новых великих людей. И пусть не мы, но наши дети увидят их. И воздадут им должное.

Обличительство — страшная вещь. Оно развязывает путы и стирает преграды. Оно освобождает. Но истинная свобода — это свобода самоограничения. Она ставит границы и уничтожающему смеху.

Сто раз читал я в книгах Войновича, как кагэбэшники пытались убить его пропитанными отравой сигаретами.

Будь они прокляты, эти кагэбэшники, но сколько урожаев можно снимать с демонстрации своих ран? Кто из настоящих мужчин (каким он всегда был) это делает?

Деформация героев сопротивления началась не вчера. Кто-то из них, причислив себя к победителям, стал раздавать всем сестрам по серьгам, устраивать «демократиче-

ские» суды над неверными, а кто-то, ужаснувшись тому, что содеяли (ибо способствовали победе «демократии» и своими именами прикрывали её), сказал новой власти: «Мы не с тобой» и ушёл в себя или ушёл совсем.

«Скучно на этом свете, господа!» — написал Гоголь, а атеист Белинский добавил: «А другого (света. — *И. З.*) нет».

Думаю, тому, для кого «другого нет», ещё скучнее.

2002

«НЕ КИЧИСЬ ПРАВДОЙ — АНГЕЛ ОТШАТНЁТСЯ»

На первом этаже раздаются звуки фортепьяно. Это играет мой сосед по даче — Василий Борисович Емельяненко. Он — лётчик-штурмовик, Герой Советского Союза, и ему девяносто лет.

Я счастлив, что живу с ним в одном доме. Наш дом — это мы двое. Наша жизнь течёт отдельно и вместе с тем по одному руслу. Несмотря на разницу лет, мы люди одной эпохи, и почти всё, что помнит он, помню и я.

Кроме, конечно, фронта.

В войну он летал на Иле, грозе немцев, не раз был сбит, но остался жив. На броне его самолёта вместо звёздочек, которые рисовали на истребителях, были изображены скрипичный ключ и ноты: Василий Борисович до того, как стать лётчиком, окончил два курса Московской консерватории.

Он ещё застал среди её профессоров Ипполитова-Иванова, Глиэра. До сих пор музыка скрашивает его дни, часто проводимые в одиночестве. И тогда слышатся снизу то Шопен, то Шуберт, а то и что-то сочинённое самим Василием Борисовичем — как правило, грустно-раздумчивое, напоминающее шелест течения воды, когда она разливается по русской равнине.

До последнего дня, пока держалось тепло осени, Василий Борисович кормил на веранде синиц. Синиц на участке — тьма, и для них припасены пакеты из-под молока, с круглыми, как у скворечника, дырочками посредине. Часть из них подвешена к растянутой на веранде верёвке, часть —

к веткам деревьев. Есть и особый пакет для белки, но у неё корм особый: не подсолнуховые семечки, а — орешки.

Василий Борисович выходит на веранду, садится в кресло и кладёт на колени мешочек с семечками. Он отсыпает их на ладонь и протягивает руку к лесу — оттуда и слетается к нему весёлое войско.

Синицы, как по приказу, приземляются поблизости, некоторые пикируют на кепку Василия Борисовича и ждут своей очереди. Каждая берёт только по одному семечку и улетает на безопасную ветку, чтоб там вышелушить из него желанное зерно.

Совершив эту процедуру, они тут же возвращаются обратно.

Зимой птицы питаются сами, ныряя на дно пакета, где рассыпаны семечки, или, слетаясь к моему окну, где налажена стационарная — с зонтиком, прикрывающим пищу от снега, — кормушка.

Однажды я не удержался и с балкона сфотографировал, как Василий Борисович кормит птиц с ладони.

Когда ему надоедает сидеть, он встает и медленно несёт руку вдоль перил веранды, и синицы, следуя за ним, баражируют, чтоб затем совершить пикирующий полёт к кормящей их ладони.

Летом мы по утрам синхронно делаем упражнения: он — внизу, я — наверху. Я стараюсь не отстать от Василия Борисовича, но его зарядка и полнее, и сложнее, чем моя.

Участок у нас, что редко в Переделкине, солнечный, и потому каждый год мы снимаем с него урожай. Раньше Василий Борисович сажал капусту, кабачки, теперь на его половине остались крыжовник, деревцо тёрна, огурцы в бочках с удобренной землёй, чеснок.

Помню, когда у него вырастали на грядках кабачки, он прикармливал ими и меня. Встанешь утром, откроешь дверь, а на перилах крыльца лежит здоровенная цукиня и рядом записочка: «Съешьте меня, пожалуйста».

Нынешней весной мы решили подпилить старую сирень, ветки которой лезли прямо в окна. Взяли двуручную пилу, топор и принялись за работу. Вскоре пространство перед домом расчистилось, но у Василия Борисовича стало плохо

с сердцем, он долго не показывался во дворе. Я скучал без его привычной фигуры, два раза в день отмеривающей шаги по дорожке, ведущей из глубины участка к воротам.

Наконец, он стал выходить, и наш не писанный никем распорядок — когда всё делаем в одно время — вновь воцарился в доме.

Как-то летним вечером мы сидели на скамейке, и Василий Борисович, глядя на поднимающийся до неба лес, произнёс: «Моя душа давно переселилась на верхушки этих сосен».

И я подумал: а ведь и моя.

В детстве я и не мечтал сидеть рядышком с Героем Советского Союза и беседовать с ним. Герои летали на самолётах, шли на таран, их лица можно было увидеть только в газетах или кинохронике. Мы на них молились. Молились, конечно, в переносном смысле, ибо вырастали без Бога. Богами были для нас именно они — Валерий Чкалов, Виктор Талалихин.

Да, Бога мы не знали, но мы знали людей, которыми могли восхищаться и на которых хотелось походить. Если сам Толстой писал в дневнике: «хочется подвига», то, тем более, хотелось его нам, чьё детство пришлось на полёты через Северный полюс и на войну.

Каждая победа на фронте заставляла ликовать душу. Переходя от одной радости к другой, она подрастала, и, несмотря на лишения (голод, холод, аресты отцов), мальчишки росли крепкие — крепкие верою в отечество.

Пишу эти строки, и вдруг ко мне под окно прилетает синичка. Садится с обратной стороны на подоконник, вертит головкой и смотрит на меня: что это, мол, такое, кто такой?

Живёт у нас под крышей и дятел. Что он там нашёл, каких червяков в старых досках? Нет, стучит, напоминает: рабочий день начался.

А когда прилетают снегири и садятся на облетевший сиреневый куст, то у меня на сердце праздник. Появляются они нечасто, но как только самцы в натянутых красных мундирчиках рассаживаются в окружении послушных самочек, я прилипаю к окну.

Мы с Василием Борисовичем живём в согласии друг с другом, с дятлом, синицами и липой, рябиной, берёзами,

елями, дубами, что смешались в нашем лесу. Может, мир, царящий в их отношениях, нисходит и на нас. А относительно того, что происходит за этой зоной защиты, у нас нет расхождений.

К чему я это рассказываю? К тому, что только что прошедший День примирения и согласия не принес мира. Одни собирались и кричали своё в одном углу, другие — тоже своё, но в другом. И крики эти мало напоминали день мира, а скорее день вражды. Мир, конечно, понятие шаткое, но нельзя возводить дом на ненависти. Стены развалятся прежде, чем покроешь их крышей.

Враждуют даже организации, которые призваны помогать репрессированным, инвалидам войны, — что уж говорить об остальных? Нет мира между чеченцами и русскими, «детьми» и «отцами», солдатами и генералами, либералами и властью, западниками и почвенниками, Востоком и Западом, человеком и природой.

День примирения и согласия ввели вместо дня крови, но как примирить страсть к деньгам с христианским идеалом, а эгоизм — с самоотвержением, не знаем. Неужто нужна большая беда (как захват чеченскими боевиками заложников в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост»), чтоб мы поняли, сколько среди нас прекрасных стариков, юношей и детей, сколько чистых порывов и несуетной доблести? Ведь среди тех, кто оказался лицом к лицу со смертью, не нашлось ни предателей, ни трусов.

И только те, кто спустя час, день после того, как страшная тяжесть упала с души, стали оценивать происшедшее, позволили себе поднять вверх осуждающий палец и погрозить президенту, врачам, спасателям, альфовцам и всем, всем, всем.

И до сих пор раздаются их голоса, похожие на скрежет по стеклу: позор, позор, позор!

С обличителями и разоблачителями у нас нет проблем. Чуть свистни — себя не заставят и ждать. Конечно, смех полезен, но смеёмся мы, как гоголевская дама из «Театрального разъезда», жеманно вопрошавшая своих спутников: «Отчего у нас в России всё так тривиально?»

У тех, кто стоял сутками у захваченного Театрального

центра (я имею в виду журналистов), ничего с языка не срывалось. Они честно несли свою службу, понимая неуместность даже улыбки.

Для тех же, кто, находясь вдалеке от беды, её комментировал, она была лишь *удачный улов*. Вот какая рыба попалась на крючок! И какую мы из этого сварим уху!

Реплики Шендеровича и Черкизова звучали чуть ли не победоносно. Кажется, они взрывали на себе пояса со взрывчаткой, должные обрушить ненавистную для них власть. Лишь .с одним отличием от чеченских смертников — чтобы самим не только не пострадать, но взлететь во мнении их паствы ещё выше.

Слушал я их, слушал и вспоминал слова Лескова: «Не кичись правдой — ангел отшатнётся». Страшная эта штука — правда. Правда без сострадания — не правда, правда без милости — ложь. А именно такую правду возвело в божество наше партикулярное духовенство.

При их правде нет ангела, он от неё отшатнулся. Когда ангел при ней, правда спасительна, когда он отлетает, она истребительна.

Тот, кто пропустил бандитов в Москву, должен быть наказан. Но надо пожалеть и тех, кто жаждет сейчас не бьющей наотмашь иронии (отними её, и вся наша «передовая» журналистика полетит в тартарары), а поддержки.

Не зря так выросла в наших глазах *фигура врача* (в данном случае им оказался доктор Рошаль). Ибо, как сказал Екклезиаст, есть время убивать и *время врачевать*.

В минувшие годы не только глупость и корысть политиков, безнаказанность воров и убийц, пошлость литературы и кино убивали нас, но и пожирающая всё ирония. Идолопоклонники злого смеха спутали время, когда надо плясать (продолжаю ряд Екклезиаста), со временем, когда надо сетовать, а время, когда надо уклоняться от объятий, со временем, когда настала пора обнимать.

Нет, правде без соседства ангела не обойтись. Пока же при ней прочно аккредитован бес иронии. Явись рядом с нею ангел, его белые крылья давно вознесли бы нас в чистое небо.

2002

ВЫСШИЙ СВЕТ: ОТ ШУЛЬГИНА ДО ЛУКИНА

В день Крещения услышал по радио, что в рядах партии «Союз правых сил» раскол: не все члены партии хотят отмечать этот праздник купанием в проруби. Лишь лидеру правых г. Немцову пришлось лезть в ледяную воду. Гг. Гайдар и Хакамада отказались, сославшись на устав СПС, дающий им право свободного выбора.

Что это, подумал я, светская хроника или шутка журналистов? И почему я должен знать, купается ли г. Гайдар в проруби (в ванне, в море, в бочке) и нравится или не нравится ему это делать?

Но в последнее время нас кормят именно такими новостями. Вместо того чтобы рассказать, что делается в стране и в мире, нам сообщают, куда отправилась Алла Пугачёва, в каком кабаке агитировал за свою партию Жириновский и на каких дачах проживают г. Газманов или г. Киселёв.

Я хорошо отношусь к писателю В. Аксёнову, но мне, право же, всё равно, растут ли у него на даче в Биаррице рододендроны или какие-нибудь там флоксы (см. «Растительную жизнь» по каналу НТВ), это ничего не объяснит мне в нём, как в писателе.

Так же как ни о чём важном не сообщит мне репортаж из гардероба Анжелики Варум.

Однако мне постоянно сообщают об этом то в АиФе, то в «Семи днях», то в «Новостях» по «ящику».

В старину русские газеты обязаны были сообщать о

приезде или отъезде важных лиц в глубину отечества или за границу. Точка отсчёта начиналась при этом с коллежского асессора, то есть с чина восьмого класса. Если, допустим, Москву или Петербург или какой-нибудь губернский город покидал титулярный советник, то об этом объявления не давалось.

Но, кроме того, что тот или иной господин куда-то отьехал или куда-то въехал, о нём больше ничего в газетах не писали, так как всё остальное почиталось конфиденциально-личной жизнью. Даже если в Россию из-за границы возвращался, к примеру, автор «Мёртвых душ», то читателя уведомляли, что среди прибывших есть и коллежский асессор Гоголь.

Ныне что там Гоголь, мы знаем всё о передвижениях по стране группы «На-На», г. Зюганова и г. Жванецкого.

Говорят даже, что в бывшем Аглицком клубе эти господа встречаются в дорогих костюмах, и уж не знаю, что делают: играют ли в вист, пьют ли шампанское или обмениваются философскими мыслями.

Как случилось, что ещё вчера угнетённое племя интеллигентов в мгновение ока перескочило с подмостков на сцену и заиграло в спектакле под названием «Светская жизнь»? Ведь раньше, прежде чем попасть в свет, нужны были десятилетия отбора, а за хорошими манерами светского денди стояли воспитание, традиции и основательное образование. Я уж не говорю о наличии вкуса и безусловной корректности.

А тут политический трепач играет роль аристократа, едкий и остроумный фельетонист (но отнюдь не комильфо) — роль властителя дум, а ухарь-певец, с утра до вечера кричащий в эфир: «Мои мысли — мои скакуны!» — роль флага нации.

На всех светских раутах — они, в окружении государя императора — они, на балах и приемах — они, они и они. Что же касается их личной жизни, то она широко представлена в цветных фотографиях в журналах «Караван историй» и «Семь дней». И она есть не что иное, как выставка тщеславия, богатства и бесстыдства перед лицом нищей страны. Здесь вы найдёте и снятую крупным пла-

ном дачу киношника, и дачу эстрадника, и дачу телеробеспьера.

Антиквариат, гнутая мебель, аквариумы величиной с дом, бассейны, джакузи, иномарки, ковры, кожаные диваны. Одним словом, сплошное, как говорил Ноздрёв, «субдительное суперфлю».

Трудно представить, чтоб светский повеса, бывший объектом насмешек в русском обществе, осмелился бы выставить на обозрение свои подтяжки и сапоги.

В словаре Даля о светском человеке сказано: «Светский — ко свету (миру) относящийся, земной, мирской, суетный или гражданский. ...Светские утехи, шумныя, чувственныя; светский человек — посетитель обществ, сборищ, увеселений; ловкий приёмами, сведущий в гостиных обычаях».

Надо признать, что современный «свет» целиком соответствует этому определению.

А вот трактовка «Российского историко-бытового словаря», изданного в 1999 году студией «Тритэ» и журналом «Российский архив», принадлежащим Никите Михалкову. Согласно ему, «свет» — это «особая, сравнительно замкнутая группа *в дворянстве*... Здесь требовалось не только носить модные перчатки, обувь и галстук, а также носовой платок, но и умение говорить по-французски... Сдержанность... была непременной чертой светского человека... Свет требовал от своих членов “приличного” поведения: нельзя было предаваться грубым развлечениям, попойкам. Не принимались в свет люди, жившие на заработки: артисты, художники, литераторы (кроме любителей), учёные, преподаватели».

Не знаю, как насчёт учёных, живущих сегодня на грошовые заработки, но артисты и литераторы-любители в нынешний «свет» приняты. И, может быть, их там большинство. А по соседству с ними — режиссёры, священники, бывшие диссиденты, а также несколько отставшие в заработках депутаты Думы и, наоборот, сидящие на мешках с деньгами бензиновые короли.

Какие уж тут перчатки и какой запрет на «чувственные утехи»!

Именно эти утехи и засветила всем памятная скрытая камера, снявшая высший «свет» в чём мать родила.

Конечно, чтимое Н. Михалковым дворянство тоже было не без греха, но воров в законе в его ряды всё же не принимали, их чурались, а если и протягивали им руку, то только с заднего двора.

Русская литература *свет* обличала, светскостью брезговала. И лишь проявлениям, свидетельствующим о принадлежности того или иного человека света к *цвету* общества, — скажем, его достоинству и чести — отдавала должное.

Старый «свет» был консервативен, имел, по словам Пушкина, «уважение к преданию». Нынешний с головы до ног революционен, и ничего, случившегося в истории *до* него, знать не хочет. Это «свет»-люмпен, набранный из низов по мере их способности заплатить за входной билет. Есть, помимо доллара, и ещё одна рекомендательница — слава, но и она связана с деньгами, ибо человек в бедности бесславен, будь он Гомер или Шекспир.

«Свет», образовавшийся в десять лет, не чета свету, складывавшемуся столетия. Он — чёрная кость. Не из-за «низкого происхождения», а по повадкам, по языку (смесь советского с антисоветским), по близости к хамству и пошлости. И никого, кроме подобных себе, он воспроизвести не может.

Недавно я был во Владимире. Там — по соседству с древними Успенским и Дмитровским соборами (XII век) — открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Василия Шульгина. Потомственный дворянин, депутат трех Дум, человек, принимавший от Николая II отречение от престола, он провёл почти тридцать лет в этом городе, сначала как арестант, приговорённый к двадцати пяти годам тюрьмы, а затем как пенсионер.

Он скромно обитал в однокомнатной квартире на первом этаже хрущёвской пятиэтажки, где писал воспоминания и играл на скрипке. Живя в шестидесятые годы во Владимире, я однажды случайно встретился с ним в автобусе и, не зная его в лицо, сразу понял, что это он. Высокий, прямой, в длинном сером пальто — довольно потёр-

том, но легко сидящем на его всё ещё не старых плечах, — он в ответ на призыв кондукторши приобрести билет сунул худую руку в карман, извлёк оттуда старенькое портмоне и, раскрыв его, изящно извлёк оттуда монетку и с улыбкой подал её просительнице. Его красивое — в окладе седой бороды и усов — лицо, с таким расположением и приязнью обращённое к женщине, принимавшей у него плату за проезд, поведало мне о многом.

И прежде всего о том, что передо мной человек благородный, не делящий людей на «свет» и скот. За плечо у него был закинут длинный шарф, глаза светились доброжелательностью, и всё — портмоне, на глубине которого лежала, может быть, последняя монетка, и жест, с каким он извлёк её, и терпение, с каким он ждал, когда ему оторвут билет, — обрисовало в моих глазах портрет русского интеллигента, которого не смог деформировать даже Владимирский централ.

На выставке были редкие фотографии Шульгина, документы, отрывки из его дневников, воспоминаний, а в центре зала высоко над полом висел его портрет, обрамлённый российским флагом.

В своих записках он часто возвращается к молодости, к отречению царя, к тому, что последовало за этим. И бесстрашно признаётся, как мало понимал тогда. Как спешил — вопреки естественному ходу вещей — придать разрушительное ускорение истории. А про собственное настоящее пишет, что он, как Поприщин в «Записках сумасшедшего», вынужден жить грёзами, чтоб хоть как-то отвлечься от своей ссылки.

То, конечно, была ссылка. Коммунисты приглашали его на свой XXII съезд, но в Америку, где жил единственный сын Шульгина, не пустили. Он скончался в полном одиночестве, изредка посещаемый сиделкой.

Смотрительница музея сказала мне, что одним из первых на выставку пришёл сосед Шульгина по дому. Осмотревши её, он долго молчал, а потом грустно подытожил: «Как жаль, что мы больше не слышим звуков его скрипки».

Ныне, если бы Путину пришла в голову мысль отречь-

ся от престола, его отречение принимали бы г. Селезнёв или его зам г. Лукин, а в худшем случае — Жириновский.

На днях в Риме, в кафе «Греко», где любили бывать великие люди, посещавшие столицу Италии (их портреты висят на стене этого уютного заведения), я видел г. Лукина. Он барски раскинулся на диване и победоносно оглядывал прибывающих посетителей. На лице его было написано такое упоение собой, что мне стало стыдно.

Перед кем гордиться и чем заноситься? Почему на лицах всех других, бывших в те минуты в кафе, я не прочёл ничего подобного? Почему они тихо попивали капучино и приветливо улыбались неизвестным им соседям по столикам?

Потому что они свободные люди, подумал я. Потому что они и в других видят таких же свободных людей.

Вероятно, «светскость» в исполнении г. Лукина (как пить дать, причисляющего себя к высшему обществу) есть вырождение свободы, которая и свободою-то не была, а была лишь удлинением поводка, на котором держали и держат у нас граждан. И оттого она переродилась в спесь, защищающую своё вчерашнее рабство.

Свободным, наверное, всё-таки надо родиться. Светским человеком можно стать (воспитать себя), сделаться свободным, проживши полжизни в неволе, во сто крат труднее.

Впрочем, такие примеры есть.

Мой друг Фёдор Цанн живёт во Владимире. Он — доктор наук, автор книг по философии. Мы познакомились в 1964 году. Время было трудное, из-за «вольнолюбия» ему пришлось покинуть Кострому, где жил до этого. Сейчас у него уже внуки, но он по-прежнему преподаёт в педагогическом институте. Когда грянула перестройка, его, как уважаемого в городе человека, избрали в «ельцинский» Верховный Совет. Он стал членом комиссии по составлению новой конституции, заседал вместе с будущим президентом.

Ему предлагали квартиру в Москве, должность (подавляющее большинство его коллег получило и то, и то), он отказался. Он вернулся туда, где был избран. Он не смог бы иначе смотреть в глаза тем, кто в него верил.

Ничего героического в этом нет. Но есть порядочность и деликатность совестливого сердца, а также вышедшее из употребления чувство долга, которое у подлинно светских людей (ими были и Пушкин, и Тютчев, и Лев Толстой) было развито весьма сильно.

Родители Цанна были крестьяне, он родился в Ленинграде. Он не «светский» человек лишь потому, что не бывает в «свете», не толчётся на его толкучках. Он честно и тихо трудится, считая, что хорошо делать дело на своём месте выше всякой славы.

А при его уме, начитанности, культуре, а главное, глубине понимания жизни он мог бы «блистать» в любом собрании высоколобых.

Но всё это суета сует для таких, как он. Для моего друга «свет» — не «замкнутая группа в дворянстве», не несколько десятков голов, жмущихся к власти (а ещё более — к деньгам), а весь свет, весь мир, вся Россия.

2003

ПОХВАЛА ЦЕЛОМУДРИЮ

Я помню, как много лет назад, когда я впервые оказался в галерее Уффици во Флоренции, меня поразила одна картина. Это было «Благовещение» Леонардо да Винчи. Долго я не мог отойти от неё, вглядываясь в лицо Девы Марии, уже встретившей Ангела, но ещё не знающей, какую весть он ей принес.

А он прибыл с известием, что Бог избрал её в матери своего Сына.

Какой исполненный силы и тайны момент! Какая волнующая встреча земного с небесным, любовный порыв небесного, и колебанье земного, и пауза, которая вот-вот разрешится согласием!

Мария у Леонардо, в отличие от восково-бледных средневековых мадонн, свежа, нежна и без страха принимает брошенный ей вызов. Она в расцвете своей красоты, граничащей с женским могуществом, смягчённым, однако, стыдливостью молодости.

Впервые я видел будущую мать Христа столь влекущей и столь невинной, столь обольстительной и столь закрытой для соблазна.

Ангел склонил пред нею голову и, не касаясь взглядом её лица, протягивает к её руке свою руку, но его жест, остановившись на полпути, замирает в воздухе.

Тайна в это мгновенье всё ещё тайна, но она уже готова слететь с уст Ангела. И хотя Мария не знает о ней, предчувствие уже говорит ей, что здесь ключ к разреше-

нию её судьбы. И всё здесь, как описано в Евангелии от Луки, «предъидет» этому событию.

На полотне Леонардо — две фигуры, но отчетливо чувствуется и присутствие Третьего, того, кто послал Ангела на землю. Он растворён во встающем над горизонтом свете, в сиянии, которое, пробивая темноту стоящих на втором плане деревьев, заставляет играть красками первый план.

И, как будто зажегшись от него, жарко пылает красный плащ Ангела, и вспыхивают складки слепяще-зелёного платья Девы Марии, и её нежно-алая блуза, обрамляющая её белую шею и выцвечивающая жёлтый блеск её кудрей. Она вызывающе-страстна и чиста, и весь её облик полон достоинства.

Вглядываясь в эту женщину, начинаешь понимать, почему Бог избрал именно её — такою, кажется, и могла быть мать Господа, соединившего в себе телесное и духовное совершенство. И, конечно, бесстрашие самопожертвования.

Сюжет Благовещения не только поэтическая метафора и глубокая религиозная тайна. Это ещё урок целомудрия.

В галерее Уффици есть и другие картины, посвящённые этому событию. Но они не идут в сравнение с творением Леонардо. На одной из них, писанной в 1333 году, акт встречи посланца Ангела и Девы Марии изображён как сугубо храмовое событие. Мадонна, в отличие от Девы Марии у Леонардо, страшится испытующего взгляда Ангела. И во всей композиции властвует страх. Может, поэтому при акте оглашения благой вести несут стражу *свидетели*: мужчина с копьём и женщина, держащая в руке крест. И весь фон окрашен одним жёлтым цветом и закрыт от мира одноцветно-жёлтой стеной церкви, ограждающей Ангела и Марию, почти таких же жёлтых, как и стена, от мира, от неба, от игры жизни. Благовещение здесь — книжная иллюстрация книжного факта, не простирающегося за пределы средневековой суровости.

Выходит, даже позднее Средневековье требовало от художника, чтобы он наглухо запахнул платье Марии, а Ангелу не смел дать горящего на щеках румянца.

И тут распоряжались уже не целомудрие и стыд, а страшащийся всего страстного богословский заказ.

Впрочем, живший в те же годы Беато Анджелико уже раскрепостил акт Благовещения. Он сделал его домашним, уютным, скромно-человеческим. Он не пожалел ярких красок ни для разноцветного крыла Ангела, ни для слепяще-синего, спускающегося с плеч Девы до пола её одеяния. Он придал ей черты пленяющей скромности, не исключив, впрочем, запечатлённого на её лице любопытства. А главное, он вывел это событие за границы дома, на открытую галерею, округлый потолок которой подпирает изящная колоннада, и далее во двор, а со двора — в лес, опушённый первым весенним зелёно-жёлтым опереньем.

Тут — омывающая свежесть чистого дыхания, тут предвестие зарождения новой жизни и апофеоз самого потаённого события — зачатия плода.

Есть в Уффици и «Благовещение» Боттичелли. Но его Дева далека от колеблющихся — нежных и прозрачно-белых женщин его «Весны». Тут Мария, хоть и прекрасна, но неприступна, смущена и почти обижена дерзостью Ангела, старающегося постичь её чувства. Он смотрит ей в глаза, но она отводит взор и, отшатываясь, выставляет вперёд руки с раскрытыми навстречу ему ладонями, будто отвечая: нет, нет и нет.

Краски переднего плана напряжены и жарки, но всё умиряет расстилающийся за окном пейзаж. Посредине его стоит, развернув свои ветви к небу, высокое дерево, а вдали видны роскошные замки и мосты холмистой Тосканы. И этот перелив возвышенностей, долин, устремляющихся к синеющим вдали горам, тихое струение реки под мостами навевают мысль о вечности, о бесконечности.

Вся сцена свидания есть смешение: духовное тяготение, образующееся между вестником и Марией, сдерживается стыдливостью Девы, к тому же испуганной чувственностью Ангела. Оттого она всеми силами старается увеличить разделяющее их расстояние, что придаёт творению Боттичелли ореол непорочности.

Кстати, в русской иконе (наша светская живопись не изобилует этою темой) момент строгости в изображении Благовещения особенно подчёркнут и застенчивость будущей Матери Божией доведена до строгого отдаления её фигуры и фигуры Ангела друг от друга.

Правда, в русской поэзии есть факты, нарушающие эту традицию. Я имею в виду поэму Пушкина «Гаврилиада» и стихотворение Александра Блока «Благовещение». В обоих случаях взаимная страстность Ангела и Девы приводит их к падению.

Пушкин позже назовёт свою поэму «произведением... жалким и постыдным», а в 1836 году, пересказывая в стихах великопостную молитву Ефрема Сирина, как бы каясь за грех молодости, напишет: «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, / Да брат мой от меня не примет осужденья, / И дух смирения, терпения, любви / *И целомудрия* мне в сердце оживи».

Блок в наброске к окончанию поэмы «Возмездие» (1921) последовал пушкинскому примеру: «Мария, нежная Мария, / Мне пусто, мне постыло жить! / Я не свершил того... / Того, что должен был свершить». И слова читались как просьба о прощении.

Оба поэта осудили кощунство над Богородицей, «над спасенья нашего главизной». Так названа она в тропаре, читаемом в церквах в день Благовещения.

Иначе не могло и быть.

Где, как не у нас, особо почитают Богородицу, почитают с щемящей трогательностью, так похожей на привязанность дитяти к матери. Святая Русь издревле именовалась «Домом Пресвятой Богородицы и необоримым Богородицы достоянием». И решающую роль при этом играло её целомудрие, то есть чистота женского начала и его честь.

«Радуйся! — сказал ей архангел Гавриил. — Благословенна ты между женами». «Она же, увидевши его, смутилась от слов его» и спросила: «Как будет это, если я мужа не знаю?» Ангел сказал в ответ: «Дух святый найдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя...»

Вижу улыбку на устах скептика и материалиста. Он может даже сослаться на Льва Толстого, который тоже не признавал непорочного зачатия. И, как всякий материалист, если речь зайдёт о *первопричине* рождения Христа, задаст вопрос: «А как?»

Не стану отвечать ему: вера есть вера, если не веришь — твоё дело. Апостол Лука верил, Леонардо да Винчи — ве-

рил, а он притом был ещё и *учёный*, по-нынешнему, может быть, доктор наук.

Я — верю. Для меня Благовещение — праздник доброй, радостной вести, освобождающей людей от греха и вечной смерти.

День этот уже минул, но вот пока он длился — в эти двадцать четыре часа его жизни — вспомнили ли мы об уроке, преподанном нам Отцом и Матерью Спасителя?

Пресса отмечала дни рождения Марка Рудинштейна и Валентины Матвиенко («Газета», ни словом не упомянув о Благовещении, писала об украинском сале, о Кадырове, о банковских ставках, о фирме «Philip Morris»), а Богородичный праздник отдали Церкви, которой по штату положено курировать «святые чувства».

Какая злая ошибка! Какой, я бы сказал, свирепый реализм!

Не долларов на счетах, не нефти и украинского сала, не президента в Чечне не хватает нам, а целомудрия и стыда.

Целомудрия и стыда во всём — в отношении к женщине, в отношении к родине (которую то и дело стараются «опустить»), целомудрия в жизни, в искусстве, в журналистике. Даже такая почтенная газета, как «Труд», не может пропустить и дня, чтоб на своих страницах не раздеть женщину. 5 апреля на её первой полосе рядом с фотографией полуодетой красотки кричал заголовок: «Весна — пора раздеваться!».

У нас теперь раздеваются не только весной, а во все времена года и где только ни попадя: в классической пьесе (где героини А. Н. Островского бегают по сцене не в кринолине, а в ночных рубашках), в каком-нибудь ток-шоу, на прокурорских допросах под названием «Без протокола», где лезут в душу и трясут её как грушу, в трансляциях с мест пожаров и убийств, в рекламе, в философских статьях, в бесчисленных сериалах и книгах «про это», в телепроектах с наличием слова «тайна» в заголовке.

Тайны у нас вскрывать любят, вытаскивать их на свет и вываливать в пыли обожают, всё нетайное уже скучно, скоромное есть только в тайне и в обнажении тайны.

Успешнее других специализируется в этой области пи-

сатель-историк (а если попросту, литературный медвежатник) Эдвард Радзинский. Он без помех запускает руку в личную жизнь королей и королев, кронпринцев и нацистских или большевистских «партайгеноссе». Ему всё едино, кто перед ним — Геббельс или Николай II, Гитлер или Моцарт. Теперь он взялся за Царя-освободителя Александра II, за его «жизнь, любовь и смерть».

Нет, нам завещано блюсти тайны, будь это скромная тайна *двоих*, не должная стать достоянием улицы, или тайна природы, которая не признаёт амикошонства. Недавно министр иностранных дел Германии Йошка Фишер остроумно сказал: «Мы не должны ждать милостей от природы после того, что мы с ней сделали».

Есть целомудрие знания и целомудрие не-знания, то есть умения остановиться там, где висит предупреждающий «кирпич».

Порвавшая все путы приличия свобода по раскрытию «тайн» сигнализирует о том, что все права получила одна пошлость, а пошлость — стихия не менее разрушительная, чем половодья последних лет.

И кто воздвигнет на её пути плотину?

Когда-то Н. М. Карамзин писал: «Я вижу всех генералов, осыпанных звёздами, и спрашиваю: сколько побед мы одержали? Сколько царств завоевали? <...> Сей некогда лестный крест Св. Георгия висит на знаменитом ли витязе? ...За деньги не делается ничего великого... Честь, честь должна быть главною наградою».

Эти слова взяты нами из «Записки о древней и новой России», которую великий историк подал царю Александру I в 1811 году.

Честь тоже немыслима без целомудрия, ибо стыдится слишком громких похвал.

День Благовещения ушёл, но скоро вновь зазвонят колокола. Придёт день Светлого воскресенья, а за ним и другие дни. И нам вновь будет дан шанс задуматься о том, в чём же мы — сами! — обокрали себя.

2003

«Я УШЁЛ ИЗ ЭТОГО ЖАНРА»
(*Интервью с Игорем Золотусским*)

— *За вашими плечами большая жизнь. Что более всего в ней запомнилось?*

— Если б я мог мыслить при рождении, — то день рождения. Мне повезло: я появился на свет.

Но, если серьезно, то детство до 1937 года, встреча сначала с отцом, а потом с матерью после их ареста и долгой разлуки и, конечно, 9 мая 1945 года. То был взрыв радости и сознание, что я чувствую то же, что и весь народ.

— *Некоторые клянут те времена, другие превозносят. Вы с кем — с первыми или вторыми?*

— Как можно клясть собственное прошлое? Другого у нас не будет. Но Сталиным я восхищаться не могу. Мощь, построенная на костях, не мощь. СССР бы не развалился, если б у него был иной фундамент. Читая недавно сборник документов «ГУЛАГ (1918—1960)», я обнаружил там и свой след. Оказывается, после ареста отца я — мне тогда было шесть лет — был включён в «именные списки», на меня собирались «установочные данные и компрометирующие материалы», а по прибытии в приёмник-распределитель ГУЛАГа НКВД за моим «политическим настроением» было установлено наблюдение.

Одна из инструкций НКВД гласила: «Приступить к вербовке агентурно-осведомительной сети из числа... старших возрастов несовершеннолетних. Каждую вербовку тщательно подготавливать. Личных дел на завербованных не заводить, а ограничиться отобранием подписки о

неразглашении, не указывая в ней о привлечении к секретному сотрудничеству. Особое внимание уделить **агентурному обслуживанию** детей репрессированных».

Этому «агентурному обслуживанию» подлежал чуть ли не весь народ.

— Я читал вашу статью «Сердце Ельцина». В ней — ещё три года назад — вы писали, что Ельцин заслуживает доброго слова в истории. Ваше отношение к эпохе Ельцина?

— Эпоха гниения наверху и отчаяния внизу. Но, слава Богу, не случилось гражданской войны. И народ, хотя и покалеченный, уцелел. А вообще-то я эту эпóху пропустил. Это было **не моё** время. Многие годы занимаясь русской литературой XIX века, я не только изучал её, но и жил ею и в ней. Перейти из её мира в мир постсоветской реальности я не смог.

— Разделяете ли вы точку зрения, что единственная позиция интеллигенции — позиция противостояния власти?

— Это детское утешение для тех, кто ни на что, кроме как на противостояние, не способен. Ведь это легче всего — быть в оппозиции. Не надо ничего создавать, ни за что отвечать.

Вот и некоторые из современных авторов уж который год с упорством, достойным лучшего применения, развенчивают соцреализм. Их проза и стихи — затянувшиеся поминки по советской литературе.

Помните, когда-то был такой девиз: «Советское — значит отличное». Перефразируя его, сегодня можно сказать: «Антисоветское ещё не значит отличное».

Кроме того, если иметь в виду писателей XIX века, то кто из них находился в оппозиции к власти? Карамзин, Пушкин, Гоголь, Тютчев, Достоевский? Можно, конечно, вспомнить лермонтовские «мундиры голубые», но и для Лермонтова это была **его** власть. Ему могли быть противны жандармы, мог как личность не нравиться царь. Но неужто вы думаете, что Лермонтов хотел мужицкой революции? И чтоб кухарка управляла государством?

Кое-кто из литераторов состоял на службе, другие подавали записки с советами (Карамзин «Записку о древней и новой России» — Александру I, Пушкин «Записку о на-

родном образовании» — Николаю I), третьи (Иван Аксаков, Юрий Самарин) помогли Александру II провести Крестьянскую реформу.

Да и Толстой, этот возмутитель спокойствия, был больше в оппозиции к себе — к дурному в себе, — чем к Николаю II или правительству.

— Перед вами никогда не вставала проблема — служить или не служить?

— Где бы я ни работал — учителем в школе, газетчиком, корреспондентом радио, мне кажется, я служил: ученикам, читателям, слушателям. Когда грянула перестройка, один, быстро прыгнувший в окружение президента, литератор предложил мне баллотироваться в Верховный Совет. Он назвал даже округ, где «у нас, — как он выразился, — есть место». Я отказался.

— Вы довольны тем, что сделали?

— Можно было сделать и больше.

— Что именно?

— Написать книгу о Лермонтове, книгу о Лескове. Но на каждую такую работу надо положить не меньше десяти лет. Надо капитально погрузиться в эпоху, пережить или, как говорил Сергей Булгаков, **изжить** её. И то же сделать со своим героем.

Такого ресурса у меня нет.

— Кстати, о Булгакове, но Михаиле Афанасьевиче. Вы только что сняли телевизионный фильм о нем. Не боитесь повторения, трансляции того, что было? Кажется, о творце «Мастера и Маргариты» ничего нового нельзя сказать.

— Булгакова я люблю. Восхищаюсь «Мастером и Маргаритой», но выше ставлю роман «Белая гвардия». В фильме мне хотелось сместить акцент в сторону «Белой гвардии», которую читатель почти не знает и которую Булгаков более всего любил из им написанного.

«Белая гвардия» — роман молодости, роман надежды, «Мастер и Маргарита» — роман прощания с жизнью. В 1982 году я написал об этом статью. Мне удалось её напечатать лишь спустя восемь лет. Никто из редакторов не хотел соглашаться с тем, что «Белая гвардия» — роман покаяния, а «Мастер и Маргарита» — роман мщения и смерти.

Тезис «Белой гвардии» — «все мы в крови повинны» (слова из молитвы Елены Турбиной), антитезис «Мастера и Маргариты» — «все счета оплачены» (слова Воланда, подтверждаемые Мастером).

— И тем не менее не «Белая гвардия», а роман о Мастере стал культовой книгой.

— Понятие «культовый» — из обихода масскультуры. Булгаков не имеет к ней никакого отношения. И объясните, почему ни один роман Андрея Платонова не стал культовой книгой? А ведь Платонов — великий писатель XX века.

— Значит ли это, что здесь имеет место просчёт Булгакова?

— Нельзя назвать «просчётом» загубленную жизнь. Булгаков совершил подвиг, написав «Мастера и Маргариту».

— Можно ли сказать, что это христианский роман?

— Хотя в нем присутствуют реминисценции из Евангелия, я назвал бы его менее христианским, чем «Белая гвардия». Мастер, прощаясь с Иваном Николаевичем Поныревым, говорит: «Вы **о нём** продолжение напишите». Речь идет об Иешуа, то есть о Христе. Но вспомните последние строки романа. Иван Николаевич засыпает, усыплённый шприцем с «жидкостью густого чайного цвета».

Это наркотический сон. К тому же в его квартире «властвует Луна». Она вламывается в окна, разливается по полу наводнением. Свет мёртвого тела — Луны — последний свет, который видят герой Булгакова и читатели романа.

Тот ли это свет, который олицетворяет в Евангелии Христос?

— А что вы скажете о христианской традиции в современной прозе? Наследуется ли она?

— Не могу взять на себя смелость дать полный ответ на такой вопрос: я редко читаю современных авторов. Не сочтите за шутку, но мне кажется, что советская литература гораздо ближе стояла к христианскому идеалу, чем её наследница. Она привирала, конечно, но и утешала или старалась утешить.

Сегодня меня стараются уверить, что подлее человека

нет ничего на свете. Может, оно и так. Но и лучше его тоже нет. Надо, по-моему, исходить из этой посылки. Воссоединение с Толстым и Чеховым неизбежно: безусловно, воссоединение в духе, а не в приемах.

— *Давайте перейдём к критике. Вы — прирождённый критик, но мы давно уже не видели вас в этом качестве. В чём дело?*

— Я ушёл из этого жанра.

— *Куда?*

— В свободное плавание, в эссеистику.

— *В чём провинилась критика?*

— Она стала терять аудиторию. Писать для двух-трёх приятелей я не привык. Кто сейчас читает критическую статью? Критик, которую её написал. Приятель критика. И писатель, о котором эта статья написана.

— *Вы были, по признанию многих, одним из самых нелицеприятных критиков. Вас ругали, отлучали от истины, у вас было немало врагов. Сейчас вам не хватает этого напряжения, сопротивления среды, которое всегда вдохновляет?*

— Напряжение не вне, а внутри нас. Кроме того, наступает момент, когда надо уйти в сторону, остановиться и осмотреться. Это пауза накопления.

— *Есть результат?*

— Только что вышла моя книга «На лестнице у Раскольникова». Она составлена из эссе последних лет. Может, там найдёте ответ.

— *Современный читатель знает вас не столько как критика, а как автора телевизионных фильмов о Бунине, Набокове, Платонове. Что даёт вам телевидение?*

— То, что перестала давать критика, — аудиторию. Здесь знаешь, что говоришь с огромным числом людей. Между прочим, в старое время даже критик (не говоря о прозаиках и поэтах) получал пачки писем от читателей. И продолжением вышедшей в свет статьи становилась переписка. Сейчас такой обратной связи нет.

— *Что вы прочли за последнее время?*

— Моё чтение сегодня — справочники, словари, история, документы. С удовольствием по вечерам читаю «Книгу природы» — свод сведений о жизни растений, зверей,

птиц. И ловлю себя на том, что природа мне интереснее, чем человек.

— *В чём, по-вашему, талант критика?*

— Я в юности обожал Белинского, читал запоем статьи Писарева. Добролюбова и Чернышевского почему-то не хотелось читать: пишут скучно. Писарев сверкает, как фейерверк. Белинский, хоть и разгоняется долго, но когда входит во вкус, делается поэтом. Он со-творец Пушкина, Лермонтова, Гоголя. «Вдохновение есть внезапное проникновение в истину» — эти слова принадлежат ему. Такую критику можно растаскивать на афоризмы.

Талант критика — литературный дар плюс честь. И бесстрашие перед так называемым «общественным мнением», которое есть не что иное, как аккумуляция глупости.

— *Можете назвать хоть одного такого критика из ныне живущих?*

— Они есть. Один из них — Мария Ремизова.

— *Вы, наверное, заметили, что я не задал вам ни одного вопроса о Гоголе, в частности, о его музее в Москве, который вы «пробиваете» много лет.*

— В начале 1999 года я встречался с Юрием Лужковым. Он сказал, что музей будет. Но, видно, Илья Глазунов, которому он «подарил» два дома на Арбате, или самодеятельный Александр Шилов, имеющий постоянный дом-выставку в двух шагах от Кремля, ему дороже, чем Гоголь.

Почистили дорожки у дома 7а по Никитскому бульвару, где жил Гоголь, высадили у его памятника цветы, поставили скамейки. Прошёл год — ни скамеек, ни цветов.

Напомню: у Гоголя нет музея не только в Москве, его нет и в России.

— *Вы столько лет положили на изучение творчества Гоголя. Этот роман с Гоголем исчерпан?*

— В новой книге, о которой я уже упомянул, целый блок статей посвящён ему. А следующая работа, если мне удастся написать её, будет называться «Гоголь и Достоевский». Захватывающий сюжет.

— *Остаётся пожелать вам успешно завершить её.*

— Спасибо.

2000

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ ЖУРНАЛА «ИСКУССТВО КИНО» (*О судьбе НТВ*)

Внутрицеховая разборка, само собой, имела место. В компании назревал кризис (истощение идейное, уход Добродеева), он не мог не привести к расколу и сведению счётов.

Но главное, из-за чего она рассыпалась, — общее погружение «демократической» интеллигенции во тьму.

На чём идейно держалась компания НТВ? С одной стороны, на оппозиции к власти, с другой — на том, что сама уже стала властью, причём властью политической, манипулирующей перемещениями наверху. Третий конёк НТВ — антикоммунизм. Четвертый — ориентация на Запад. Ориентация всяческая: от игр на чеченском поле до пересоздания отечественного менталитета.

И одного — наиболее важного — не поняли идеологи НТВ: того, что Россия после ухода Ельцина неминуемо будет «подморожена». И — что ещё более важно: *другого выхода* у неё *нет*. Замораживание — единственное средство от гниения, разложения и распада. И сегодня это не политическая метафора, а медицинский термин.

Не оценив этого, НТВ пошла на новый виток «борьбы с тоталитаризмом».

Вместо того чтобы поддержать государственные усилия Путина или, по крайней мере, понять, что дело не в нём, а в требовании истории, началась атака на нового президента. На его личность, на его поступки, на его прошлое.

Рост убеждения в том, что компания уже оказывает влияние на мировые дела, очень быстро привел к ослеплению и упоению собой. Я думаю, г. Гусинский и г. Киселёв — явные жертвы этого ослепления. Что они и продемонстрировали, когда отношение власти (и зрителей!) к НТВ изменилось.

Мгновенно обнаружилась их незначительность. Такие капитан и штурман не могли отвести удара НТВ о скалы. Кораблекрушение было предсказано.

Конечно, за этим стоит полный и окончательный провал эры Ельцина. Ранний Ельцин и поздний Ельцин — это раннее НТВ и позднее НТВ. Первый на подъеме и видит цель. Второй — стремительный спуск и разбалансирование курса.

Теперь о Чечне. На первой чеченской войне (справедливой, по мнению НТВ, со стороны чеченцев и несправедливой со стороны «федералов») корреспонденты канала сидят в штабах воюющих *против России* бандитов и ретранслируют их толкование событий. Вопреки многовековой традиции, согласно которой тот, кто переходит на сторону противника и ведет — пусть словесную — войну против «своих», есть уже не свой, «свои» из НТВ пасутся в блиндажах Дудаева, Басаева и других и оттуда «мочат» этих самых «федералов». Заметьте, не русских, не «наших», а каких-то абстрактных «федералов», у которых нет ни государственной принадлежности, ни лица.

Потом, когда бандиты, уже не нуждающиеся в их услугах, начинают сажать корреспондентов в ямы, издеваются над ними и требуют за них выкуп, главный замполит НТВ г. Малашенко (в прошлом преуспевающий работник ЦК КПСС) называет министра пропаганды Чечни Удугова (до этого торчавшего каждый день в эфире НТВ) «Геббельсом». Он в бешенстве, ибо надо выкладывать за заложников миллионы долларов.

Что это как не компрометация верхушки НТВ?

Попробуй объясни простому человеку, что сейчас время «новых ценностей», что свобода слова, например, *выше* патриотизма (смыкание с чеченской пропагандой), он тебя не поймёт. Да и любезный г-ну Малашенко рядовой

американец, не знающий другого Бога, кроме свободы, не поймёт тоже. Для него Америка превыше всего.

На чеченской войне, особенно второй, когда Басаев вторгся в Дагестан и посыпались общедемократические ценности — этот идейный аккумулятор НТВ, стало ясно, что они весьма далеки от того, что думает большинство населения России.

Конечно, оно против войны, ибо там (и сейчас) погибают *наши* дети и внуки, но объятия с теми, кто убивает их, — не для него.

Свежий пример — история с Бабицким. Как бы ни были неуклюжи действия спецслужб, то якобы отдающих его в руки бандитов, то якобы ловящих по поддельному паспорту, факт есть факт: г. Бабицкий работал *с бандитами* и *на бандитов*. А этого никакая общечеловеческая мораль оправдать не сможет.

НТВ ринулось на его защиту против кого? Против своей армии и своего государства. И это внизу (там, где обитают непросвещённые массы) тоже не поняли.

Наконец, Путин и война на истребление с Путиным.

Несмотря на то, что Путин: 1. Фактически устранил с политической арены коммунистов. 2. Укрепил расшатавшуюся власть (без которой государству не выжить). 3. Освободился (не до конца) от наглого нажима на власть денежных мешков...

Но, стоп, денежные мешки у НТВ в почёте.

Путин задел не идейные интересы Гусинского и Киселёва, а их деньги.

И тут г-н Киселёв на всех парах повел свой корабль на скалы. Деньги — это святое. Денег мы не отдадим. А всем скажем, что это налёт не на деньги, а на свободу. И — взбунтуем народ. И — поднимем Запад.

Народ не взбунтовался (в нищей стране кто согласится защищать толстосума?), Запад чуть-чуть приподнялся и спёкся. А главари НТВ — капиталист Гусинский и его замполит Малашенко — смылись за границу.

Так завершилась великая идеологическая революция, развязанная сначала Горбачёвым, а затем (по терминологии В. Новодворской) нашими «светильниками». Помнит-

ся, «светильником» назвал угасшего от чахотки Добролюбова Н. А. Некрасов. «Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!» — писал он. При всём моём уважении ко многим журналистам НТВ, всё же «светильниками разума» я их назвать не могу.

И тут выплывает ещё одна сторона вопроса. О месте журналиста и журналистики в обществе. При очевидном унижении, которое претерпели в последние десять лет литература, история, философия — одним словом, гуманитарная мысль, журналистика заняла её нишу, превратившись из поставщика новостей чуть ли не в совесть нации. Она расставляла акценты в истории, формировала идеал и строго спрашивала с тех, кто не соответствует ему. До того строго, что в определённый момент (когда пало гусинско-киселёвское НТВ) сравнялась с известными «тройками» НКВД: люди, не ушедшие с Киселёвым, были объявлены «изменниками» и «предателями».

Что же говорить об остальном? О быстрой переброске войск Киселёва под знамя другого финансового туза — г. Березовского? Про фактический *налёт* (только без масок) на ТВ-6 и изгнание оттуда ни в чём не повинных работников?

Как и всё демократическое движение, которое в первые годы, может быть, и работало на народ, а не на себя, а в последние — исключительно на себя, НТВ, в конце концов, эгоистически замкнулось на себе. Оно работало на свои амбиции, на свои политические штампы и, что уж тут скрывать, на свой карман.

Знаменательным фактом стал не только уход Добродеева, но и исчезновение с НТВ самого талантливого аналитика и литератора Павла Лусканова. Лусканов был фирменной маркой НТВ, маркой его интеллигентности и способности подняться над думскими дрязгами и войной партий. И в один прекрасный день его голос (он редко сам появлялся в кадре) улетучился с НТВ. Случилось это года два назад, и то было начало профессионального падения канала.

Раньше Лусканов и такие, как он, уравновешивали и пошлую программу «Про это» и другие шоу, рассчитан-

ные на «рейтинг», на массовый низкий вкус, а также разрастающееся словоговорение Киселёва в «Итогах».

Апогея достигло самомнение последнего, когда он, полемизируя с Кохом, бросил тому в лицо: «А у меня другая репутация, чем у вас». Подразумевалось, что его реноме чище слезы ребёнка.

Меж тем, если Кох и не скрывал, что он циник (что делало его даже привлекательным), то Киселёв, также будучи циником, изо всех сил притворялся праведником. Первый отталкивал от кассы второго и говорил: я отнимаю твои деньги; второй, хватаясь за те же деньги, кричал: у нас отнимают свободу!

Неужто он не знал, что ему платят из воровских сумм, что никакой «чистоты» в накоплениях его хозяина нет? Знал и принимал как *status quo* эту данность. Какая уж тут «репутация»!

Именно в силу человеческой деформации и смогли Киселёв и его команда, перейдя из-под зонтика Гусинского под зонтик Березовского, выбросить на улицу собратьев по телевидению.

Что же касается Явлинского, Афанасьева, Е. Яковлева и других (Горбачёв не в счет — он как был политическим колобком, так и остался), то я в их душах не читал, но нельзя не обратить внимание на следующее обстоятельство. Почти одновременно падает интерес к этим фигурам и к их противникам — коммунистам (впрочем, все вышеназванные товарищи тоже бывшие члены КПСС). *Им перестали верить.*

Специфика российской ментальности определена, в частности, Пушкиным. Говоря об опасности «влияния чужеземного идеологизма», он ссылался на записку Карамзина «О древней и новой России», где содержалась критика Петровских реформ. В статье «Джон Теннер» Пушкин писал: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает своё поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным её географическим положением, гордая своими учреждениями. Но не-

сколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских... Уважение к сему новому народу и его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)».

Тем более был Пушкин против революционного способа приближения западных образцов. Не только «тайные общества», «заговоры», «замыслы более или менее кровавые и дерзкие» в характере русского человека, но и «долговременное приготовление», «подвиг улучшения» в «соединении с правительством».

Лимит заговоров и кровавых замыслов был исчерпан Россией в XX веке. Хотя, кто знает, может, кто-то и лелеет их ещё.

И последнее. А были ли мифы? Был высокопрофессиональный телевизионный канал (хорошо платили — хорошо работали), а с последней легендой (Ельциным) распростились, когда он расстрелял всё-таки «своих» в 1993 году.

2001

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

(При вручении литературной премии Александра Солженицына)

В день моего рождения, 28 ноября 1930 года, газета «Известия» обнародовала афоризм, перекраивавший старые понятия о милости. Вместо прежнего изречения «Страшен сон да милостив Бог» появилось новое: «Страшен сон да милостиво ОГПУ».

Место Бога заняла тайная полиция, совмещавшая с сыском пытки и расстрелы.

Я родился в военное время, хотя войны никакой не было. Шла война против собственного народа, и, как я понял, когда стал что-то понимать, идти она будет до конца моих дней.

Уже был срыт и отброшен в тернии и на голый камень самый плодоносный слой народа — трудящееся крестьянство. Та часть нации, которая кормила, одевала и обувала Россию и поставляла ей защитников, а литературу одаривала золотой россыпью языка.

Провал построения индустриального рая бросил на скамью подсудимых инженерную интеллигенцию. Начался процесс над Промпартией, организацией, которая никогда не существовала в действительности, но которую создало воображение «стального ЦК».

Слово «стальной», как и слово «фронт», сделались доминирующими в лексике тех лет. «Стальной ЦК», «стальное ОГПУ», «стальной кулак» — орудие двух названных выше организаций — «стальная Красная Армия», «стальной рабочий класс». Я уж не говорю о чело-

веке, чьё имя (или партийная кличка) рифмовалось с этим эпитетом.

А где «фронт», там и «прорыв», «штурм», «чистка», «ликвидация». Прорыв случается даже в такой организации, как «Союзмясо». И её подвергают чистке.

На экстренном собрании работников искусств («Известия» от 17 декабря 1930 года) Шкловский, Пудовкин, Таиров, Довженко, Качалов, Мейерхольд клеймят арестованных инженеров как «платных шпионов», «изменников, продающих нас врагу». А Александр Довженко требует «запретить им дышать».

В заключение «работники искусств» обращаются к правительству с просьбой «наградить ОГПУ орденом Ленина».

Параллельно громам и молниям, которые гремят на митингах и собраниях, требующих «раздавить гадину», звучит густой окающий бас Горького. Он посылает в «Известия» статьи из Сорренто, именуя главарей Промпартии «дегенератами», «уродами», «идиотами», «негодяями», «кретинами» и «подлецами».

«Надо ли вспоминать о людях, которые исчезают из жизни медленнее, чем следовало бы им исчезать?» — пишет он. «Употребляется ли ради развития сознания человека насилие над ним? Я говорю — да!» *«Культура» есть* не что иное, как «организованное разумом *насилие* над зоологическими инстинктами людей». «С “культурой”, “гуманизмом” *и прочими цветами красноречия* покончено». «Естественно, что рабоче-крестьянская власть бьёт своих врагов, как вошь».

15 ноября 1930 года появляется статья «Если враг не сдаётся — его истребляют». В других изданиях её кровожадность несколько смикширована: «Если враг не сдаётся — его уничтожают». Не Бог весть какая милость, но раз *«с гуманизмом покончено»,* то что же роптать?

Таков был воздух, который я вдохнул с детства. И хотя я в те годы статей Горького не читал, их вдохновители вскоре вошли в наш дом. И увели сначала отца, а потом мать.

Мне говорили, что они уехали в командировку, но ко-

мандировка что-то затягивалась, и однажды кастелянша в детдоме открыла мне правду: «Ты сын врагов народа!»

Я схватил стоящую на столе тяжёлую — из прессованного стекла — чернильницу, и если б попал, то, наверное, раздробил бы обидчице голову. Но чернильница, к счастью, пролетела мимо.

Это я сейчас думаю, что «к счастью», а тогда, наверное, был бы рад иной развязке.

Что же касается отца и матери, то я продолжал любить их, как любил всегда, и эта вера в них, надежда, что мы вновь соединимся и нас соединит всё та же любовь, помогли мне выжить в холодном и голодном детдоме.

Много лет спустя, читая их «дела» на Кузнецком, 25, я понял, что инстинкт любви не подвёл меня. Ни отец, ни мать не признали себя виновными. Под каждой страницей протокола допросов в «деле» отца стоит его подпись, а в самом протоколе одна и та же запись: «Виновным себя не признаю».

То же категорическое «не виновна» повторяется и в «деле» матери.

Вот бумага из «дела» отца:

«НКВД СССР

Следственная часть

20 февраля 1939 г.

Служебная записка

По следственному делу № 13377 по обвинению Золотусского Петра Ароновича

Лиц, скомпрометированных показаниями Золотусского, в деле не имеется.

Старший следователь следственной части НКВД младший лейтенант госбезопасности

Подпись».

Я дважды встречался с родителями в лагере и в тюрьме. С мамой — летом 1948-го в лагере строгого режима под Кыштымом, с отцом — в тюрьме после его второго ареста в 1951-м. И я понял, что внутренняя, самая важная для меня связь, не оборвалась. Нас по-прежнему бы-

ло трое, и всюду, куда потом бросала меня судьба, я помнил, что я не один.

К тому времени я уже знал, как буду жить. Знал, что должен выжить, выучиться и сделать что-то такое, что смоет с нашей фамилии позорное пятно и даже прославит её.

В 20 лет я знал о Сталине столько, сколько не могли знать мои сверстники. Во время короткой передышки между двумя сроками (это было в 1945 году) отец рассказал мне всё. В Котласе, в тайге, где нас никто не мог слышать, он поведал мне и о Лефортове (где его пытали), и об остальном.

Отныне я должен был жить с этим знанием, двоясь между страшной правдой и самой жизнью. Впрочем, жизнь продолжалась, я поступил в университет, закончил его, поехал учительствовать на Дальний Восток. Но пепел Клааса стучал в моё сердце.

Свою первую большую статью, которую читал и одобрил Чуковский, я назвал «Рапира Гамлета».

Гамлет был, конечно, мой герой. Он мстил за своего отца. Но он понимал, что его месть ничего не изменит в мире. Мир останется тем же, каким был до его прозрения.

Есть два вида сопротивления. Один предложили истории декабристы, другой — Пушкин, Гоголь, Тютчев, Толстой. То есть русская литература. Первый — это открытый вызов и кровопролитие, второй — стоическое противостояние злу.

Последнее противостояние бескровно. Здесь не взрывают царских карет, не стреляют в упор (зверский выстрел Каховского) и, не пускаясь в опасные игры со злом, стараются вытеснить его самим фактом своего существования.

Никаких уступок злу — его идеям, его лексике. Никакой, так сказать, политкорректности. Пусть зло в слепоте своей играет со злом. Пусть они пожирают друг друга. Пусть, наконец, мы станем свидетелями взаимоистребления зла.

Утопия? Да. Гамлет прав: «Век расшатался и скверней всего, что *я* рождён восстановить его!» Одно «я» против целого «века»!

Литература изжила во мне юношеский радикализм. Не потакая злу, противостоя ему, она не опускалась до ненависти. Мои современники Фёдор Абрамов, Константин Воробьёв, Виктор Курочкин, Василий Белов, Валентин Распутин *меньше разоблачали*, а *больше жалели*.

Это была литература боли и литература любви. Она воссоединялась с христианским наследством XIX века.

Оттуда и пришёл в мою жизнь Гоголь.

Десять лет, проведённых с ним, — десять лет самообразования, самоопределения и обретения «тайной свободы». Я вдруг обнаружил, что где-то за мной осталась огромная страна, страна милосердия, страна классики. В этой стране писатель был и священник, и врач, и учитель. Он спасал, а не толкал человека в яму. И не мог писать, как говорил Гоголь, «мимо себя».

Сидя в архивах и библиотеках, ходя по следам Гоголя в Москве, в Петербурге, в Полтаве и Риме, я, достигши уже зрелых лет, чувствовал, что каждый день сбрасываю старую кожу.

О, это счастье дерзости, когда замахиваешься на великое и чувствуешь, что оно поднимает тебя, освобождая от той тяжести, которая тянет вниз, тянет к мелочам. Это счастье преодоления себя и испытание духа.

Тут не пополнение багажа, а второе явление на свет Божий и выход в пространство, где другие, пройдя часть пути, оставили место и для тебя.

Годы исканий во тьме, почти вслепую (переход от журнальных статей к истории души одного из гениев), привели, в конце концов, к простой формуле Гоголя: «Полюбите нас чёрнинькими, а белинькими всякий полюбит».

Я полюбил его, полюбил в нём человека, которого так мало любили при жизни, да и сейчас, пожалуй, любят лишь как писателя.

Но он-то умел любить. Я видел, как дрожит он над своими героями, как сочувствует Чичикову и Собакевичу, чья душа заперта за семью замками, как нежно относится к мальчишке Хлестакову.

Хлестаков не плут: плут *плутует*, а Хлестаков *верит*. Он, ей-Богу, верит, что его приняли за важного человека,

что он — хоть на мгновенье — и есть этот важный человек, и ему хорошо.

Тут *драма таланта*, таланта лжи, если хотите, но лжи не по умыслу, а по поэтическому наитию. И когда представишь, что ждёт его в родной деревне, куда он едет и куда явится с пустым карманом, а уж батюшка у него строгий — и пустить в дело розги не побоится, — то становится горько. Ведь не он всех в этой комедии обманул, а его обманули.

Сегодня страна милосердия осталась на *том* берегу. На берегу, который мы сами покинули. Покинули, я бы сказал, с торжеством, будто сбросив с плеч угнетающий груз. Но от чего освободились? От добрых чувств, от сострадания к ближнему? От памяти о великих тенях, которые, в отличие от тени отца Гамлета, звали не к оружию, а к тому, к чему звал неистового пророка Иеремию Господь: «Извлеки драгоценное из ничтожного и будешь, как Мои уста»?

Извлечь из ничтожного драгоценное во сто крат трудней, чем проклясть ничтожное и посмеяться над ним. А Гоголь извлекал. Он научил меня ещё одной истине: надо спросить себя: «А ты-то хорош?» — а уж потом, ища виновных, оглядываться вокруг.

В Евангелии от Луки рассказ об искушениях, которыми дьявол соблазнял Христа, заканчивается словами: «И, окончив искушения, диавол отошёл от Него *до времени*».

Это «до времени» поразило меня. Значит, для дьявола не всё потеряно? Значит, он ещё и ещё раз попробует подступиться к Христу, рассчитывая на какую-то его слабость?

Что же говорить о нас смертных?

Современная удачливая словесность приняла игры дьявола и рассовала по карманам его дары.

Но, как бы ни выстроилось неизвестное нам будущее, сколько бы новых соблазнов ни представил новым поколениям творцов дьявол, настанет минута, когда некоторые из них ответят ему, как ответил Тот, кого он безуспешно пытался купить: «Изыди, сатана».

И эти некоторые будут лучшие люди русской литературы.

2005

СОДЕРЖАНИЕ

Золотусский И. П.

З-81 От Грибоедова до Солженицына: Россия и интеллигенция. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 347 [5] с.

ISBN 5-235-02937-2

Известный критик и литературовед Игорь Золотусский в новой книге размышляет о пути современной России, о роли и моделях творческого поведения интеллигенции «старой школы» и нынешней — «первого призыва». В собеседники к нам он приглашает лучших людей отечества, начиная с золотого века нашей культуры: А. Грибоедова, А. Пушкина, Ф. Тютчева, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Н. Лескова — и заканчивая нашими современниками: А. Твардовским, К. Воробьёвым, В. Распутиным, А. Солженицыным. И в который раз мы убеждаемся, какой провидческой силой обладает русская литература, как злободневны и сегодня высказывания наших классиков. Книга безусловно заинтересует не только студентов и преподавателей гуманитарного направления, но и каждого думающего читателя.

УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)



Золотусский Игорь Петрович
ОТ ГРИБОЕДОВА ДО СОЛЖЕНИЦЫНА:
Россия и интеллигенция

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **Л. С. Калюжная**
Художественный редактор **И. И. Суслов**
Технический редактор **Н. И. Михайлова**
Корректоры **И. В. Аветисова, Т. И. Маляренко,**
Г. В. Платова, Т. В. Рахманина

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 12.07.2006. Подписано в печать 01.11.2006. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл.печ.л. 18,48.
Тираж 3000 экз. Заказ 64726

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: //mg.gvardiya.ru/ E-mail: dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21

ISBN 5-235-02937-2